

К 84(2)
3-80

ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ

АРСЕНИЙ ЧИГРИНЕВ

РОМАН В СТИХАХ



г.Орел

2003г.

АРСЕНИЙ ЧИГРИНЕВ

РОМАН В СТИХАХ

Москвиты
Ивану Ивановичу -
на добрую память и
с пожеланиями успехов.
Дец. - 2003 г.

Валентин Аносов

A 258750

ВГЛ ВЕДЕНИЕ
2009

г. Орел
2003 г.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА

им. И.А. Бунина

Автор: Золотарев Леонард Михайлович

Рецензенты: Курляндская Галина Борисовна – доктор филологических наук, профессор
Осмоловский Олег Николаевич – доктор филологических наук, профессор

«Арсений Чигринев». Книга первая. «Библейское имя Мария». – Орел, типография «Статистика», 2003.

Ответственный редактор: Осмоловский Олег Николаевич - доктор филологических наук, профессор.

В это собрание известного русского писателя Л.М.Золотарева включены современный роман в стихах «Арсений Чигринев» (Книга первая. «Библейское имя Мария»), историческая трилогия малых трагедий «Господа Каменские». Послесловием служит статья от автора «Магия слов», в которой приводятся различные факты создания этих произведений, проводится их жанровый, структурно-тематический анализ, поднимаются историко-литературные, теоретические, творческие вопросы, характеризующие публикуемые произведения порой с оригинальной, непривычной стороны. Роман в стихах, посвященный событиям 91-го в Москве и российской провинции, представляет явление в жизни литературы, трилогия малых трагедий - явление в культурной жизни г.Орла.

Предназначается любителям поэзии, театра, широкому читателю.

ISBN 5-8991-006-2

Предисловие

Известный русский писатель Леонард Михайлович Золотарев выступает в новом не только для себя, но и в редком для литературы жанре современного романа в стихах, в котором соединяет талант прозаика – автора трилогии романов («Кормильцы», «Берегиня», «Два пророка в одном Отечестве») и поэтический дар (как автора лирики, песен, христианских заповедей, венков сонетов, трагедий в стихах, переводов с древнерусского, французского и т.д.). Интересно, что в прилагаемой статье писатель выступает еще и как ученый-литературовед, тонкий психолог, аналитик и теоретик, реализующий на практике в своих оригинальных произведениях, а также в переводах положения из сферы науки, пространства мыслей во власти вселенских законов, космической гармонии и красоты.

Литературная Орловщина, богатая классическими традициями, получает патриотическую, высокохудожественную книгу как для интеллектуального, так и массового читателя, большого круга любителей прозы и поэзии.

Г.Б.Курляндская.

Доктор филологических наук, профессор.

О своем «Евгении Онегине» А.С.Пушкин сказал, что просто роман и роман в стихах – «дьявольская разница». И это не в количественном, а в качественном, эстетическом смысле. «Арсений Чигринев» – это «двуплановый» роман, то есть реалистический и в то же время, романтически усиленный – психологический, даже мистико-фантастический, значительно раздвигающий изобразительные возможности. Действие происходит то в интеллигентской - аристократической, то в крестьянской – народной среде; то в Москве, то в провинции. То в накале страстей 93-го на Васильевском спуске, то при свете Луны среднерусской, под шепоты осени. Судьба России – вот что главное, и человек на фоне этой судьбы.

АРСЕНИЙ ЧИГРИНЕВ

(роман в стихах)

Мы почитаем всех нулями,

А единицами – себя.

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин».

Experto credite – верь опытному.

Из латыни.

В центре огромного мира – Роза.

Из Нострадамуса.

И вечер делит сутки пополам,

Как ножницы восьмерку на нули.

И.Бродский. «Назидание».

БИБЛЕЙСКОЕ ИМЯ МАРИЯ
(книга первая)

ПРОЛОГ

В тот год, когда наш русский гений,
Наш Пушкин, вечно молодой,
Два века отмечал бы – я из лени
Вдруг за роман принялся этот свой.

Вскипел «Бульон»! Румяный царь природы
Опять-таки на Западе встает
И образцы оттуда подает,
Чтоб мы их тут, восточные народы,
Бульоны из куриных ножек Буша,
Могли испить, а заодно откусать.

Вот и глотаем безо всякой меры

Их «нау-хау», их латынь, химеры.

Один тут до того договорился,
«Чтоб ты, гырит, стихами подавился!
Какой глагол! К чему все ваши книги!
Довольно с нас серпа и молотка!
Дашь порядок! Мы за всех вериги
Нести готовы... в долларах пока.
Жить в настоящем! В купе общей, в кипе!» –
Так «новый русский» старенькое пел.
Вот отчего я отошел от дел
Да за роман засел о русском типе
И материнстве нашем – берегине
Семьи, устоев, герба самого –
На переломе времени всего,
России нашей, как на вешней льдине.
Видал я их, а все о них, умельцах,
В «подполье», в Думе и на «рельсах».

* * *

Все это – мыслю, лишь романом
Свободным, гибкою строкой
Объять возможно, узким станом
Сжимая формулы такой.
Тут мой герой – тип «лишний» с виду,
Игрок у женщин, блудный сын у мам.
Чту там у них Прекрасных Дам,
Но и своей не дам в обиду.
Она как мать в изначале,
Я ей гордился и горжусь...
Итак, Москва, Россия-Русь,
Глава к главе, скрижаль к скрижали.
Начнем, на звезды помолясь,
Лицом да не ударим в грязь!

МОСКВА, МОСКВА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Арсений Чигринев – крестьянин родом –
 В столице жил, кружил среди кружал.
 А тут, отдавшись чувству, новым модам,
 На корень прибыл, век не приезжал.
 В свою деревню, в милые пенаты,
 Где строили ему, светилу, дом,
 За что прапрадед в веке по за том
 И загремел, как миленький, в солдаты.
 Так вот сидел Арсений на бревне
 Да стружку гнал, на диво всей родне.
 То стружку там, то стружку тут –
 Пусть знают, помнят, сознают,
 Что мы там, выходцы, в столице,
 Не просто спицы в колеснице...

* * *

- Ну да, когорта вы, портреты!
 Деревня, верьх над городами, -
 Проникнув в суть, в его заветы,
 Сосед пришел к нему садами.
 И, стоя где-то за спиной,
 Как бы кольнул его еще:
 - Видал? – Чего? – Аврал.
 По телевизору опять.
 - Какой? – Да так, - махнул рукой. -
 Да Лебеди на озере.... печально...
 - Постой! – остави' наш герой свои труды. -
 Балет передают? – Ну да, как в рот воды...
 Какая-то трагедия молчанья...
 - В Москву, в Москву! – вскочил Арсений,
 Почуяв запах потрясений.

* * *

Уж гнал герой наш по асфальту,
 Весь в «Лебедином озере» глазами,
 Душой и сердцем, как по морю – в Мальту;
 И километры, встречу летели сами.
 «Жигуль» бензин ел, на хвосте у ЗИЛа.
 А там, в первопрестольной, на Арбате,
 Уж «Волгу» раз сожгли ему, проклятье! –
 Покуда его по миру носило.
 И вот огонь – страшнейший из стихий
 Стал застилать Арсению дорогу.
 Как языком, за все его грехи
 Полизывало до колена ногу.
 Как бы не где-то «аутодафе»,
 А тут – под ним, на «пачпорте», в строфе.
 И стало в его мыслях прорезаться:
 Кого он сшиб, чью кровь когда пролил?
 Остановил, чтобы себе добраться
 До кресел, до сияния светил?
 Сквозь трупы шел, беря себя за горло.
 Бывало, по неделе жил на руб.
 Хоть и живой, но стал похож на труп,
 Уж так тогда его подперло.
 Пока в когорту не вписался.
 Побыл, попробовал, остался.
 Вот так до звезд и добирался
 Из деревушечки своей...
 И тут в приемник – ритмы вальса,
 «ГКЧП»... скрип портупей...

* * *

И дымом горло стало драть,
 И тут же затрещала кожа.
 А по степи – за ратью рать...
 «Опять?.. На что это похоже?..»

По алым звездам да по танкам
 Считаем версты с той поры,
 Когда сошлись в огне мира
 И сделали тебя подранком.
 Зачем же тени те и эти
 Опять встречаются в степи?
 Себе на горло наступи,
 Опять в стихии рыжей дети!
 Тебя тут на костре сожгут,
 Очистятся и – оживут.

2.

В таком важнейшем из «тригонов»
 И твой воинственный Стрелец.
 В ушах звучит вполне резонно:
 «А не грехи, святой отец!»
 А то очистятся тобою,
 Довольны – далее пойдут,
 А тут опять стена, редут,
 Который брат придется с бою.
 Лижи, лижи, слепой огонь!
 Сжигай, костер, твое распятье!
 А ты разгладь свою ладонь
 И вспомни миф «Все люди – братья»...
 Так с мешаниной в голове
 И мчало выходца к Москве.
 А-ах! Коль делать на свой нос,
 Он заостряется в вопрос.
 И прозревает вдруг Арсений
 От вседержавных потрясений;
 «А если вдруг все расползется?»
 И что еще нам остается,
 Как не построиться в ряды?
 Тут бес, там лес – везде следы
 В предошущении беды...

Вот уж и строчки лишние пошли –
 Раковые иль роковые клетки?
 «Надо же, как чеченцы через стенку у соседки...
 Мы этого допустить не можем,
 Клетки не преумножим...»
 И в мыслях со стола в такой момент
 Берет Арсений важный документ.
 «Ага, еще когда присвоили...
 Народный он всего Союза...
 И она – народная... медуза...
 Опять скользнула, но уже без роли
 К напарнику по фильму – дяде Коле...»

* * *

Сидел Арсений, страсти предавался,
 Сжигала ревность – глупо и смешно.
 Куда уж тут? Казалось, проскитался
 Век по концертам, сценам, по кино.
 Все роли, все любовницы, репризы.
 И у нее свое все и свои...
 Как нож и ножка, ложка и ложка.
 И-и... народные артисты... инсульт, кризы...
 О боже! Что же тут творится?
 Уже на въезде толпы, лица.
 Все так собой возбуждены,
 Какой-то праздник Сатаны!
 Идут куда-то, держат что-то.
 И говорят, и говорят!
 А тоже, может быть, работа
 Крестить и всех, и все подряд.
 Все флаги красные, все красно,
 Все подогрето изнутри.
 Колонны, танки: раз, два, три...
 Ну и прекрасненько, прекрасно!
 Опять у нас во имя мира
 Свергают бывшего кумира.

* * *

А дома – где ж его жена? И дети.
 Пустеньки углы...
 Что может худшего на свете –
 Не обеспечены тылы...
 И закачался артист, колом спинушка:
 «Агриппина моя, Агриппинушка!»
 Тоже роли непроворотные,
 Как компоты ему бергамотные.
 А себе, а себе так малиновые,
 Чтобы юбки сошлись шестиклиновые.
 Чтобы в платья влезать «позатетное»,
 Говоря в ролях слово заветное.
 Все это ложь – артисты из народа?
 И дядя Коля этот тоже ложь?
 Мы все во лжи, все круче год от года!
 Играли, лицедействовали сплошь.
 Вот и ключи гремят в стеклянной банке.
 Бьет и трясет всего, как в лихоманке.

* * *

И танки, танки, как по пьянке,
 По улицам, где банк на банке...
 Арсений к зеркалу садится,
 В затылок – шепот, рожи, лица.
 Как в преисподнюю, весь он
 В мир лицедейский погружен.
 Рассеянно берет он гримы
 Щипцы и ножницы, но мимо
 Трильяхжной полочки кладет –
 Вот идиот! Каков народ!
 Который сам себя кладет,
 Как на закланье, в лоно мод...
 Его колотит, как от гриппа:
 «Куда ушла? С кем Груша, Гриппа?»

* * *

Вот так оно всегда бывало:
 Со съёмок в дом, а Груши нет.
 И возвращалась после бала
 С мужскими запахами вслед.
 Конечно, что он ей – Отелло?
 Не Дездемона и она.
 Такая жизнь, но все кипело,
 Как и кипела вся страна.
 Хотел товарищей по цеху –
 Народных, в хоре золотом,
 Вернуть народу, не для смеху
 И стали тут им строить дом.
 Вернуться! Милые дожди
 Мечтал он слушать впереди.

* * *

И рядом – далее по логу,
 По этой русской красоте,
 Артисты сядут. Понемногу
 И возвратятся «цехи» те
 К истокам, к Богу... Груше – Груши
 Земное станут навевать.
 Земля родная – наша мать
 Нам будет благородить души.
 Тем и спасемся... Но – все прахом!
 Ничтожно. Вдруг обречено...
 Театр, Отелло и кино...
 А нет, пардон, он не монахом
 Рожден в суровой простоте,
 В нем бесы грают еще те!

* * *

А Груша где-то с Николаем
 В егг там холостяцкой келье

Опять глазищами играет,
 Приохорашивает «перья».
 А тут аж голова кружится:
 «Она ложится – он ложится,
 Как в мае прошлогодний снег.
 Кому – ее улыбка, смех?
 Вот так в кино у нас снимают,
 Вот так на сцене и живут...»
 Арсений со стены срывает
 Восточный бебут (иль бебут?)
 И, зашвырнув его в «подвалцы»,
 Садится снова холить пальцы.

* * *

Но тошно что-то, все не то.
 А тут по радио сквозь треск:
 «ГКЧП»... Раз двадцать.. сто...
 Ну прямо блеск! Бурлеск!
 «На фонарь аристократов!
 На фонарь аристократов!»
 Но где аристократы, где они?
 Мы всех же прикончили когда-то.
 Ах, на «фонарь»? Ах, на «фонарь» – кого?
 И так устали все мы от всего
 От идолов, от власти одного,
 От дефицита, чернее антрацита.
 Ваша карта бита.
 А наша? В какой стране жить краше –
 В большой иль малой?..
 Арсений – добрый малый,
 И все терпел он, сколько мог:
 «Подвалы», злой костер у ног.

4.

Священный трепет, воссияй в груди!
 Дух революций, власть бунтарства, драки!
 Несу свою тиару впереди!
 Кладу себ на алое, на маки!
 Уж не страшны те языки, то пламя,
 Которое беснуется у ног.
 И с нами Бог, когда глаголы с нами!
 И с ними мы, когда в глаголах Бог!
 «Но Бог не может бунтарем быть, схемой», -
 Плеснул Арсений в свой стакан игристой.
 Они были обласканы системой,
 Они с женой – народные артисты.
 «Но как теперь? С кем, с кем ты, Агриппина?» -
 Ломается на части наша льдина.

* * *

И огненная, магмовая лава
 Вливается в тебя – не продыхнуть.
 И что избрать? Каков дальнейший путь?
 Ах, боже мой! При чем былая слава!
 Киношное, фальшивое, уйди!
 Натура прет без меры и предела.
 А ты один, кому какое дело –
 С кем ты и – что там позади?..
 Он занавесь на окнах затянул
 И в сумерках себя уже не видит.
 Толпа, орут – любой тебя обидит,
 Покуролесит над тобой... Он стул
 Перевернул и сел наоборот,
 Как весь народ, что там идет
 То взад, а то вперед, - какие стрессы
 В нас выворачивают беси!
 «О Груша, Груша! Где ты, Агриппина?»
 Париж надеть – не то раздавит льдыня.

* * *

И наш артист из первого героя –
 Из ампула любовника, из грез
 Уж превращен у зеркала собою
 В род клячи, на какой везут навоз.
 Или героя из Шерлока Холмса,
 Стоявшего с фуражкой на панели.
 В кино такого видели, балдели,
 Как он обратно превращался в Холмса.
 И, напевая песенку Пепиты,
 С беспечным видом, не совсем разбитый,
 Арсений наш и кинулся к двери,
 Туда, где, в общем, били фонари.
 На то и я, чтобы из потрясений
 И выбираться так же, как Арсений.
 Героев я мятущихся люблю
 За беспределы, извращения мрака,
 Которые сквозь светлую струю
 Перемежают мордобой и драка.
 «В толпе увижу, стерву, разыщу!
 Вы не в кино, мадам, тут с Николаем!..
 Вот так и бьемся между адом-раем.
 О чем хоть я?.. Да пусть она, с кем хочет...
 А там, в деревне, мать, небось, хлопочет,
 Блины для нас гречаные печет».
 Кому – почет, а он все ночи
 С бездумною чеканкой напролет.
 Ах, мать! Ведь сын, тебе б его заботы:
 Как тут он замордован и замотан...

* * *

Вот я роман стихами захотел,
 А мне жена: «Стихами не пиши.
 К чему? А вдруг кого задел?

Геката ... ночь... последние гроши...
 Того гляди, штаны соскочут,
 Да мало ль, кто чего захочет?»
 ...А я хочу, а я пишу; тем более,
 О нас, о нашей с вами доле
 Писать стихами надо --
 Высоко и низко
 И сердцу близко,
 Ха-ха, ха-ха, и сердце радо...
 Лирическое лезет из меня
 И требует свободы и огня.

5.

Роман летит, стихию я пишу!
 Что значит даль свободного романа.
 Где прозы надо два-три килограмма,
 Тут я гремя словами совершу.
 Вот наш герой, устав от размышлений,
 С кем сам он, с кем его жена,
 Решил поверить практикой, на деле,
 Чем движут в нем то Бог, то Сатана.
 В шерлокское отребье обрядясь,
 Парик напялив, бороду свербя,
 Он вышел, не похожий на себя,
 Как нищий, но походкой – Гамлет, князь.
 Таких на улице до черта. Даже в хлебном
 Он был не узнан в этом типе бледном.

* * *

Арсений ловит мысль, толпа кипит
 Исчадьем криков, плача, песен, смеха.
 «К Васильевскому спуску! – взвыл пиит. -
 На танке Ельцин сам туда проехал».
 Под Спасской башней, около Кремля,

Опять они – народные низы.
 И головы поверх, как арбузы.
 Пьют там же, где и льют. Вопят, ревут
 Джаз-банды. Аж дрожит земля.
 Арсений входит в ритмы «ча-ча-ча»...
 Юродивый, из тех еще времен.
 - «Бой Спасской-шифр... массонский звон»...
 - «Рубины – шесть... без одного луча...
 - «О господи! Крушение миров.
 Сам член на танке – из Политбюро!»

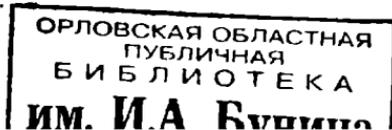
* * *

А вот две юных пышногрудых дочери
 Всем наливают, уж скребут из бочки.
 Дошли до точки. После ночи.
 - А танк тот где застрял – на кочке?
 - Он не застрял. Где Белый Дом он,
 Нужнее там.
 - А ще ж мы?.. Жють...
 Банкир какой-то пышным Монам
 Брильянты вешает на грудь.
 Но где же Груша? На эстраде?
 Ужели это там она –
 Вон та за всеми, где-то сзади,
 Едва, родимая, видна?
 Вот это да! Не без труда
 Несет Арсения туда.

* * *

Привык к ролям он пышным, к ласке,
 К таким просцениумам, к счастью
 В блестящей мишуре и сказке,
 Творимым обществом и властью.
 Бывало, где-нибудь на съезде
 В президиуме посидит

А
 О Р Л О В С К А Я



По за спиной, где дремлет Брежнев
 (Ну, этот самый... Леонид),
 И вот уже не подкатись,
 В театре он – герой, ходок.
 Играет, ух! такую жизнь,
 За что повесят орденюк.
 Глядишь, поменьше давят сок,
 Когда на шее орденюк...

* * *

Усы покручивал Арсений,
 И так тянуло на амвон
 Его живой сценичный гений,
 Ферзя разыгрывал бы он.
 Но что там говорит тот Длинный?
 - Они ответят за грехи и...
 - «Что «и»? За что и кто «ответит»
 На этой маленькой планете?»
 Везде мелькать. Быть на виду.
 Какие игры, слезы, страсти
 Вокруг его кругов у власти,
 Каков он фрукт в чужом саду!
 Какие скачки, сны лихие!
 Он конь морской в мирской стихии.
 О, люди, люди! Вмажут браги –
 Неподражаемы и тут, -
 Куда качнут былые стяги,
 В цвета какие завернут?
 Его профессия такая –
 Он был на троне и на трон
 Скакал, ощерясь, шашку вон, -
 Трон проклинал, рукоплеская!..
 - А Длинный? Эй, окоротись!
 И так хорош, а все бы ввысь.
 - Учили вас!...

И вся страна
 Каскадом слов оглушена.
 - Да он не наш же! – с кислой миной
 Заметил мне тот самый Длинный.
 - Он -- их агент!.. Апологет!!.
 Парик с Арсения. – О нет!
 Артист! Народный! Из народа...
 После семнадцатого года...
 И, кажется, уж целят в глаз,
 Уж бьют его, он холодеет, -
 И сердце не стучит, не рдеет
 У Прометеев каждый раз...
 «- Пойдите! Боевик, послушай! –
 Раздался вроде голос чистый. –
 «Жена его! Откуда, Груша?» -
 Какие львы –
 Какие вы – бить безоружного артиста!»
 Как пеленают мумию в бинты!
 - «О, Агриппина! Где же ты?»..

* * *

Безмерны коридоры власти.
 Она в конце их вроде смята.
 А в нем стучит, как рвет на части,
 И лижет кровь борзая чья-то...
 Колокола! На стройке «бабы»
 В фундамент забивают „сваю“
 Буб-бух! Работают, играя,
 Дом новый строят старые прорабы,
 Те концентрические звуки...
 И танки-танки... танки-танки...
 Бинты... раздавленные руки...
 И вот несут над головою
 Погибших первых, - новые герои.

* * *

Арсения туда-сюда мотало,
 Обеими схватился за фонарь.
 «На фонарь аристократов!
 На фонарь аристократов!»
 А «баба» била, била-била мало -
 Свидетеля эпохи, эта тварь!
 Её вдруг осенило, что неважно
 Все, что оттуда, внешне, вне его,
 Все, что внутри, в пространстве самого, -
 Вот что невероятно дважды.
 Была ль «Лаура»? Или он придумал?
 Возникла «баба» в ореоле чувств?
 И стал читать он ей Петрарку, руна,
 Какие только помнил наизусть.
 «О Груша, Грушенька, жена моя, ты где?»
 Васильевский, как лист на бороде.

* * *

Сказали, там «театр», где Белый Дом!
 А тут, что на Васильевском, - «концерт».
 И хлынули, и брызнули – бегом,
 Туда-туда, где танки на десерт.
 Наведены на окна странно пушки.
 «К оружию! С гитарой на «киятр»!»
 Затрепетали корни и верхушки,
 Когда все барды разом встали в ряд.
 Арсений взял гитару, дернул струны.
 За оцепленьем - выстрел холостой...
 Так и стоял – за цепью скифы, гунны,
 И все скакало где-то за чертой.
 «Так где же все же Груша, Агрипинна?»
 Из дула запах, как от никотина.

7.

Она не с ним, она – за цепью, с ними,
 За этой ошестиненной толпой.
 Она там с дядей Колей, со своими –
 Жена его, так кто ж он ей – чужой?
 В усах весь, с приотклеенной бородкой.
 Его окликнул кто-то: «Чигринев!
 Иди сюда!» - И в богомать, и в кровь.
 «За новую Расею!» - голос четкий.
 То Длинный, то короткий, с птичий хвост.
 А все ж вопрос – ответ, а все ж вопрос:
 - «Учили вас»... - «Таскали на погост».
 - «Кормили вас»... - «Взобрался на помост,
 Все слезть не можешь, оскопленный пес!»
 - «Не падай снова, глиняный колос !»

* * *

И он срывает с головы парик –
 Да, Чигринев, глядите, но без мата!
 Вот перед вами корень, материк,
 Вы – ослепленные ребята!
 Умчались деды и отцы
 С кавказской шашкой да на пулеметы!
 - «Да что ты – что ты, что ты – что ты – что ты?»
 - «Какие подлецы!» – «Не мы, а те концы,
 Которые началом стали снова
 Того, что было давнего, большого...»
 - «Вы демагоги! Все у вас слова.
 И всех вас порубают на дрова...»
 Вот так и говорил он в тот «провал»,
 Кого любил и за кого страдал.

* * *

Впервые откровенно свою роль
 Он не играл, не брал из чьих-то слов.

Сжигают не сомнения и боль,
 А бесы, сотрясения основ.
 А главное – среди этих потрясений
 Она ушла – жена его, удача...
 «Как дальше быть? А как еще иначе?» –
 И зарыдал, захохотал Арсений.
 А где-то там, за цепью, чуть в сторонке,
 На танке – кто-то Длинный, даже тонкий,
 Услышал и – в толпу, в шары, в миры, какие сплочены,
 Уткнулись в рот – за микрофон, в штаны:
 - Товарищи, товарищи мои!
 Россия – вы! Нас с вами ждут бои...

* * *

Ревет динамик, множатся слова.
 Со зданий звуком сыплет штукатурку,
 С изданий – пыль, какие тут права?
 И то «Варяга», то фокстрот, то «Мурку».
 Арсений! Ты – перед народом?
 Со всеми там иль тут – со всяким сбродом?
 Стоять, не поддаваться модам,
 Какие нас носили по невзгодам?
 Носили и – косили... А все ж, а все же
 В нем что-то есть такое, в этом «танке»,
 Что грудь сжимает и огнем по коже
 В нем, том еще утенке и подранке.
 «Броневичок». Экспромт. Как бы с листа.
 - «Летел с моста?» - Все упадем с моста,
 Когда за танком таким пойдем
 Мы в тот пролом, в который упадем)...
 Опять один, опять один Арсений
 В день августовский, предосенний?

* * *

«Но мы же шли куда-то, мы бежали?»

Платили кровью за свои права?
 Чего ж ты так, перевернув медали,
 Вся перебаламутилась, Москва?!
 Как не было ни гимнов, ни салютов,
 Ни революций, никаких побед.
 Как будто только кости на обед
 Нам подавали, ненавидя люто.
 Не строили дома, не возводили
 Ни целины, ни «космоса» ... ни «зон» ...
 За что же нас любили – не любили?
 И розовел с Востока небосклон?..»
 Арсений, брат мой! Или от затмений
 И ты перемутился, а, Арсений?

8.

Ну да, и ты, видать, перемутился,
 Переболталось что-то в голове.
 На медные приехал и учился,
 Слезам твоим не верили в Москве.
 И все же достигал, корпел, влюбился....
 Обвешан был ролями, как репьями...
 Теперь не с кем-то – сам ты, сам ты, сам
 Должен лепить во что вlepился.
 Без званий обходился, обойдусь –
 Вон сколько обходилось и без званий.
 Заангажируй нас, святая Русь,
 Крылами всех твоих именований.
 То правое, то левое – ей-богу,
 С пути собьешься – не найдешь дорогу»...

* * *

Так и стоял Арсений, опершись
 О белую, о русскую Березу.
 Зачем ты тут, деревня, из глуши,
 В столице – из народа, из навозу?

«Родимая, уже ты пожелтела.
 Пошелести листвой, нашелести
 Стать с кем-то кем-то – это ведь полдела,
 Вот не упасть, не пасть,
 В пасть не попасть – в конце пути.
 Шуми, Береза! Навевай, Есенин,
 Земное наше, русское, мое!...»
 И обхватил березоньку Арсений
 Да так ей все и высказал свое.
 Тем облегчил смутившуюся душу,
 Так и стоял ее, родную, слушал.

* * *

Но тут в плечо какая-то пьянота,
 Фигляр какой-то: - Подпиши листок.
 - Какой листок?
 А листья шепчут что-то,
 Под синей жилкой бьются о висок.
 - Что ты за нас.
 - А ты-то за кого?
 - Мы? За прогресс.
 - Который все сметает?
 Вон, видишь, лист желтеющий летает?
 Как одинок, усталый от всего.
 - Ага, опять мне демагог попался.
 Давай живи, хе-хе, хе-хе, артист!..
 Так у Березы Сеня и остался,
 Держа в руке оттрепетавший лист.
 А хорошо придумал я: Арсений!
 Как точно с ним рифмуется Есенин!

* * *

И тут опять ударили из танка –
 Все холостым и все в него, подранка!
 И ливень пал, зияюще неистов.

Береза заломилась в дали мгlistой.
 Поток потек – на голову, на плечи,
 И видны стали звезды, люди, речи.
 Кто что сказал и что, возможно, скажет,
 Какой Валун еще на плечи ляжет?
 Вот так на сходе века и живем.
 Мед, пиво «Жигулевское» бы пили
 Не драли б шкуру с каждого живьем,
 А лучше бы мозгами шевелили.
 Когда б князь Игорь тень прочел на солнце,
 В поход не вышел, не испил до донца.

* * *

И все искал, искал ее Арсений.
 Всех спрашивал, за цепь переходил.
 Но в бурях страха, в сонмах сотрясений
 Он сам, как и она, былинкой был.
 Его, как бьль, туда-сюда носило.
 И, одинокий, среди этих толп,
 Он был, как тот Александрийский столп,
 Какой тогда чего-то не скосило.
 Мы вместе – сила! Это все для всех,
 А он же был, вы знаете, артист.
 Имел, как понимаете, успех.
 Но не за то же мы срываем «бис»,
 Когда мы тупо, средне, как и все,
 Идем-бредем по средней полосе.

9.

Домой зашел – где все-таки семья?
 Ну теща ладно, где его сыны?!
 На даче в Переделкино, где я
 Когда-то пек рассказы, как блины?
 Кому звонить хоть, начинать с кого?
 Молчанье в трубку, глухо, немота.

И все не то, и жизнь уже не та,
 Арсению уже не до чего.
 Но, слава богу, под горшком на кухне
 Нашлась записка... Вот она... туда...
 «Отправлены к сестре, в какой-то Юхнев
 Иль в Мышкин волжский – это города».
 Чайку попил, передохнул Арсений.
 А все ж не тот уж ветерок осенний.

* * *

«Ах, этот Мышкин, этот дерзкий князь!
 Полит изрядно кровью Ипполит.
 Таких ролей не знал ведь отродясь,
 И до сих пор в груди еще болит.
 Каков пиит был этот Достоевский!
 Вложил такие недра в князя тьмы!
 Мы все князя, из тьмы немного мы,
 Когда вон с князем да и то по-зверски.
 Как одинок среди всяких одиночеств!
 Какие силы темные едят!
 Кромешным своим только озабочась,
 Все б разрушали лучшее, подряд...
 О князь! Не ухватись за этот стол –
 И ты бы уже грянулся о пол»...

* * *

В падучей, как и он, заколочусь.
 Как истощен за эти годы веком!
 Уже тоска, уже не просто грусть,
 Уж тяга смерти правит человеком.
 Князь Мышкин! Что ж ты – черный человек,
 Совсем осатанел во мне, ничтожном?
 Конечно, поворачивать все можно,
 Не только вековые русла рек.
 Князь Мышкин! Джином черным из бутылки,

Предчувствиями лезешь из меня.
 Могу вообразить, представить, пылкий,
 Что могут эти скопища огня.
 - Что будет с кем, с тобой, Россия – Русь?
 О мать – вдова... ничуть не удивлюсь...»

* * *

Уже давно ходило по Москве,
 В неясностях и смутностях каких-то,
 Что рыба с головы, как трин в траве,
 Что кедр не вечен, засыхает пихта.
 Что жены их и дворники в Кремле
 Такое в кулуарах тех слышали –
 Не выбить на медали, а скрижали
 Так вообще все предадут земле.
 «О господи! О профили с монеты,
 Сменяемые многожды за век.
 О князь, о Мышкин! Милый человек,
 А ведь и ты не сахар, не конфеты...»
 Арсений встал, забегал и упал.
 И так лежал...

* * *

А телефон все надрывался, все звонил,
 На диксиленд сходя, на джаз-оркестр,
 Пока им, смертным, не услышан был,
 Пока не вышел джин – последний бес.
 Едва до аппарата дотащась,
 Арсений вник в мембрану, как прилип:
 - Вы, князь, не в тот, мон шер, попали клип!
 Вы не туда звоните, черный князь!
 - Туда, туда! – загрохотало в трубке. –
 - К тебе зваю! А ты там не чуди...
 Все млеешь по Голубкиной голубке?...
 Ко мне или к тебе? Я буду, жди...

И «пи-пи-пи». И трубка онемела.
 Что он сказал – кому какое дело?

10.

Кальянов это – друг его, актер.
 То председатель, а то Маршал, вождь.
 На этом зубы съел, штаны протер.
 Нигде такого больше не найдешь,
 Он и в театре, словно полководец.
 Или в народе как какой пророк.
 Или повыше чуть – едва не бог.
 Вперед, вперед! По старой моде.
 Сейчас придет и – кончен «Идиот».
 Играй себя хотя бы, а не тех,
 Что доконают нас, разрушив код,
 Наследственность, а значит, и успех.
 «Шуми, шуми, играй, мой друг Григорий!
 Волнуйся, Гриша, - Ваше Благородие!»

* * *

Арсений по квартире заметался:
 Подмел на кухне, застелил кровать.
 В графин налил водички – так старался,
 Кому, скажу, охота получать
 Наряд вне очереди? Да на «губу» садиться?
 У Гриши «а ля гер ком а ля гер».
 Из теплышка, из обжитых «фатер»,
 Так до Сибири можно докатиться.
 Вот хлюст! Как на командном пункте.
 Седой уже, а вылитый герой.
 А тоже деревенька, вырос в «пуньке» -
 В плетеновой хатке – хиленькой, сырой.
 Откель все наши командиры
 И поушли в дворцы свои, в квартиры.

* * *

Отпил водицы теплой да и сплюнул –
 Давненько из-под крана, тьфу, не пил.
 Но это – чтобы Маршал только кпонул,
 Ром – вот он, специально для светил.
 И, пригубив маленько с длинной пробки,
 Арсений был уже приободрен.
 А тоже не последний ведь и он,
 Хоть и не маршал, но солдат не робкий.
 Мы не из робкого десятка,
 Когда стреляем дробью из ружья.
 Все целим, все бы нам «десятка», -
 Не выбываем, пняешь, ни «пая».
 Встречай, сличай себя и Гришу,
 Пока с тебя не сшибли крышу.

* * *

Арсений дружеский портрет,
 Где они рядышком, вдвоем,
 Вдруг выставляет на буфет:
 «Что ты - что ты, что ты – что ты – что ты,
 Я солдат девятой роты,
 Че сегодня мы споем?..»
 - Околесицу не при! –
 Появляется в двери,
 Кто б вы думали – Григорий!
 Рангом выше даже Бори,
 Роль которого играл он -
 Годунова, а кого же
 Честь имеем мы играть?
 - Гриша, Гриша, ты уж «полон»?
 - В поло – он, да? Такую мать!
 В полон Гришу не берет
 Даже Грушенькин компот.
 Ну и где она – жена,

Твоя Груша, где она?
 Кем, поди, увлечена?
 Мое дело – сторона.
 Что ты – что ты, что ты – что ты,
 Я солдат девятой роты,
 Че сегодня мы споем?
 Мы не лошади – не пьем!
 Ха-ха-ха, гуляем, Сеня!..
 Кровь, того гляди, прольется.
 Ну и что нам остается?
 Без вина хмелеем, пьется...
 ...Шутки в сторону! Ну, брат,
 Охранять идем театр.

ГЛАВА ВТОРАЯ

11.

- Вот такие, брат, дела!
 Жена негра родила! –
 Так гремел Григорий уж в театре,
 Подкатив к нему на белой «Татре».
 Кальянов этот – друг его, актер,
 Когда перевернулось все, не так,
 Сегодня был как главный режиссер,
 Абсурдный режиссируя спектакль.
 - Спасем театр! Телами защитим!
 Префект какой-то... вроде Музыкантский
 Уже прикрыл писательский «кильдим» -
 Старорежимен, мол, не форум Каннский.
 И нас причислят к этому «болоту» -
 И потеряем мы чего? – ра – бо – ту.

* * *

- Мы потеряем облик человеческий, -
 Заметил озабоченно Арсений. –
 Однако что и чем он обеспечен,

Коль мы с тобой тут в Армии Спасенья?
 Уж собрались (немного ж их!) артисты –
 Все в отпуске, еще ведь не сезон.
 И жесткую фрамугу дернул он –
 А по Арбату там, под ними - низко,
 Поток людской течет, нерасторжимый.
 Пока молчит, пока что мимо, мимо.
 А если?... «Как удержаться в кресле,
 Когда мозоль на этом самом чресле?»...
 Арсений вздрогнул – стук в парадном, что ли?
 Ах, это «баба» бьет по самой боли.

* * *

Все та же не влезает в землю «свая».
 Дом новый строят старые прорабы.
 Джаз-банды, грохот; ох, уж эти «бабы» -
 Стучат, гремят в ушах, не уставая!
 А хлынь сюда еще и диксиленды,
 Джаз-роки, группы – уличные в дым?
 Сюда, в театр, в святилище, к святым?
 Дым лезет в ноздри – жгут «фазенды»,
 А тут всего-то человек двенадцать –
 Апостолов всех званий, амплуа.
 Дядь Федя: - Сень, давай с тобой канаться?
 Два на двенадцать – ставим «Бенуа».
 Теть Маша: - Сень, а ты еще красив.
 Затял, грят, стройкооператив...
 Челомкаются дети Мельпомены,
 Как будто не видались целый век.
 А то! Вот опадут дай пены –
 И снова рампа, роль, ты – человек.
 Нас мало, но в тельняшках мы, как кто-то
 Когда-то про кого-то рассказал...
 А у него в душе еще «провал»,
 А в том «провале» «баба» бьет по нотам.

Да не ломись сюда, рецидивист!
 В прохладу звезд, в паркет апартаментов!
 Что наша жизнь? Вот из таких моментов
 И состоит вся в лицах, наша жизнь.
 По стенам – порыжелые портреты
 Знакомо в ореолы приодеты.

* * *

И это тоже Армия Спасенья,
 И там за ними – типы, типажи,
 Герои, что любые потрясенья
 Когда-то облекали в миражи.
 Летят стрижи – за рубежи,
 А не скажи, что, понимаешь, плохо.
 Играть, как жить, а жить до капли вдоха,
 Последнего, пока летят стрижи...
 Рукоплесканья, вой трибунный, свисты...
 И Дон-Кихот, Шукшин с ним да и я,
 Мы с вами, вы нас слышите, артисты?
 Мне сцена эта ваша – и моя.
 На что нам ночь бездонная без вас?
 Сгорая, освещаем день и час.

12.

На сцене пусто. Коридор прохладен.
 Уборные безмолвны – никого.
 Народный он, а ведь по эскападе.
 Дошел, как говорится, до чего?
 Все классики мы, все академичны,
 За стенами казенными глухи.
 Все около верхов, а те «верьхи»
 Играют в нас, в наш мир двуличный.
 А люди мимо – за кого во имя?..
 И Груша где-то с ними, где-то там.
 Она в другом театре, со своими,

А ты – согласно званию, летам –
 Обязан тут быть – с классиками, с Гришей.
 Нет ныне пьес? Да кто их вам напишет!

* * *

Туда – в театр народный, к Груше!
 Где все кипит, амбиции долой!
 Туда, откуда ты когда-то вышел,
 Куда вернешься, как к себе домой.
 И жутко тут, и ледяные стены
 Нацелены на что – на ночь!.. О чем
 Постукивают нам они ключом?
 Трагедии, шекспировские сцены.
 Опять трясет, опять в «подвалы» тянет,
 В какие-то нездешние миры...
 Никак стучать, бряцать не перестанет,
 Меня часто правила игры
 В разгуле неподвластных нам стихий,
 Где властны беспредельные миры.

* * *

О Груша, Агриппина! Вижу сквозь.
 Как Нострадамус через время оно,
 Ты вбита в их колонны, словно гвоздь.
 Ты с ними, в их толпе, моя мадонна.
 Он ей туда-отсюда:
 «- Тебе б на грудь с «Максима» ленты!»
 Он ему сюда - оттуда:
 «- А ты бы с шашкой наголо!»...
 Такие тут у них моменты.
 Сквозь время – как через стекло.
 Опять он бьется, как в падучей!
 Все тьма выходит из себя?
 Юродив сам, юродив случай,
 Сиренев чубчик теребя.

Все помнят люди: и про шашку,
И про Чапаева... вразмашку...

* * *

Гриша по телефону выбил
Где-то какое-то там оружие.
А Арсений все это предвидел
И скорее наружу.
Это ужасно – кровопролитие!
Это возможно в кино лишь, на сцене.
А тут, даже в слепом наитии,
Ненависти нет и тени.
В кого стрелять, стоять за кого?
Это же наши зрители,
Наши читатели – почитатели... Видели?
Как стоптала толпа одного?
Так глаз и покатился по камешкам,
За бордюр зацепился краешком.
Аж сирень, аж сирень
Закачалась на целый день.
А двери в театр закрыты наглухо,
«Мы – не бедные!»- Маршал так приказал.
Арсений через черный ход, через кочегара Нарбуха,
Через здание соседнее убежал.
Ищет свою народную... новоиспеченную...
Дядю Колю хотя бы увидеть.
Каждый ведь женщину может обидеть,
Тем более артистку незащищенную.
Но все четче, все четче, все четче
Колонны-то к Кремлю, то к Белому Дому.
Как Бия с Катунью, как самолет и летчик,
Вместе и врозь, и нельзя по-другому.
Кажется, Груша к Москве – реке прошла, жадная до воли.
Очко катится вдальеке – к Кремлю, что ли?

13.

И сел он в «Икарус» какой-то с людьми,
 И оказался за городом, на кольцевой.
 А тут отряды, журналисты СМИ
 И танки на подходе, рокот, вой.
 Сирены рыдают, целый полк стоит-
 «Гаишники» в жезлах, как на параде.
 В белых крагах, техника сзади –
 Училище Орловское ГАИ.
 И сбрасывают в сторону движенье –
 Машины, танки – целую колонну.
 Не пропустить в Москву – в огонь, в сраженье!
 К Москве-реке, к Совминовскому Дому!
 - А вы откуда?
 - С Тулы, из Орла.
 И мы туда - защитники...
 Дела!

* * *

И замер тут Арсений: как же так?
 Ведь все свои – гражданская война?
 Страшнейшая клоака из клоак!
 Не скажешь, твое дело – сторона.
 Все это так и грохнуло внутри,
 Как пушка в низком танке где-то сзади.
 «Гаишники» стоят на автостраде,
 И голуби в коляске, сизари.
 Задрал башку Арсений: «Что же ты!
 Как все это мы, Небо, позволяем?
 Родимые, кровавые черты...
 Опять в судьбу, бездумные, играем?»
 И, выкинув из всех карманов хлам,
 Он хлебца бросил сизым голубям.

* * *

- Так вы из Тулы или из Орла! –
 Он подошел к тем «ястребам», что сели
 И ели тут, на травке, у ствола, -
 Одна березка и две старых ели.
- Мы из Орла, - сказали под березкой.
 - А мы из Тулы, - те еще не ели.
 - Ну и куда? – Мы к Белому... местечко приглядели...
 - Мы к Красному... с рубиновой полоской.
 - Эх, милые, родные, молодежь, –
 Дрожало в его сердце, где-то близко, -
 Смотрите, как комбайном косят рожь.
 Все мало нам могил и обелисков...
 - Ты, дядя, лучше отойди.
 Поговорим потом, что впереди.

* * *

- И все же – черт ли дернул за язык –
 Он выдал замечанье тем, что ели:
- Да что бы ели все мы, в самом деле!
 Когда б не тот – рубиновый «старик»!
 И пожалел. Но было уже поздно.
- Ну ты, «рубин»! Ты не на той платформе! –
 С «калашниковым» надвигался грозно
 В развалку парень в камуфляжной форме.
 И сразу в бой. Удар в лицо, как «профи».
- Ни за кого я! – крикнул он. – Кацо!
 Артист я, нас нельзя в лицо!
 Но били в фас его и в профиль,
 В его всемирно знаменитый,
 В его – свободный, всем открытый,
 В его нос римский, как отлитый.

* * *

Ногами, палками, прикладом.
 В печенку, в почку, в пах, под дых!
 Как будто был он личным «гадом»,
 Врагом у каждого из них.
 Как будто противостоянье,
 Как будто он не достоянье,
 Как будто о какую тряпку
 Все вытирали грязь о «хряпку».
 И били, били, что любили, -
 В лицо его, в его улыбку...
 Как дико мы, выходит, жили!
 Когда, как бесы, в род свой, в зыбку –
 Да по зубам, да по зубам –
 По знаменитым жемчугам!

14.

Так жизнь с тобой и растается.
 Еще удар – и ваших нет.
 Но извернется он, упрется –
 И жив еще; где тот билет
 Туда, где духи уж витают?
 Оно стучит еще в ночи,
 И ходят около грачи
 И что-то черное считают.
 Не в то играют... как прилип –
 Неужто это черный снег?
 Береза белая, а бег –
 Рекламный клип... слеза и хрип...
 И никого уже тут, что ли, -
 Ни танков, ни ГАИ, ни роли.

* * *

И только вой, и только вой
 В душе его на кольцевой.

И ветер, ветер, дождь сиротский –
 Какой-то жиденский и скотский.
 Они, конечно, не узнали,
 Когда по белому рубили,
 Когда по черному рубали,
 Выходит, не совсем убили,
 Хотя он жив сейчас едва ли.
 А если все-таки знакомы,
 А если знали и любили –
 И все же били, били, били.
 Побойтесь Бога! Для кого мы
 Играли, мучились, страдали?
 Как быстро все мы, все мы, все мы
 В такую грязь себя вогнали!

* * *

И завертелся ствол березы
 Над ним; под ним он, под которым –
 Макушкой в небо, сына розы –
 Его винтило в звезды, в хоры.
 И по винту, и по винту
 Туда, к оси, в нем все рванулось,
 В бездонность мрака окунулось,
 В слепую веру, в эру ту.
 А он лежит тут на банту,
 На кумаче, и кровь с лица,
 В глаза глазами – в пустоту.
 И видит там, в зрачках, отца,
 То смотрит умерший отец –
 Так начинается конец...

* * *

Когда в деревне как-то ночью
 Он вышел в яблоневый сад,
 Сквозь ветки у звезды воочию

Увидел тот же странный взгляд.
 Вот и вмещается в груди
 И это слово, эта жизнь...
 И он верченье заставляет
 Остановиться. «Стой же, винт!
 Дай я сойду, ступенька злая,
 Пока я тут, пока один...»
 Но винт, как винт от самолета,
 Не останавливался что-то.
 Его тянуло, бередило
 Все, что когда-то было, было,
 И тело покидала сила,
 В дугу всего его сводило.
 Арсений оземь хлоп рукой,
 Направо слева головой –
 «Все согласуется, живой!
 Не будет Грушенька вдовой»...
 Так и лежал он, холодея,
 И в думах пугалось уже:
 «Анна Каренина... Медея...
 В собольих шубах... неглиже»...
 И не хотел, да вот стучит:
 «За что хоть я сейчас... убит?»

15.

Еще он самой главной роли
 По сути так и не сыграл.
 Все шел и шел – по курсам, школе,
 Приостанавливался, ждал...
 Играл любовников, придурков
 Политизированных; что ж,
 Из всяких камушков, ошурков
 В лице и вылепилась ложь...
 А Дон Кихот? А бледный Гамлет?
 А Годунов?... Но, так сказать,

Толстого бы еще сыграть!
 И все равно мы тут ли, там ли, -
 Переходи, душа, миры,
 Где нам уже не до игры...

* * *

И ветерок уже кочует.
 И воздух светел, в горле жоженье...
 Арсений видит, слышит, чует,
 Но остается без движенья.
 И все равно лежать лежи –
 Век на судьбу не намолиться.
 А то! Какие типажи!
 Болконский – под Ау-стер-лицом.
 Когда вот так же тот лежал
 Под павшим знаменем когда-то,
 Зрачок его чуть задрожал –
 Наполеон глядел в солдата...
 И голос тут же, голос звонкий.
 Корова. Пастушок в сторонке.

* * *

- Ты чей? – Арсений шевельнулся. -
 Из «Дон Кихота»? Bravo, бис.
 - Ничей, - пацан плеча коснулся. -
 А я узнал вас! Вы – артист?
 За что же вас так?
 - А за что
 Тебя тогда кнутом стегали?
 - Где? – В «Дон Кихоте», в «Спортлото» -
 Везде, где только доставали.
 Вздохнул мальчишка:
 - Доставали...
 А вас достали по сильнее. –
 И молочка ему скорей. –

Пей, дед, из фляжки, трали-вали...
 Кто ты? Что тряпочкой с любовью
 Ему стираешь кровь над бровью?

* * *

Кто слышит, как чуть дышит он?..
 Затрепетал душой Арсений:
 Какой там бог, Наполеон –
 Вот луч его и воскресение!
 Хоть солнце где-то высоко,
 Наполовину скрыто тучей.
 И самолет летит могучий,
 Везет, наверно, нелегко.
 - А все ж ты кто? С какой деревни?
 Спросил Арсений тень из дня.
 - А вон из той, где те деревья...
 - Спасибо, брат. Ты спас меня...
 Вот так и просится в объятия
 Тот древний миф: «Все люди – братья»!

* * *

Ушел парнишка за коровой –
 Мой деревенский пастушок.
 И я когда-то на Покровы,
 До снега, тоже ведь стерег.
 Поднял я, помню, кость под вечер,
 Да все ребром ее на свет –
 Неужто, братцы, человечья?
 Солдатик через столько лет...
 И наворачивались слезы
 За всех, что тысячами гибли.
 И, хороня не фигли-мигли
 Под голубые с желтым розы,
 И в звезды отчие глядясь,
 За все наплакивался всласть.

* * *

А где-то рядом пастушок
 Пасет свою корову.
 И с неба слышится рожок,
 И млечно небо снова.
 И перевернуто оно.
 Идешь по краю бездны –
 И страшно оступиться – дно,
 Как шашке радость в жезлы.
 Отец, наверно, был такой –
 Чувствителен, оракул.
 Хоть «молока» и кот заплакал,
 А все ж до звезд подать рукой.
 Пьем из ковша, из тех криниц,
 Куда, упав, летим мы ниц

* * *

- Так, значит, живы? – это с уст
 Слетело, выдохнул Арсений,
 Услышав трав коровий хруст,
 Где вскоре встретится со всеми,
 Где по зеленым небесам
 Вглубь столб забит багровый,
 Родня его, как по кругам,
 Вокруг столба такого.
 И он с коровою своей
 Как бы идет по тучам,
 С утра встает из-за полей
 Да с солнышком могучим...
 А хорошо, что пастушком
 Поил и я степь молоком!

* * *

Вот хорошо, что есть кому
 До звезд вести без визы!

Отогревала ночь, в суму
 Потряхивала ризы.
 Вот и к автобусу пора –
 Из ямба да в хорей.
 Как циркуль ноги не вчера,
 Наследственность скорей.
 Как нож складной, в движеньях резок.
 Ну ж с ним и бились в драмкружке!
 Артист ведь, телу б налегке,
 А он как той трубы обрезок.
 Задвигал «циркулем» тугим,
 И принесло в Москву, к своим.

* * *

И вот сидел у телефона
 И все звонка от Груши ждал.
 Но в дверь звонят! И голос томный –
 Подруга Грушина – кимвал
 Любви, Свободы, плоти, секса.
 Ему частенько строя глазки,
 Себя красавицей из сказки
 Считала, путаясь в рефлексах.
 - Ого! – она захохотала. –
 Подштукатурили слегка?
 Мой синий брат... из Сенегала.
 Мой СПИД особый из ... ЦК.
 Как будто били тебя, слушай,
 Чем околачивают груши.

* * *

- Для Груши?
 - Хоть и для меня, -
 Смеясь, кокетничала Соня. –
 Ты вот горюшь, но без огня,
 А дрянь твоя в объятьях тонет.

- Кого – главрежа, дяди Коли?
- Дурак! Задаром, что ль, концерты
В Кремле даем... сидят эксперты...
- На том и съела с пудик соли?
- Да нет, я – честная артистка.
- Как Слизка?
- «По Дону гуляет, по Дону гуляет,
Без званий без всяких казак молодой».
- «О чем, дева, плачешь?»... Да ты – аферистка!
- Ах так? Вот адрес... где-то близко...
Мон шер, подбрей усы и пейсы,
Езжай, проверь, удостоверься!

* * *

На том интрижку завязав,
Я думал, как развяжет узел
Герой наш, слова не сказав?
Каким нагрянет к своей музе?
И тут, как требует роман,
Чтоб все остранишь и блеснуть,
Решил я чуточку загнуть
Девике танго в гибкий стан,
Дань отдавая Строку.
Чтоб завязать, так завязать,
Коль предаваться уж пороку,
Так и огласке предавать.
Что гены? Гены и у груш.
Вот яблоко, а во-он где муж.

* * *

Еще когда сказал Ньютон
(А в голове героя каша),
Есть, понимаете, закон:
Мир тяготением украшен.
Сам с яблони, точнее, с ветки

Вниз падает, перезревая, плод...
 Хоть Грушеньку и лицезрел народ,
 Она была не ветреной кокетки.
 Бывало, тут, на Москворечьи,
 Росла как ландыш, между дев.
 Средой учительской отмечен,
 Был путь ее, однако, где?
 «Артисткой! В оперетту прямо!»
 Ну, а попала к Сене, - драма.

* * *

Все были мы помешаны на Шмыге,
 Особенно, естественно, Москва.
 Когда талант немеркнул в каждом миге,
 В каскаде чувств и звуки, и слова.
 Попробовал намедни с Образцовой
 На пленку я романс переписать.
 Погарцевал, поет, а не понять,
 Что с дикцией ее, в конце особо...
 Вот так оно и Агриппина - Груша
 Хоть и в богеме, а себя блюла.
 Всем не давала сладкого откусать,
 Покамест с дядей Колею была.
 Ах, боже мой! Какие там права,
 Шумят, как в оперетте, вся Москва.

* * *

Припудрив носик, подзагнув ресницы,
 Она с утра готова к роли той,
 Что мчит ее, как белку в колеснице,
 По жизни исключительно святой.
 Муж занят тем же, так же, но собою,
 И что ей в таком разе остается?
 Шипы и розы, фатум, мне сдается,
 Не манна с неба, роли не гурьбой.

Душа и сердце, нежность и постель -
 Игра все это, страстная натура.
 А под окном роняет шишки ель –
 Не все на темя, если ты не дура.
 В различных сочетаниях, поди,
 И шли сезоны, зрители. дожди.

* * *

Она – «Принцесса Турандот», он – «Идиот».
 Каков народ, который сам себя кладет
 На лоно вод,
 На отсечение головы,
 На лист травы.
 Мы все по капельке артисты.
 Попив чайку, всего наелись
 И друг на друга нагляделись,
 Где честны мы, в чем аферисты?
 С цепи сорвало время оно.
 Что блат решал – решает доллар,
 В своей епархии зеленой.
 И правят бал семья и гонор.
 Вон плесень млеет чуть, слегка,
 Как на губах у Починка.

* * *

Чтоб было в гардеробе что-то,
 Стоял бы стоймя «гарде-роб»,
 Не надо, как волю, работать
 И выдавать решенья в лоб.
 Наоборот. Как итальянцы –
 Живут на кухне, где-нибудь,
 А в лучшей комнате не танцы –
 Одежда, платье, что обувь.
 Не обязательно работать,
 Чтобы артистку содержать.
 В башке, видать, должно быть что-то

И личность что-то содержать.
 А он, деревня, тигр из клетки,
 Вчера как будто спрыгнул с ветки.

* * *

Вот и приходится самой
 Крутиться, бегать, с кем-то знаться.
 Весной и летом, и зимой –
 Попробуй-ка не продаваться.
 Как фрукт какой-нибудь, как овощ,
 Как Ньютон с яблоком своим.
 А ведь артистка! Тут не Рим,
 Нам не пустяк любая помощь.
 Когда по улице идешь,
 И взгляды опытные ловишь,
 На тон, на два себя несешь
 Повыше, чем вся эта сволочь.
 Хоть пустячок, а все приятно.
 В порядке ты, когда опрятна.

* * *

Малочимущи мы, артисты!
 Не в шубах модных, и пешком.
 А «Мерседесы», бары, твисты,
 Да и брильянты – с кем, на ком?...
 «Арсений! Мне немного надо.
 Но все ж я женщина, конечно.
 Хотя все это чисто внешне,
 Однако модным туфлям рада...
 Ну да! Ты верно говоришь,
 У нас страна, где все равны.
 Когда от мужа только шиш,
 Как не принять со стороны?...
 Конечно, это подло, низко.
 Но, бог мой, я же ведь артистка!»

* * *

Вон даже «генный» прокурор
 В свои четырнадцать костюмов
 Влезал, как котик на бугор,
 В постель, не очень-то подумав.
 Завелся вот и у нее
 После ночных концертов дядя,
 Чиновный друг, какой не глядя,
 Дает, сует, на все поет.
 Когда к нему, как к мужу, что ль...
 Вот вам семейная баллада,
 Кордебалет и карамболь.
 Когда б с конца мы начинали,
 Про «третий глаз» не забывали.

* * *

- О чем задумался, детина? –
 Сказала Соня нараспев.
 - Да все про то ж: «Где Агриппина?
 Не средь своих же баб и дев,
 Всех этих членов профсоюза
 И всей команды ВТО...»
 И Соня пальцем:
 - Что-того?...
 Наследственность иль... с перегруза?
 Уж ВТО почило в бозе.
 В виду имеешь ты чего?
 - Россия – это образ Розы,
 Вы, Сонечка, на это как?
 - Браво!
 Опять она соленькое любит.
 - Кто?
 - Груша.
 - Вас Родина за это не забудет.

19.

Опять звонок, опять Григорий.

Опять их кличет охранять.

- А то разве тут санаторий,

А там сражайся, твою мать!

- В подвальчик вас таких, в подвал, -

Сказал Арсений. – Чирк в анкете!..

Ну нет, зачем, не в партбилете...

Вчера смотался в Сенегал.

И чувствую себя неважно.

Не как «Титаник» иль титан,

А как кораблик, что ль, бумажный,

Боюсь, размокну... куришь план?...

К оружию?! Ах, человек с ружьем?

Конечно, постоим еще... вдвоем!

* * *

Откуда ветры, мой Пафнутий?

Да все мы флёра одного!

И в «Годунове» я, при смуте

Великой, вякнул – про кого?

Мне тут же почесали спину.

Вы, гряд, у нас тут от крестьян,

И вам заказ особый дан:

- Как в баньке, - Ваньке спинку – в длинку?

- Григорий! Ну, а сам –то что, а сам?

Забыл, поди, когда в парной был, а?

Сняв голову, не плачь по волосам.

- Твоя, Сень, с кем вчера была?

Арсений сник и молча за парик:

Опять в поход,

Где и народ, старик?

* * *

О Пушкин наш! О Пушкинская площадь!
 Что значит слово, русские слова!
 Сюда, чтоб заявить о своей мощи,
 Приходит несогласная Москва.
 На мраморе. На низенькой ступеньке.
 В присутствии чугунных фонарей.
 Не говорят единственно про деньги,
 А про судьбу, брожение идей.
 Судьба России! Что она? Как мы –
 Всех рангов, поколений и цветов?
 Нельзя тут врать, мельчить про «Спортлото»
 И прочие сегодняшние темы.
 Высказывая Пушкину все боли,
 Москва гудит – с Россией схожа, что ли?

* * *

Так и стоял Арсений в парике
 И слушал их – народные витии
 Глаголили. Чудак на чуде, -
 О Белом Доме, все в своей стихии.
 Опять его тянуло на амвон -
 Личину сбросить, снять чужие маски!
 И вытащить свое, как был из сказки,
 Иль, как «корабль», бывалыча, ЭПРОН...
 Москва, Москва! Под фонарями Пушкин!
 Вам говорю, как видите, от всех.
 На грани Русь! Не россиянин – русский!
 До дна дошел наш русский человек!!...
 Вот говорю со скорбью, со значеньем,
 От имени и по поручению.

* * *

Стоял, сидел, куда-то уходил.
 А все кипело, путалось, поди.

Синело небо, синим сам он был,
 И белым все казалось впереди.
 И в «триколере» красное плескалось.
 Хоть синего – полосочка всего,
 Да «Сенегал» - на роже у кого?
 Кому на кольцевой вчера досталось?
 С такую рожей?! К людям? Стыдно, брат!
 Однако пялить паричок не стыдно.
 Как все открылось, явно, говорят,
 Что ты малоимущ, месье, обидно!...
 И ноги сами вынесли его
 К подъезду, к двери дома одного.

20.

Есть на Москве особенные двери,
 Какие нас отбрасывают – звери!
 Таковую дверь и я в гробу видал!
 Однако внутрь туда не попадал.
 Они, конечно, не для нас для всех,
 А для особых, полномочных лиц –
 В торце стола, для светских львов и львиц,
 Для жизни, для игры их, для утех.
 А посчитайте, сколько по Москве
 В охране лиц, живущих и вовне?
 И вы увидите, что глотка в ширку – в две,
 Так по траве уж ни коров, ни даже коз – один колхоз
 По всей стране...
 Арсений, говорю не только я,
 А даже та же про себя «семья»...

* * *

Так вот стоял в дверях Арсений
 И аж дрожал от вычислений.
 Такой конфликт в груди развиг,
 Как будто Пушкин – сам поэт –

О нем у фонарей чугунных,
 Среди военных, глупых, умных
 Об этом тоже говорит,
 Что Груша ест, с кем Груша спит...
 Представив все, он в двери входит,
 Идет при всем честном народе
 Куда-то лестницею вверх, как стерх.
 На «циркулях» своих.
 Ведь в шею могут идиоту!
 А он артист, привык к почету.

* * *

И всей натурой в пыл огня
 Садится он, как на коня,
 И к ним в те недра, где хмельны,
 Лежат они, едят блины.
 Так хорошо не без всего,
 Ром запивая пинтой кваса,
 Что не заметили Пегаса,
 Ну а тем более его.
 А он – голодный, между прочим,
 Короче ... Ах, да что короче,
 Когда мужчина кушать хочет!
 Он может все окоротить –
 Ее, его, себя и прочее, -
 Как быть?
 И как прилип внизу Арсений
 К консьержке. Но пришли, насели –
 И в шею!... Как король французский,
 Кипя, течет «Бульон» из храма,
 Так взад и Сеню-в город русский,
 Геройский и столичный самый.
 А тут на семь уж округов
 Весь люд российский поделен,
 Дабы из тесных берегов

Не вышли Волга, Лена, Дон,
 Чтобы текли, как прежде, врозь.
 Чтоб где-то эта «ДРВ»
 Не прикасалась бы к Москве,
 Чтоб вкривь и вкось гуляла бось...
 Еще когда-то будет это,
 А уж не тайна для поэта.

* * *

Еще и «Волгу» вновь сожгут,
 Кого-то голодом уморят,
 Возможно, выкрадут, убьют,
 А еще хуже – опозорят...
 О Господи! Не дай нам Бог
 Таких героев на порог.
 Они ведь тоже изувечены,
 Когда тылы не обеспечены.
 Из пядей тех, откуда вышли
 И все когда-нибудь уйдем,
 Он вдруг почувял дух всевышний,
 И вкус любви, и сочность вишни,
 И мемуаров первый том.
 Скорее к матери! В деревню!
 В родную дикость, на деревья!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

21.

Так где же Груша, Агриппина?!
 Пора и обратиться к ней.
 И тут не внешняя картина –
 Клубок мотивов, жало змей.
 Тела Медузы и Горгоны
 В ее косу уж вплетены,
 В Добро и Зло. Со стороны –
 Провалы темны и бездонны...

Проснулась Груша: где она?
 Какие сны судьбу пророчат?
 Все Мидия, все Гиркана –
 В персидских тайнах дни и ночи.
 В золотых орнаментах Луна
 До волхвования низведена.

* * *

Так что в России происходит?
 Россия будет или нет?
 Наоборот! А Кремль навроде
 Один на весь вселенский свет.
 Она одна в пустой квартире,
 А муж в деревне или как?
 Все судит всех, а сам-то – так,
 Горчица горькая в имбире.
 Он революций не умнеем.
 Восток ли, Запад – где мы, кто?
 Свой суп сварить всегда успеем,
 Хлепать который лет нам сто...
 Вот только как оно, не знаю,
 Проснуться к первому трамваю!

* * *

Проснулась. Быстренько чайку –
 Аж ложка в чашке ввысь и стоймя.
 Как сибиряк – сибиряку...
 Под мышкой что-то режет пройма...
 И фото рядом с банкой кофе.
 Пила - глядела – уповала.
 Так низко пала – изорвала
 В клочки его всемирный профиль.
 Взамен поставила детей...
 И побежали врозь куда-то
 Часы вчерашние над ней.

Перевивался дым, как вата...
 Весь Белый Дом стоял на том,
 Что и Россия, - на своем!

* * *

«Урра России!... Уррр-а России-и!... -
 На грузовик, с грузовика
 Взлетела молодой, красивой,
 Навеселе чуть – чуть, слегка.
 Протеск, считай, не в глаз, а в бровь.
 Она одна – за всю эстраду,
 Как Ольга... ну Бергольц... в блокаду,
 Гремело слово про любовь.
 И вся толпа (глазищи ж были (!),
 Они в себя ее влюбили),
 Возвысясь, влажная река,
 Непробуждаема пока.
 И танки, танки... Сколько вас?
 Что снова ожидает нас?...

22.

В дверь поскреблись – она открыла.
 Ах, это Степка? Бедный кот.
 - Где ж это был ты, обормот,
 Пока нас по миру носило?...
 Степан мурлычет, прыгнуть хочет,
 Объять хозяйку, лобызнуть.
 В дугу спиною, что есть мочи,
 Бесовской силой изгнать –
 Змеей, Горгоною, удавом,
 Колочей проволокой, право,
 Тигриным блеском серебра,
 Но Груша спит себе, а зря.
 Так покраснелась вся во сне,
 Как груша в вазочке на дне.

* * *

И снится Груше продолженье
 Незавершившегося сна.
 Как будто Степка в положение,
 При Сатане. Сам Сатана –
 За Степкой следом в сферы входит –
 Движенья резки, «циркуль» в нем.
 А все б настаивал на том,
 Что оскопили Степку в холле.
 Но Степка – Грушенькин любимец,
 Ему не надо никого.
 Арсений: «Чтоб тебя родимец!»
 А сам, как Груша, без всего.
 Они обои, в общем, голы –
 Еще от комсомола, школы.

* * *

Нет и алтына за душой,
 Как и у многих в мире оном.
 С ним – Груше так нехорошо,
 Граф, но пустейший, без диплома.
 Как подраздели и на чем,
 Так и сейчас мотивы странны,
 Капризы в списках просьб жеманны,
 Зачем же муж тогда, причем?...
 Вот камень. Вот она, дорога.
 И сверток криво, сверток прямо.
 Нам далеко еще до Бога,
 Направо – кол, налево – яма.
 И он – артист, она – артистка,
 У одного мы обелиска.
 «- Арсений! Я тебе свободы
 Давала столько, дорогой!
 А ты все старенькие моды

Вводил в домашний домострой.
 Все парики тебе, все маски,
 Все лицемерие и тут.
 Уже б давно тебе «капут»,
 Когда б не я – жена из сказки.
 Отгладь, утешь и подкажи,
 Тебе ж – театр да куражи.
 А и у нас, в моем театре,
 И я «фиалка» на Монмартре.

* * *

И я снимаюсь ведь в кино.
 И, говорят, фотогенична,
 И мне совсем не все равно,
 Когда я выгляжу отлично.
 Когда все смотрят на меня,
 Когда волнуя я кого-то...
 Арсений! То – твоя работа,
 А то ... и требует огня...
 Кажись, кумир, твой – Смоктуновский?
 Уйдет, допустим, ты – за ним.
 А я? А мы? Народ московский
 Привык к куплетам и моим.
 Какая душка – Таня Шмыга!
 Моя любимица ...
 - Задрыга!

23.

- Кто это, боже мой, сказамши?
 Арсений, ты? Какой позор!
 Затерт твой юмор. Как из замши.
 Ты просто туп, несешь свой вздор.
 С тобою только сядь в карету –
 Того гляди, слетишь в овраг.
 Такого в нашу оперетту

Да ни за что!... Уйди и ляг!..
 Спокойной ночи! Что ты бродишь
 По сапогам из «Периколы»?
 - А ты артиста за нос водишь!
 С тобою вечно будешь голый!..
 Очнулась Груша – это кот
 Ей намурлыкал, идиот.

* * *

- Вот санколот! Какой концерт
 Устроил этот милый Степка...
 Вот и проспала... Ну и ферт!
 Конфеты любишь? Вот коробка.
 А Сене их мы не дадим,
 Пусть посидит на своем «сене».
 Как та собака в воскресенье,
 Какой его мы наградим.
 Папье-маше... глаза и пламень...
 Блинов нажаришь – слопал в миг...
 «Эх, были когда-то и мы рысаками
 И кучеров мы имели лихи-и-их!..
 Эх, да были, когда-то,
 Пардон, веселые ребята!...»

* * *

Схватив газетку – флаг идей
 И выбросив обрывки в мусор,
 Она скользнула из дверей,
 Как виноградинка, как «бусорь».
 И покатилась по Москве,
 Чтобы забыть свое, забыться,
 А не в углу своем забиться
 С противным шумом в голове.
 - Какой пассаж!... Ах, это вы?
 А это я... а это мы...

Большой привет вам от вдовы.

- Какой?
- Веселой.
- Даже средь зимы –

Вы, Грушенька, всегда свежи.

«Москва! Все это типажи...

И миражи...»

* * *

Москва, Москва! И мой читатель,

Что покупал когда-то очень,

Бывало, кстати и некстати,

Теперь не может иль не хочет.

Кто деньги в ведра или в бочки,

Тем, как мне «каца», не до книг.

А вот, что оппоненты их,

Так те скорей себе в чулочки.

Иль хоть кефирчику для дочки.

Таким на книжки не хватает.

Бюджет животик поджимает,

Дошел до точки.

Но все шалит мой индивид,

И вновь перо мое летит.

* * *

Опять она на баррикадах,

Опять под знаменем «труда».

Как та французенка – баллада,

Тот «триколер» Делакура.

Стоит плечом к плечу со всеми

И, чуя в жилах нервный ток,

Кому-то упирает в бок

Свой микрофон, а что Арсений?

И там стоят, и тут стоят –

Напротив братья в униформе.

И танки едут на платформе,

Иль замирают ромбом в ряд.
 И этот ряд напротив - ряд, а люди все-таки красивы...
 Знамена разные шумят, а все – Россия!

24.

Душа болит, а сердце тает.
 И мысли тоже любят счет.
 И там, где, братцы, мой народ,
 Вдруг тело крылья обретает.
 И, падая и вновь вставая,
 Миг поэтический ловлю.
 Героев я своих люблю,
 Опять столбы они шатают.
 Держись, мой стих! Крепись, строфа,
 Биоэнергией свободы!
 От «девяносто первогода»
 Все те же ноты – «соль» и «фа».
 К чему иду, вникая в жизнь?
 Стихом держался и держись!

* * *

Читатель мой! Я весь с тобой!
 Мы, отражаясь, отражаем,
 Бывает, стогнем, холодаем
 При, друг мой, пенсии такой.
 Они приходят и уходят,
 А остаемся мы и Русь.
 Россия, при любой погоде –
 Все родина, все наша грусть.
 Осуществитесь же, свободы!
 Страна надежд, осуществись!
 Поэты мы - когда невзгоды,
 В двойную жнем мечту и жизнь.
 Мы не нужны? Но как без нас –
 Россия, Родина и – квас?

* * *

«Квасной патриотизм» мне люб.
 И в кислых средах, в жар денниц
 Бодрили ум, купали чуб,
 Носили соболей, куниц.
 Мои безмены – не без меры.
 Они без мены на условность,
 Условных единиц готовность
 И невиновность нашей веры.
 Я верю в нас, в Россию – Русь.
 И потому за безоглядность
 Романа этого берусь,
 И мне сладка его «всеядность».
 Все беды наши – от безверья,
 Пощиплем же друг другу перья.

* * *

Вот так. А как же, как еще?
 Когда бы думали бы в Думе,
 В бюджет был каждый посвящен,
 Процентом не играли б в сумме,
 На нашей сумме – на суме,
 На тощей, хиленькой, народной,
 На массе ртов полуголодной,
 Когда руб – в руку, два – в уме.
 Я деньги русские люблю,
 И доллар бы любил, он важен,
 Рублей хватает – лишни даже,
 Да, что ж мы, все имея, лысы,
 Худы, как в сакле бедной крысы?

* * *

Такая лирика пошла
 Непредсказуемая, право.
 Так раскалился – добела,
 Что позабыл о Груше.
 - Bravo!

(Или браво, брависсимо?) –
 Она напомнила, сказала:
 - Я возвращаюсь, как бывало,
 К тебе вернулось все само.
 Я так естественен, наверно,
 Что говорю, как есть оно.
 Все виртуально, все безмерно.
 Рубли в излишке все равно.
 Да просто кризисы, известно,
 Когда ведь «много», если честно.

25.

Пока Арсений наш несется
 В свою деревню, восвоися,
 По асфальтированной трассе,
 У Чигриневых раздается
 Звонок... И вот они в квартире –
 Единомышленники с Грушей.
 Вошли в «корабль», им ставший сушей
 Обетованной в этом мире.
 Коллеги – одного театра,
 Скорее даже направленья,
 А не с Борнео и Суматры, -
 Звонят, приходят. Страх, сомненья,
 «ГКЧП», - они в тревоге...
 Нова и власть, новы и боги...

* * *

Идут сплошные заявленья,
 Пойдут ли по домам народа?
 Одни и те же песнопенья
 От ... восемнадцатого года.
 « - У нас всегда наоборот;
 Опять 37-й год грядет?»..

«- А что же этот – Стародубцев?
 Сидел же с братом, влип в коррупцию?»...
 « – А этот председатель Павлов?
 Типичный же антигерой,
 Он за кого, за что горой?...»
 А Яз...»
 Экран погас, лицо пропало...
 Вот где эстрада, кто артисты!
 Продукт эпохи, «монтекристы».

* * *

Что будем делать? Как в осадок
 Осесть, не привлекая глаз?
 На даче где-нибудь, в посадах,
 Подальше, мать моя, от масс.
 - София, с кем ты и куда?
 В фуфайке летом... прямо Зоя...
 - Какая Зоя?
 - Космодемьянская, с героя
 Весь облик твой.
 - Ну да, ну да.
 - А вы, Ковальская, как прима.
 И как, естественно, глава
 Должны уехать... вам до Рима
 Билет уж взят, коман са ва...
 - А ты, Терентьич, будь на связи,
 - Все можно ждать от этой мрази.

* * *

Конспиративные квартиры,
 Пароль и явки – пахнет чем?
 Подпольем... Радиоэфир
 И – «чрезвычайщина» затем.
 От безопасности такой –
 Небезопасность государства.

Рубахи-парни, кресла, царства
 Так и уходят на покой.
 Россия, смутная Россия!
 В который раз с катушек брык.
 Опять народные витии
 В гроб заколачивают лик.
 Все «контра», «временные меры».
 И ночь черна, а кошки серы.

* * *

- А с кем Арсений? – Это Соня.
 Все б, не спросясь, совала нос.
 - Тут, Сонь, театр, а не колхоз.
 А ты – по моде, при фасоне.
 Пред кем?
 - Как перед кем?
 Перед своим народом.
 - О боже! Играем с каждым годом
 Все хуже... Разотрите крем!
 Уж бабушка, а все вы Соня.
 Все «белая акация» экспромтом.
 - Ну что вы, в самом деле, Соня,
 Амбиции свои зачем на ком-то?
 Тут – плаха, гильотина рядом где-то,
 И наша песенка уже, возможно, спета.

26.

Как лихо пишется роман.
 - Не я – Наседкин...
 - Кто же это?
 - Да зам. Дает всем – все, а то
 Стоять не могут... Талант мне дан,
 Но пишет за меня Хуан,
 Моей рукою водит.
 Я как Япония, Джапан:

Трясет, а мы свое городим.
 Трясет, а мы городим...
 Трясет, а мы горо... дим,
 Вдвоем рукою водим,
 Руководитель он, а я
 Живу себе в Народе.
 У нас другая тут семья –
 Трясут, а мы городим...
 Глядь, попадешь и в ряд калашный,
 Я и подумать было страшно.

* * *

- Уйду, - сказал, - и вспомнить нечем.
 Просил себя увековечить.
 И груша тут висит – не скушать,
 Другую Грушу – только слушать
 Про дом, Арсения, ее.
 Как тут он – ссора, по три на день.
 Как нет его, в агитбригаде, –
 Сама не сядет за шитье.
 Все будет по цепи ходить,
 Как кот ученый, по квартире.
 Поставить чайник, не разбить –
 Раз плонуть ... в муху на кефире.
 Когда страна возбуждена,
 Что муха ей всего одна?

* * *

Всю жизнь одно и говорим,
 Что мы деревню поднимаем,
 Все то же самое творим,
 Все строим то, что и ломаем.
 А все на тоненькой черте,
 Ни разу вдоволь не наелись.
 Вот он вскипел... какая прелесть!

Бульон куриный, на плите...
 Ушли года. Уж век умчался.
 И лишь «бульон» кипеть остался.
 Кому он нужен, тот «бульон»,
 Когда берешь не этот тон?
 Когда не то в него кладешь,
 Рассчитывая на молодежь.

* * *

Арсений, роль берясь играть,
 Идет в театр, в библиотеку.
 Его герой – былого стать,
 Не соответствующий веку.
 А я – по перышку, по нитке,
 На рынок, в магазин бегу.
 Мое – «цыганщина» и скрипки,
 Сама «блины» свои пеку.
 Вот мы и разные системы,
 Вот и по разным берегам...
 Хоть муж, а не находишь темы
 Частенько с ним – «шерше ля фам».
 Вот и случилось, что случилось.
 Все как-то рассоединилось.

* * *

А ведь страна моя – Расея
 Уж входит в эру Водолея.
 Проснется ль, наконец, народ,
 И нам хоть каплю повезет?
 Какая мистика, триады
 И вновь сошествие Христа.
 Перед Арсением – чиста,
 Терплю его всю спесь, бравады.
 Сплошной частенько выпендрей!

Шутить хотя бы перестал.
 Ведь знает, что не так, а то ж
 Туда же все, на пьедестал!
 Вот как приучены мы, что ль,
 Играть потрепанную роль.

27.

Ах, котик мой – Степан мой, Степка!
 Крадешься, рыжик, из ночи.
 И лапки на пол ставишь робко,
 Боишься, глупый, обмочить?
 Какой язычник! Как провалы
 Зелено-жутки, тень в глазах.
 Фосфоресцируй, славный малый,
 Светись лампадой в образах!
 Такие мрачные картинки
 Миг фокусируют шальной...
 Включили «Славься» – гимн, из Глинки.
 Ковчег-то Новый – старый Ной.
 Свои, проверенные гимны.
 Стихи-то кратки – эры длинны.

* * *

Вернулась Софья.
 - Соня, что ты?
 Пути не будет.
 - Ну, и что ж.
 Фуфайку с плеч:
 - Мы -- идиоты,
 Играем жизнь, какая ложь!
 Ну что нам – сорок первый, что ли?
 Идти в фуфайке под Москву.
 Мы – в девяносто первом, в роли
 Иной, развеем же тоску...

- Ну, молодец, хоть догадалась.
 Бери мой свитер – синий тот...
 Одна ты у меня осталась,
 Все разбежались, каждый врет...
 Такая жизнь, такой период –
 Все треугольники да трио.

* * *

Всего три дня прошло, а сколько
 Всего случилось в эти дни!
 Тот застрелился, алкоголик
 С балкона вниз, – кого вини?
 Кручина... Язов... Страдубцев...
 «ГКЧП»... Едва родясь,
 Уже почили. Все в коррупции –
 И новый день, и старый князь.
 Сидит она, как моль на вышке.
 Трепещет на мышинный писк.
 Звонить в деревню, в этот Мышкин?
 Пустое дело, ехать – риск.

* * *

«Все может быть. Все тут случайно.
 Вдруг оборвется с миром связь,
 И ты, Москва моя, печально
 Опять уснешь, не наедашь.
 То эти очереди кляли
 За то, что ехали сюда.
 А те в ответ: свое мы брали,
 Везли отсюда и туда.
 И вот... а вдруг... и эту нитку
 Возьми да ножницами шелк?» -
 Так Груша, вышивая свитку,
 Слезинкой капала на шелк.
 И кот дремал, и спали мышки...
 И где-то там Орел и Мышкин...

* * *

Какие к черту мы артисты!
 А может, то и хорошо,
 Что сел эпоху перелистывать,
 Да так по кочкам и пошел.
 Уж весь ты там, в былых пространствах,
 В душевном трепете, один.
 Себе слуга и господин
 В свободе выбора и шанса.
 Мы артистичны, ну и что же?
 Несовместимость, хоть убей
 (Хотим мы много, мало можем).
 А все же – все же, все же – все же
 Все дети мы Руси своей...
 Опять звонок! Так резко, в дверь.
 Кто б это мог? Тайга и зверь.

28.

Душа и сердце. Долг и совесть –
 И человек, человек.
 Она идет продолжить повесть –
 Роман в стихах, двадцатый век.
 - Кто там? – глядит она в «глазок».
 - Я от Кручины... помогите...
 Впустите же в свою обитель!
 На ночку хоть бы, на разок...
 - Вы от кого?
 - Я тот, кто вам...
 С народной... тоже помогал...
 От всяких театральных драм
 Я вашу честь оберегал.
 Сначала – мужу, после – Вам,
 И Вы – народная, мадам.

* * *

Шаги слышала, шаги.
 И не слышать их могла бы,
 Когда все те же пироги
 Пекли бы прежние прорабы.
 Напротив – «сваю» били «бабой»
 Шаги, тяжелые шаги.
 Шаги Командора, шаги Командора
 Напротив забора!
 Напротив забора,
 Во имя пурги.
 Снега высоки в небесах.
 И «баба» босая – в ушах!

* * *

И тот с пистолетом. Зимой и летом.
 А этот, а этот – с зеленой котлетой.
 С обсосанной этой чужою конфетой,
 С вчерашней – забытой уж всеми монетой.
 Коренский бежал – не храбрец по всему.
 И били фонтаны в Неву, как и в Ницце.
 И сам полицмейстер столицы
 Вот так же к сапожнику своему
 Укрыться нырнул, чтоб осесть, раствориться.
 - От кручины? – сказала она. –
 От какой? Мы вес сегодня в тоске-кручине,
 На переломленной льдине.
 Я тут, извините, одна.
 Муж где-то в деревне мотается,
 Тоже, наверно, спасается.

* * *

А после села да так и сидела,
 Щеки рукой подперев.
 Как будто не из оперетты – «Акация белой»,

Не даже груши мичуринской съев,
 А просто русская баба,
 После трудов своих, в болести –
 Нам бы немного – мира нам ба,
 Воспитанного на совести.
 И тут внесло в окно муху зеленую,
 Вот взлеталась, недовесок!
 Груша газету в руки ядреную,
 Потяжелше какую – свободная прэсса...
 Так вот мы и живем,
 Охраняя свой статус и дом.

* * *

То слева ветер, то справа беда,
 То прямо какой-то обрыв.
 Работы, рабочие, господа
 Уходят на перерыв.
 Побудут где-то, на время скроются –
 Смотришь, вылезли, кушают власть...
 В общем, о чем тут нам беспокоиться,
 Когда не беспокоится власть?
 Где-то твои детишки – в Мышкине?
 Где-то муж – посеред Орловщины?
 Бог подаст всем, нам не надо лишнего –
 От распоповых и поповщины...
 В чем трудность романов – что современные!
 Скажешь просто так, а на себя тянут даже военные.

29.

А потом меры – самые емкие,
 Интриганы бумажные, интриганы всякие.
 В Москве едят тонко, поют звонкие.
 Жестко спать, хоть постели и мягкие.

И у нас это так, оттого и не нравимся.
 И везде оно так по России.
 Спаси, Господи, нас от друзей спесивых,
 А с врагами мы и сами справимся...
 Вспыхнул у Груши на ушке рубинчик –
 Вот такусенький камешек.
 Это он там, Арсений, вспомнил нынче,
 Ищет ее, как ноту в клавише.
 Так где-то все и мотаются –
 Наши ведь мужики, русские.
 Где зря спят, чем зря питаются, -
 О Господи! – собаками и лягушками.
 Как французы или эти... корейцы, что ли?
 Заказали в Венгрии лягв поболе.

* * *

По болотам крякя ли, всем мешали,
 Да и отбрыкались. Приняты меры.
 Перевернули их кверху... раками,
 Ну и в консервы их, акционеры...
 Стиль боюсь изменить – зачем оно?
 К ямбу привык сумасбродному.
 Поэзия – это дух, а не как кино
 Развлекательное – голодному.
 Вот я и вспомнил «чудное мгновенье»,
 Дождется эроса и монах.
 Дай, думаю, к дню своего рожденья
 Сам себе роман подарю в стихах.
 Вот такие герои – дамы и кавалеры,
 Являются тут всяческие химеры.

* * *

Вот и Григорий. Едва достучался.
 - Эге-е!! – загрохотал он. – Один момент!

Вижу, ма шер, стручок от тебя остался,
 А перец – самый важный компонент.
 Все! Варим борщ! И ставлю
 Я на ноги тебя, а то помрешь,
 Приедет сам, ведь приползет, как вошь,
 Что я скажу твоему Макару Навле?
 – Ах-ха-ха-ха! – смеялась. – Тигр полосатый! –
 Как бы на свет сегодня родясь. –
 Ты, Гриша, из деревни, а носатый.
 И лупоглаз, и рыж... с евреем связь...
 - Ну ты даешь, - смеялся он, - Медея!
 Но все равно, мать, не оскорблюсь.
 Я представляю средь евреев Русь,
 А среди русских, стало быть, еврея.
 Вот так вот и сведем свои концы,
 Чтоб не играли нами стервецы.

* * *

- Дуй в магазин! В «Бристоль». На рынок, в «Бостон»...
 За старым салом – по хохлам...хотя я сам...
 Борщ русский сочиняем – гениальный просто!
 Бог вдохновенный – и тебе, и нам!.. –
 Они ушли с ним с сумкой – в одни двери,
 А возвращались в разные уже.
 Он встретился с поручиком Кижe,
 И заболтались про любовь, потери,
 Про всякие свободы и дела.
 - Ах, друг мой, жена негра родила!
 И я не знаю, что теперь мне делать?
 Быть красным иль оставаться белым?
 - Как перец? Или яблоко?
 - Какое?
 – Смотри какое, - по плечам рукою.

* * *

- Да что ты Гриша, Бог с тобой, какой
Ты белый? Ты ж, как помидор, уж перезрел.
Нос чего стоит!...

- Факт, пора к пивной.
Пивка с тобою пропустить хотел...

- Не против, босс.

- В такой мороз?! –

Вскричал приятель,
Сдувая пот свой от жары. –

А, в общем, пусть летят миры

В тартарары!

А мы пойдем, блин, красить нос.

Какие веянья, какие потрясения!

Когда жара, пора уже, пора

Пить пиво. Пара кружечек – спасенье.

А то таких нас в шею со двора.

... Гуляй же, Русь! Встречайся по душам!

Не ошибусь, когда и выпью сам.

30.

Не борщ был, а поэзия, роман!

Таких борщей не едывала сроду

Агриппа, Груша – Сенин океан,

С каким жен сравнивать сегодня взяли моду.

Упрел капустой, паром изошел,

Заправленный «хохлацким» ржавым салом.

- От хорошо! От хорр-ош-оо-о!! –

Дышал Григорий в пар наголодало.

Какой еврей! Какой там иностранец!

А русский - так на чем проверь:

Как он вокруг борща танцует танец

И квасом запивает, этот зверь!

Как наемся, как напрусь, –

Вот такая наша Русь!

* * *

Смотрела Груша, как он ел – Григорий,
 Опора, символический мужик.
 Хотела позвонить и дяде Боре,
 Чтоб тот доел, да борщ был съеден в миг.
 Она поникла головой – о, боже!
 - Ты что? – сказала он. – Так, - ему она. –
 Вот посчитала – сколько...
 - Грош цена! –
 Сказал он ей. – Жизнь чуточку дороже.
 Конечно, так. И все не так, конечно.
 И тот поручик с улицы – Киже.
 И воздух этот предосенний, здешний.
 И строй артисток – витамин в драже.
 Мы тоже были юными когда-то ,
 Смотрели с фото, из афиш, с плакатов.

* * *

Григорий, где ты? Дорогой Григорий!
 Взял автомат и канул за порог.
 И в душу Груше вдруг проникло горе,
 Такое горе! Чуть не спшибло с ног.
 «Калашниковы» сами не стреляют,
 Огонь прицельный сами не ведут.
 Чего ж ты, Русь! Куда тебя ведут –
 Мою Россию с края и до края?
 Кого на мушку? Мы же все свои.
 Когда хоть, в чем хоть обретется связь?
 Скорее бы – на том перебесясь.
 Негоже нам ни длинный «криг», ни «блиц» –
 Прошедшим все, чтоб снова в землю ниц!

* * *

А в это время где-то государства
Идут к вершинам, сочиняют стансы.
Поют романсы, русские романсы,
Пока мы восстанавливаем царства...
И, все это прочувствовав в себе,
Как та собака все на том же сене,
Она присела вдруг писать тебе,
Мой дорогой, забытый мной Арсений.
Я знаю мой читатель тоже ждет.
Пожалуй, может, даже истомился:
Да где ж герой наш главный, чем живет?
Куда он, гвоздь московский, провалился?
Ну и, конечно, мы не таковы,
Чтобы скрывать. Мы тоже, может, львы.

* * *

А что она расскажет, мы увидим.
На то и Груша, чтобы дозревать.
Москва его не видит – не в обиде.
Зато я вижу верх, Россию – мать!
Когда иду я Каменным мостом
И вся Москва – река передо мной,
Я мысленно ловлю себя на том,
Что ввысь гляжу – на красоту, на холм,
На Кремль-красавец перед всей страной!
Спасибо вам, большие мастера,
Кудесники, страдальцы на крови!
Все стены в красном – вот была игра!
Где кровь уж невозможно уловить.
И белым отторочена канва,
Чтобы зияла, видела Москва!...
Спасибо вам, философы-отцы,
Мы – дети ваши, мы – не подлецы.

РОССИЯ-РУСЬ, ПРОВИНЦИЯ...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

31.

«Все тот же путь – в Москву и из Москвы.
 Мы, серединные, в столице чем-то странны.
 Отсюда уезжаем, скажем, – львы,
 А возвращаемся – зализываем раны.
 Уж тут инфаркты – после, погода -
 У тех, кто навышу не зацепился.
 Земля родная! Он сражался, бился –
 Прими, утешь и смерда, и вождя». -
 Так думал наш Арсений спозаранку,
 В порыве, за баранкой глядя вслед.
 Спасибо не сожгли, не сбили танком -
 Японский бог! – его «кабриолет».
 «На чем же восстанавливаться будем?»
 Природа, книги лучшие и люди.

* * *

Три ипостаси – троица святая
 Их можно по-другому сочетать.
 Природа – с языка так и слетает.
 Питает Русь нас – мать наша, мать.
 Да все на ней! А книги суть искусства.
 Как сказано, «вначале было слово».
 Оно конечно, главное, основа.
 В нем жуткий смысл, бессмысленные чувства.
 О русский наш язык! О что творится!
 Все говорят, общаются на нем,
 Непрочь иные брать его внаем,
 А в болтовне готовы распусться –
 Второстепенный, дескать, чужеродный.
 Однако как за каменной стеной.

* * *

Как воздух он, как птичьи голоса,
 Слова ничьи, в натуру лезут сами...
 Вот, брат, какая нынче полоса.
 С тех дней, как заварили в пуше... «саммит» . -
 Так думал Чигринев Арсений,
 Во двор въезжая, в милые пенаты,
 Где третья ипостась: крыльцо да сени,
 И все свои, родная мать у хаты...
 - Аты-баты, шли солдаты,
 Аты – баты, на работы.
 «Что ты – что ты, что – ты, что – ты,
 Я – солдат девятой роты»...
 Принимай, мать, я приехал.
 - Где ж твоя Эдита Пьеха?

* * *

- А оставимши в Москве,
 Я оттуда спозаранку...
 Мать, стели-ка на траве
 Свою скатерть – самобранку.
 Квасу мне – свекольного,
 Только что из Смольного...
 - Гриша где твой? – только мать
 Успеает подавать.
 Сколько слов обрушимши
 Ее младшенький сынок.
 - А из яблок будешь сок?
 А из...
 - Сенька, черт, пляши! –
 Это брат его, постарше, -
 На коне, всегда на марше.

* * *

Обнялись с Андреем, встали,
 Обнялись еще – и вот
 Плюх, а в губы не попали –
 Не московский разворот.
 - Ты откуда, брат... без визы?
 - Из Сибири прикатил.
 Видеть только в телевизор
 Вашу светлость нету сил.
 - На телеге? Из Сибири?
 Из Восточной? Или как?
 - Да с центральной я, чудак...
 С месяц тут толкаю гири...
 И Каштана распрягали вместе.
 А паук на гриве – к доброй вести.

* * *

Вдруг Андрей отвел его в сторонку
 И, на куртке пуговку крутя,
 Прокрутил, как маг, такую пленку –
 И официально, и шутя:
 - В общем, на центральной наш десятый
 Отмечает юбилей. И к встрече
 Приготовь-ка, братец, тосты, речи!
 - Ты, Андрюш, тигренок полосатый,
 Словно снег, с Луны свалился, что ли?
 Мне еще с той осени писали
 Вот приехал.
 - Мы не получали.
 - В общем, класс наш... завтра... в нашей школе.
 Сколько уж? Неужто двадцать пять?
 Годы, годы – всех не сосчитать.

* * *

И, склонясь пониже, прямо в ухо,
 Брат ему Сахарою дыхнул:
 - Тут одна мне муха-цокотуха...
 Про один тут... «незалэжный» стул....
 - Про какой? – переспросил Арсений,
 Удивляясь странности Андрея.
 «Что такое слог народный
 На Пречистой? – Это стул «свободный»».
 - Помнишь Чигриневу?
 - Что – Марию?! –
 Полыхнуло внутренне, как высверк.
 Кто-то имя, словно розгой, высек
 Да и бросил душу в эйфорию:
 «Стул свободен... опыт – эмпирия...
 Первая любовь его – Мария»...
 Их у них тут столько, Чигриневых, –
 Целый клан, полплана, хуторок!
 Может, и одни в крови напевы,
 А вот сразу как-то невдомек.
 Мать их – Дарья, тоже Чигринева,
 Говорит, что с век тому назад
 Бабка чи Крылова, чи Гринева
 Штук пятнадцать родила ребят.
 Вот оно, где корень, где бурьян.
 Докспайся, мы чего рябые.
 Не графья, не баре столбовые,
 Книг разрядных нет на нас – крестьян...
 «О Мария! О моя Мария!
 Неужель ты тут? О мама мия!»...

* * *

И, нахлынув, так взяло вдруг в чувства,
 Так воспоминанья одолели,
 Что затмило мир его, искусство,

Весь театр их – люстры, капители.
 Вызывая облик ее милый,
 А в ногах предошущая дрожь,
 Не сказал, куда же ты идешь?
 А пошел как на́ смерть, на могилы.
 Да и я, сопротивляясь слабо,
 Потянулся, повлекло за ним.
 Словно и не он уж по ухабам –
 Я опять рванул по молодым!
 О Мария! О моя Мария!
 А глаза все те же – голубые...

* * *

И не помню и теперь не знаю,
 Кто из нас был первым, кто – потом.
 Шли друг к другу, души отдавая –
 Шепотом да ше-по-том...
 Розовые, пламенные были
 Повторят ли сны во всех чертах?
 Может быть, и разных мы любили,
 Да лежали на одних снопах.
 Стежкой той же бегали под осень –
 Все полями, к рощице, вот так.
 Щеки обжигал нам красный мак,
 А глаза сгибались в цифру «восемь».
 Тело скользко, плечи запрокинь –
 И спадают косы с полруки.

33.

Чистые, божественные строки
 Приходили в голову тогда.
 И сейчас по небесам широким
 Все ведут, все падают сюда.
 Все глаза – фиалки голубые,
 Все звезда, скользящая на них.

Как же удлинился этот миг,
 Если мы все это не забыли.
 Слово только стоило сказать,
 Древнее, магическое слово...
 Чигринев! Не надо осуждать.
 Тут грешить мы всегда готовы.
 Да и то какие там грехи,
 Ведь и я с ним недопел стихи.

* * *

Вот Арсений долом поспешает.
 Ноги сами мчатся, как тогда.
 Пашут край, дороги изменяют,
 А ландшафт на месте, как всегда.
 И пришел Арсений к Валуну –
 К камню, насмерть вросшемуся в землю.
 Семью семь – вот сколько веток в темя,
 Семью восемь – целятся в Луну.
 Кто же тут, под этою Березой,
 В белых очертаниях, маня?
 - Сколько ж ты стояла тут?
 - Три дня.
 Двадцать пять стоять ей Белой Розой,
 Вместе с ней стоял бы тут и я,
 Та Береза с детства и моя...

* * *

Нет воспоминаниям конца.
 Как не верить в чудо, в чудеса?
 Докошу лужок свой, пот с лица,
 За двоих старается коса.
 Ручку да другую дай пройдуся,
 Вдруг на самом взлете оборвусь.
 Помоги же мне, святая Русь, -
 Дотянуть, доплыть, дописать.

Я пишу – стихи, дивится многих.
 Как все это в рифму ты и в ритм?
 - Помогают, видимо, мне боги.
 Да и сам, видать, не сибарит.
 Да и, верю, что попал в свое –
 В жанр духовный, краткий, в «мумие».

* * *

Взял Арсений женщину за плечи,
 Словно в белом девушку когда-то,
 А глазами выесть ее нечем,
 Как бывало. Где-то тут орлята
 В гнездах жили, голову кружили
 И, давая имя той земле,
 По ракикам сидя, ворошили
 Были вековые на селе.

- Помнишь тех орлят, моя Мария?
 - Помню. Как не помнить, дорогой?
 Ты забыл, наверно, там, с другой,
 Что и у других возможны крылья.
 - Не забыл. Но ты свою свободу...
 - Я свободу делаю народу.

* * *

- ... выбрал или, может, променял? –
 И, закончив мысль, она вздохнула,
 Как страничку, что ль, перевернула:
 - Всем свободу? Аппетит не мал.
 Камень грел. Валун был очень круглый.
 Лоб быка подблюдного. Сюда
 Коли выпрет, всем тогда беда –
 Пятистопный... пятизначный... смуглый.
 - Мы себя на камне проверяли.
 Помнишь как? – И, положив ладонь,
 Ощутила трепетный огонь.

Как вдова на мужниной медали.
 Вспыхнул он, обиделся, наверно:
 - Маша, я любил тебя безмерно.

34.

И застыл он в памяти о давнем.
 Ветер прошумел по тишине:
 «Вот сидишь со мною тут на камне,
 А все мысли где-то о жене»
 И, вспыхнув, она села под березой -
 Одна, одна - под купола сырые.
 А там, а там, неужто Белой Розой
 Опять ему привиделась Мария?
 И камень этот Моховой Валун –
 Опять залег в нем всеми ледниками,
 Которые когда-то плыли сами
 По всем пространствам среднерусских дюн.
 Морены, луны, дивные пейзажи –
 Все посмешалось в радужном коллаже.

* * *

С утра на завтра он опять сюда -
 А никого. Но нет уже спасенья,
 Чего они нас мучают, года,
 Герой наш, Чигринев Арсений?
 Весь век, всю жизнь друг друга ищем!
 И что валун нам, мистика его!...
 И мыслью отошел он от всего
 Да и оказался на кладбище.
 Со времен еще тех тут, афганских,
 Мрамор стоймя, округлый портрет.
 Сколько ж курских, орловских и брянских
 По кладбищам разбросано бед.
 Вот тоже Чигринев тут... офицер...
 Мог быть и ты... будь ты из тех же сфер...

* * *

И загудела его голова,
 В эпитафиях закачалась,
 Лапидарны на камне слова
 (Ничего, коль подправить малость):
 «Никуда они тут в тиши
 Из могил не ушли. На тризне
 Просто душами перешли
 В состояние вечной жизни».
 Что ж не учит нас тишина?
 Снова взрывы, как сложат клеммы.
 Анархическая страна,
 Все подводим других под схемы,
 Бессистемны, как и кладбища.
 Даже тут не найдешь, кого ищешь.

* * *

Чигринев – офицер, одногодок;
 Тоже, помню, к Марии ... того...
 Эх, погода, ты в доме, погода!
 Ты главней, безусловно, всего...
 Председатель давнишний, колхоза –
 Тоже легчик давнишний, почил...
 Все герои и всех «замочил»
 Жук один – скарабей, из навоза...
 Все отцы, деды, пращурсы тут –
 По слоям да по войнам, эпохам.
 Все всегда выходило нам боком,
 Не выпутывались из пут.
 Вот и ныне, как и вчера,
 А вчера, как и ныне... дыра...

* * *

Тут, как и при Екатерине, все мы.
 Все это Русь – в поколениях, лицах,

Все портреты на всякие темы,
 Ничему не могут уже удивиться.
 «Что ж вы нас-то все повторяете?
 То Китай, то Афган, то Чечня.
 Все б скакали – не слезая с коня,
 Покоряли бы все – покоряете»...
 Промельк белый, Арсений! За рвом –
 Что это за свеча одноразовая?
 И дрожала огнем,
 Опускаясь за рвом,
 Голубая косыночка газовая.

35.

«Снаряжай, Чигринев, свой пегас!
 Завтра в школу, как прежде, в свой класс.
 В самом деле, сто лет не видались.
 Что теперь за народ,
 Что на встречу придет?
 Как по жизни мы все проскитались?
 Как нас кони несли, всех, поди, растрясли?
 Что задумалось, что совершилось?
 Лишь коряги в золе да капуста в пыли –
 Не съедобны, но царственны малость.
 Были славны мы, юны,
 Все смотрели на Луны.
 Стул свободный... минута экстазовая...
 И тогда на Покров
 Опускалась за ров
 Голубая косыночка газовая» -
 Так приходил в себя Арсений
 В день тот лиричный, предосенний.

36.

Однако возвратим героя
 Всему романному пространству.

Мария! Шанс мой – за игрою.
 Мария Чигринева! В трансах
 Твоих и я всегда готов
 Плечо подставить, все отдать,
 Чтоб ты могла прийти и стать,
 И не устать, идя на зов...
 Она увидела его –
 И что-то снова в ней восстало,
 Вдруг очищаясь от всего,
 За годы от чего устала.
 Не знаю, день – медовый Спас,
 Кого хоть от себя ты спас?

* * *

Не будем рисовать картины,
 Уже описанные всеми.
 Стога. Свиданья, журавлиный
 Пролет любви златой, осенний.
 В кино увидела его –
 Былого идола экрана.
 Поражена была путана
 Кумира кармой своего.
 Какая тайна по лицу,
 Желтея, сходит, возникает.
 Как по монаху – чернецу
 Небезгреховное витает.
 Как он устал, как и она,
 Как вся огромная страна.

* * *

Как он, наверно, одинок,
 Как одинока и она.
 Снует паук, плетет челнок.
 Твои полотна, Сатана.
 Не отдадим ему тела...

Кого ждала, кого любила,
 Кому колечко припасла
 И чьи черты не позабыла?
 Он был талант, все это знали
 Еще с тех самых, школьных лет.
 В Москву всем миром посылали, –
 Так оправдает или нет?
 И он пошел, большой и гулкий,
 Женясь на... Банном переулке.

* * *

Она не верила, надеясь.
 Она надеялась, не веря.
 Какая чушь, какая ересь!
 Какая глупая потеря!
 Когда заметила с экрана
 Другую рядом, лишь тогда
 Она рванулась к ним туда!
 Женился он – ему беда,
 А ей придется вековать,
 Написано так на роду.
 И мать боялась накликать
 На дочку новую беду...
 Да ладно, что мы все о том!
 Уж поросло былье быльем.

* * *

В ней только после института
 Туда рванулось все - за веком.
 Мир в ней был спутан – перепутан,
 А тут другим вдруг человеком
 Она предстала перед всеми,
 Как, собственно, и пред собой...
 Из Чигриневых рыж любой,
 Она ж была, как лист осенний,

Светла. Да темные кадрили
 В ней завертелись, мир затмили.
 По главкам, ставкам; как рули
 На ней все пробовать любили!
 Такие шефы – «хунвейбины»
 Ввергали в мистику, в пучины.

37.

Блаватской, йогов читалась
 И в биологию ее
 Все это здорово вписалось,
 А сверх и просто в бытие.
 В Сибирь свою сама забралась –
 Подальше, к кущам всемогущим,
 Где климат «жиже», «оллеб» погуще, -
 И вот в Якутске оказалась.
 Она – учительницей в школе.
 Так увлекла ее тогда -
 Факт не последний в божьей воле –
 Миссионерская звезда.
 Как лучше жизнь еще поймешь,
 Когда с тобою молодежь?

* * *

И там, где солнце слабо греет,
 Нашелся же такой чудак –
 Возил картошку из Кореи
 И заезжал к ней просто так.
 Земляк. И тоже Чигринев –
 Гражданский летчик. По «компасу»
 Летал и шил он будь здоров.
 За годы выпил бочки «квасу».
 Она внушила и спасла –
 Рецепты, кажется, не новы.
 Домой потом к себе взяла,

Ведь оба были Чигриневы.
 Так и привыкли. Так и жили.
 Двоих детей наворожили.

* * *

И взят крутой был разворот,
 Круги такие были свиты.
 Дела и деньги. Жизнь – полет,
 И вот она – среди элиты.
 На рыбе, в стойбищах, на драге –
 Везде ее ученики.
 Коль злато мыть – не на бумаге.
 Алмаз гранить - не для руки.
 «Валютный цех» Большой Державы...
 И в школу к ней идут, ведут.
 Какой там опыт! Не для славы
 Все сокровения и тут.
 О Солнце, Белая Шаманка!
 Поет пурга, стучит «морзянка».

* * *

А этот рыжий Чигринев
 Таков – летает не летает,
 Но только пить всегда готов,
 Ей сил на все уж не хватает...
 На тундру, стойбища, собак,
 На этих славных, добрых лаек, -
 Над всеми дух ее витает,
 А вот над летчиком никак.
 А тут еще киноплакат
 Она увидела в Якутске:
 «Ого, Арсений!...»
 - Это брат?
 - Да так, - сказала, - тоже русский.
 Как Чигринев, так, значит, наш.
 Такой-то, стало быть, пейзаж.

* * *

Разбередилась вдруг душа,
 И потянуло так в Россию –
 Ну в ту! какая хороша
 Всегда была ей и красива.
 И отошла от прежних дел,
 На корень свой – сюда вернулась.
 А летчик после прилетел.
 И тут она как окунулась,
 Как развернулась... Директор школы.
 Где было чад от силы двадцать,
 Теперь уж сто... Кружки, футболы...
 «Эй, эмигранты! Всем собраться!
 С коленок будем подыматься!
 Все заново, все сами, братцы!...»

38.

Что ей зимовки и морозы!
 Все меньше что-то жнут и пашут.
 Знай, Чигринево, силу нашу!
 Цветите, глиняные розы!...»
 Всех подняла, всех возбудила –
 Райцентр, село свое, себя.
 И кто приехал – поселила
 В пустых домах. О том трубя
 На всю Россию. Вот и в школе
 Все загудело, ожило.
 С ума едва не посвело:
 «В пять раз умножим, даже боле!»
 Вот на какие пироги
 Арсений прибыл... из тайги.

* * *

Она звонила и писала,
 Она выпускников звала,

Она же всех и вызывала,
 Но лишь Арсения ждала.
 И вот не канула в березы,
 Ему не чудилась она,
 Когда, сдержав – душили слезы,
 Едва дотрагиваясь дна,
 Она коснулась пепелища,
 Что оставалось там, внизу.
 После „сельджуков” вряд ли сыщешь
 На холмах Грузии лозу.
 Она одна. Идет местами,
 Где мы бродили с ней и сами.

* * *

К Березе Белой – как в кино,
 Внутри же все запечено,
 Идет она из Чигринево,
 Бежит к поселочку Боброво.
 «Кто там? Какие там мимозы
 Все у того же Валуна?»
 - Арсений! Бог ты – Сатана?
 А то! Смотри какие дозы.
 Какое поле! Да, такое!
 И близь, и даль, и любота.
 Она погладила рукою:
 «Осот, концепция не та»...
 И расхотелось в этом виде,
 Чтоб кто-то полюшко обидел.
 И потянуло снова к Валуноу.
 Да к той Березе... Где-то далеко
 Все это было... Вот и я тону
 В ее печалях, светящих в окно...
 - Мария! – вздрогнула она. – Мария!
 - Арсений! Разве это я?...
 Я знала, знала!...

- Что такое «мрия»?

По-украински, значит, «ты моя».

И за руки ее и ближе, ближе,

И запрокинул к небу, к цифре «семь».

- Ты – Гамлет, да? – сказала. – Только рыжий.

И он ответил: - Я – Арсений, мэ.м.

И, не случилось ведь землетрясений,

Пока звучало имя в ней «Арсений».

* * *

По бархату ресниц, по паутинке.

Скользнула тень ее бывлой улыбки.

И снова солнце. Круг, как на картинке.

Все зыбко, как у детской зыбки

Ее Володьки – сына, первенка.

Он тоже был вот так же тих и нем.

- Не бойся же, Мария, я не съем, -

Сказал он и напомнил ей ребенка.

Какими мы в любой момент бываем,

Когда, обремененные судьбой,

Хотим вернуться, этот покидаем,

А в тот не получается – в иной.

Миры другие, несоизмеримы.

Мы тут одни, и люди мимо, мимо.

39.

Она стояла полубоком –

К нему, к Березе, вкось земле.

Чтоб он не глянул ненароком,

В нее, как в фото на столе.

Но к ней шагнув, в родные очи,

Он провалился в этот «яд».

Чего они на нас глядят,

Темнее суток – дня и ночи?

Варили под скалой уху.

И то, что здесь недавно было, -

След по росе, едва не смыло.
 Записка на зеленом мху!
 Бежал глазами, вились кольца...
 Кровь по Кавказу, добровольцы...
 «Арсений! Я теперь другая.
 Не та, что школьницей была.
 На мне печать, но – роковая,
 Наивна первая стрела,
 Какая нас тогда сразила...
 (Что за слова «печать», «стрела»!).
 Судьба с тобой нас развела.
 А если б нет, что б с нами было?
 Кто я тебе? Ужель Татьяна
 Из давних книжек, прежних слез?
 Мне свое фото видеть странно
 Из милых, выдуманных грез.
 Другой я стала за Уралом....
 И ты - другой, за генералом.

* * *

Себе представить не могу,
 Законодательницей мод...
 Мы все теперь в ином кругу,
 Совсем не тот – иной народ...
 Когда мне было тяжело,
 А было просто невозможно,
 В моей суетности безбожной,
 Что и спасало, что спасло,
 Так этот ты, мой светоч, гений!
 Сто раз на дню я призывала,
 Когда разбита вся, бывало,
 Тебя звала к себе, Арсений.
 И ныне не могу иначе...
 Арсений, миленький...
 Я плачу...»

* * *

Вслед за приписанным «Пост скриптум»
 Уж я пришел и говорю.
 По капле снизу, четким ритмом:
 «За все тебя благодарю»...

* * *

«Она в Сибирь из-за меня!
 Она меня всю жизнь любила!
 Не проходило часа, дня,
 Чтобы не вспомнила, забыла». –
 Так восхищен был наш Арсений,
 И все, заметим, сам собой.
 Былое часто над тобой,
 Как боль, лекарства, панацеи.
 Мария! В реквием пространства
 Горизонталями души
 Готов я брать в свои же барства,
 За вертикальностью тиши,
 Зеленое – по край земли,
 По гороскопу – все в пыли.

* * *

Цвета затянуты в корсеты,
 В корсажи, в выдуманность, в ложь.
 Все валят всякое в анкеты,
 А правды, истины – на грош.
 Для кучки избранных, кто сверху,
 Грош, может быть, кому хорош?...
 «А хорошо, а хорошо, когда ты выпил и ищцо!»
 Но на одной не встать и стерху.
 Она сюда вернулась зрящей,
 Развязанная по рукам.
 Все крымы – рымы в жизни вящей
 Прошла наверх и вниз – к грехам.

Попала в ту же вертикаль.
 Как на Голгофе вся, а жаль.

* * *

Не Байрон автор и не Пушкин,
 Под Достоевского-в стихе.
 Изображать лубок, «петрушки»
 Уж надоело, хе-хе-хе.
 Иду широкими кругами
 И в небеса, и в недра те,
 Где тьма и мрак, откуда «камень»
 Стремим мы, люди, к красоте.
 Спасемся этим! Мы достойны
 Быть на земле, да каждый рад!
 Так отчего борьбу и войны
 Возводим в куб или в квадрат?
 Углы, углы в сознание нашем,
 Когда не сеем и не пашем.

* * *

Мария! Ты же ведь мужскую
 Взвалила ношу на себя.
 А глухари, гляди, токуют,
 На трех – в пивнушке морокуют,
 Гнилую кильку теребя.
 Такие мы – реформы, были,
 Но все, Мария, на тебе .
 Всю кладь на женщин бы валили,
 А что оставили себе?
 Они сидели, те сидельцы,
 И – запустелые поля.
 И все нам кто-то, все нам Ельцин!
 А сами что, - суди, земля!...
 В «Сибириях» наша декабристка...
 Все «прирастаем», все так близко...

* * *

Спасите, женщины, Россию!
 Когда не могут мужики.
 Своей любовью, льном руки, -
 Спасите женщины Россию!
 Когда она на самой грани.
 И я готов быть, жены, с вами,
 Свои ладони в ваши длани,
 В бег сунуть общих рек... Я нашей Даме
 Прекрасной – Матери Земле
 (Вы, женщины, закалены во зле)
 Пою осанну, впав в кураж,
 Она не портит нам пейзаж.
 Когда б, как все, трудились мы,
 Хлеб не кончался средь зимы.
 Роман в стихах – мой этот остров,
 Пролит глубок, куда грести?
 Как все естественно и просто,
 Да не разведены мосты.
 Ну хватит... Что моя Мария?
 А наш Арсений – что там с ним?
 Опять апостол, херувим,
 Готов подсунуть черту крылья.
 Я, как тот перс – о, Хакани!
 Хвалю себя, а то цари – халифы
 Забыли нас. И тяжки наши дни,
 Тома мои – как корабли о рифы.
 ... Она бежит как с поля брани,
 Поэзия – когда потеют длани.

* * *

Первейший признак, что опять больна
 Любовью, давнею болезнью;
 Опять сегодня не достала дна,

Перемутив день с ночью... Мрак, исчезни!...
 А наш Арсений – что он понимает!
 На Валуне своем – на Белом Камне
 А тут ведь тризны правили веками,
 Кровь только что слизнул Девятый вал...
 Сложил Арсений жгучую записку,
 В кармашик аккуратно положил.
 Зачем? Да так... И я был где-то близко –
 Вот и сказал про это, не забыл...
 - Однако! – тут он оглядел окрест. –
 Несет Мария одинокий крест.

ГЛАВА ПЯТАЯ

41.

«Халиф на час!» Да кто про то не слышал?
 Временщики дают сие понять:
 Опять течет, опять худая крыша,
 А значит, снова красить и менять.
 Вот Персия. Вот в древности Багдада –
 Век вавилонский, отрезвленный мифом.
 Там избран был поэт Мутаз халифом
 А через день растерзан, говорят.
 С тех самых эр, предания веков
 Поэтов высших, под небесным кодом,
 Ведут под перезвонами оков
 К погибели – сквозь испытанье медом.
 Однако и халифы, и толпа -
 Как верх и низ единого столпа.

* * *

Любил Арсений эту цифру «семь»,
 Как семь планет в известной группе,
 К которым кто-то насовсем
 Его как бы присовокупил.

Своими смутными «нулями»
 На космос глядя, глядя нить,
 Про ту «восьмерку», где мы сами,
 Предпочитал не говорить.
 «В передней мы, хоть там – тем более,
 Кто мы, кто ты, чего достиг?» –
 И грело Сеню в этот миг,
 Когда он приближался к школе.
 Он шел по Чигринево, чуть гордясь,
 Что Чигринев он, Чигриневский князь.

* * *

А петухи уже отхлопотали:
 Иные спят, иные – под топор.
 А чтобы кур позорно не топтали,
 Чтоб те несли яички в каждый двор.
 И самогонкой что-то некрасиво
 Тут почти каждый двор благоухал.
 (Мой друг, никто еще в России
 «Сухой закон» не отменял).
 Вот так готовились гужом
 К тому, что намечалось в школе.
 Чего там, не за рубежом,
 Глянь, лето красное на сломе,
 Столы какие осень ломит!

* * *

И, директор, Чигриниха, там уж.
 Раскраснелась, глядя на тебя.
 Будто выдает кого-то замуж –
 Дочь родную иль сама себя.
 Выпускники! Такая мода –
 Слетаться... гнездами сплелись...
 Арсений из Москвы – артист,
 Народный там – тут из народа.

Перебродило все село,
 Почетный гость и бомж «моченый»:
 - Рыбеха в блюде – с пуд. «Алло!
 А нам обломится чего – нить?»
 Ходили в «сенцы» и под окна –
 Такая кладь, такие копны!
 А что ж Мария? Вот мотор,
 Светило в солнечной системе.
 Всех заведя, наладив хор,
 Присела, выкроила время.
 О чем мечтает? О тебе –
 Таком большом, экстравагантном,
 В костюме белом, элегантном, -
 Все для других, а что себе?
 Сама в гороховом жакете
 И в юбке, выглядя вполне,
 Была б, как бюстик на Луне,
 Сядь рядом с Сеней на банкете.
 Не Солнца луч, а лунный отсвет
 Лежал на голове, чуть впроседь.

42.

Все про дворян в литературе,
 Все «лишним» ищем «комплиман».
 Но, что известно каждой дуре,
 Людей нет «лишних» у крестьян.
 Чего в крестьянстве не хватает,
 Так даже не земли, а рук.
 От крепостных цепей и мук
 Когда избавимся – не знаю.
 Вот выдал паспорта Хрущев,
 Так все как брызнули отсюда...
 А что потом, да что еще?
 Обратно гнать сюда оттуда?
 Вот выходцы – первопроходцы
 И тут же с ними «инородцы».

* * *

Ну те, какие там родились,
 А к ним сюда переселились
 Хоть лет пятнадцать, хоть вчера,
 А все «чужие» – «немчура».
 Но все равно свои, конечно.
 Россия – матушка, у нас
 Не то, что где-то «русский квас»,
 Бывало, пьют-ругают вечно.
 В деревне редька, лук зеленый
 Да кружки две домашней водки –
 Для узкой глотки, дух ядреный,
 Да по бокам две-три молодки, -
 Вот это праздник, красота!
 Когда бадейка не пуста.

* * *

Но, прежде чем за стол присесть,
 Прошлись по всем по половицам.
 Отдали, в общем, школе честь
 И всяким обучавшим лицам.
 Ведет своя их директриса –
 Мария, Маша Чигринова.
 И Сеня рядом – будь здорова,
 Не кашляй; Сеня с ней за лиса...
 Класс дальний, дерг за обе ручки –
 Как грохнет мусор с потолка.
 - Дыра, прогнило!... Что за штучки?..
 - Да нет средств у нас пока!..
 - Показывайте достижения,
 А не уродства положенья.

* * *

Ну, в общем, покраснеть пришлось.
 Пока до сути добирались.

Вставляли ей в колеса ось,
 Чтоб двигалась телега малость.
 Такая жизнь. Колхоз благой
 Растащен в дрызг, на слом пошел.
 Лишь председательский «козел»,
 Печать стучать да воз с дугой...
 Стащили все, что было можно,
 И вот шумят, гуторят все;
 Придя на «сенцы», врут безбожно,
 Всех хвалят в средней полосе –
 От президента до соседа,
 Кто с кем когда во рву обедал.

* * *

- А это в вашу честь, бомжи!
 Ну, тунеядцы... узкий спектр...
 День провалялись вот во ржи, -
 Иронизировал директор.
 И, взяв за локоток Арсения,
 Она в дверь далее прошла бы,
 Да тут же – сцена не для слабых –
 Был путь закрыт ей. Нет спасения
 От алкоголиков – мужей,
 Когда они уже на взводе,
 Что хочешь говорят уже
 При, значит, всем честном народе:
 - Ну, доиграешься, змеюка!
 И ты – столичная ты сесука!

43.

В их треугольнике он «лишний» –
 Мужик Марнин. Как намедни,
 Не изломал бы дикой вишни,
 Да не испортил бы обедни...
 Забыто все! И класс сияет

Задором юности быллой.
 Надежда юношей питает,
 О сколько тут нас в выходной!
 Мария!.. Вася!.. Как родные...
 А Вари нет уже, ушла.
 А ведь отличница была,
 Зачем училась?... Все – больные...
 Чернобыль губит, силы точит.
 - А Петр силен еще, как кочет.

* * *

И по-немецки как сечет.
 - Родили сразу трех Никит...
 - Кому Афган, кому почет.
 Антон уже ведь инвалид,
 Без ног обеих.
 - Хоть с глазами.
 А то у нас один сосед
 Без глаз вернулся из Танзании.
 Трахома съела.
 - Столько лет,
 А как волнует это поле...
 И говорят, и говорят.
 В своей ведь, деревенской школе,
 Где помнят их – еще ребят.
 Какие искренние были!
 Где нас еще не позабыли...

* * *

- Скажите, кто-нибудь! Хоть слово!
 О всех, для всех – кто с нами тут.
 Ну, пусть Арсений... Сеня...
 - Что вы?
 - Я так волнуюсь...

- Ну и «гут»!

Волнуйся, но скажи, мы просим.

У нас ты все-таки артист...

- Спой что-нибудь...

- Про цифру «восемь»?

- При чем тут цифры, атеист...

О, диалоги наши с миром!

А начинается все здесь.

Когда там – цезари, Пальмира,

А тут – свое и свой ты весь.

Какие дни, какие сны

Нам эти чудные даны!

* * *

Они сидели близко-близко:

Она – Мария и Арсений.

На расстояньи грани Үиска

Всей этой близости осенней.

Москва мерцала, исчезала:

Арбат, Васильевский, театры...

Якутск с Борнео и Суматры,

Борт с полуострова Ямала...

А тут Россия – лезвие,

Обнажена, обострена:

Мария, мрак, небытие.

Страна, родная сторона.

И звон бокала. Хруст морковки.

И он пред ней – такой неловкий.

* * *

Но пой же пой, моя душа!

Как хорошо сидим, о боже!

Как ты, Мария, хороша!

И я волнуюсь, так встревожен...

Вот Фет. Вот часть его стиха.

Вот Моцарт, муза моя, мрия!
 «Ave Mariа! Аве Мария!
 Горит лампада, тиха.
 В сердце готовы четыре стиха.
 Чистая дева, скорбящего мать,
 Душу проникла твоя благодать.
 Неба царица, но в блеске лучей,
 В тихом предстань сновидении ей!
 Ave Mariа – лампада тиха,
 Я прошептал все четыре стиха».

44.

Он кончил петь, не шевелился.
 И Фет молчал, и он молчал.
 Как будто только что разбился
 Борт беспилотный о причал.
 Как будто только что, недавно,
 Они возникли – те слова.
 Как поэтически, едва
 Колышет штору – слабо, плавно.
 - Марию он любил всегда, –
 Вздохнули где-то там, в углу.
 - Кто – Фет?
 - Буфет!
 - А кто ж тогда?
 - А тот, кто точит тут.. иглу.
 - В каком углу?
 - Да в центре! Кстати,
 Что там в театре?
 - На Арбате?

* * *

И кто-то громко вдруг сказал:
 - На воздух! На поляну – к Фету!
 - Там праздник, что ль?

- Сегодня бал.

Народный, посвященный лету.
 Вскочили. Взбегали. Взлетались.
 - К поэту, к русскому поэту!...
 Как и на чем все добирались?
 А что тут – в Новоселки, к Фету.
 А тут кипит, а тут народ.
 А тут толпа, стихи и песни.
 А тут и сам читай, хоть тресни.
 Я и читал – свое и Фета.
 И пел с народом наши песни.
 О карнавал! Мы в масках вместе.

* * *

Берет он под руку Марию,
 И с ней меж толпами идет.
 Знакомит с кем-то, выгнув вью,
 Всем представляет, шут и мот.
 Как будто из старинной пьесы.
 Как бы со сцены и сюда.
 - Это жена, да?
 - О, да-да!
 У все тут общи интересы...
 Идет в народ. Идет гадать
 И строить творческие планы.
 Россию вон куда видать
 С зеленой Фетовской поляны!
 О, Афанасий Фет! От Фета –
 И Красота, все это лето!

* * *

Какой-то шар воздушный Монголфье
 Вознесся над березовою рощей.
 Костер под шаром – «аутодафе»,
 Опять кого-то жгут, кого попроче?

- Ешь пироги, Мария! Пей вино!
 Я угощаю...
 - Ты у нас в гостях.
 - Представь, что мы снимаемся в кино
 И это фильм о нескольких частях.
 Все тут для нас – ки-не-ма-тографично.
 Все движется куда-то, все живет.
 Заведено для нас с тобою лично –
 Матрешки и петрушки, весь народ.
 Таков он, сам себя кладет –
 На продолженье всяких льгот.

* * *

- Давай же пить! Давай любить!
 Давай на этом свете быть!
 Мадам Клико? Мадам Клико!
 Хотя разок так высоко.
 - Давай на шар, на этот шар
 С тобой поднимемся, давай?..
 Обозревали милый край –
 Как дар судьбы, как божий дар.
 Отсюда с борта, как во сне,
 Они оглядывали местность.
 Тут высота. А там – на дне
 Вся эта молвь и бессловесность.
 Друг друга за руки держа,
 Как был он юн, она – свежа.

45.

И тут откуда-то, как коршун,
 Тот «беспилотный самолет»!
 Но нет, тот шар, что чью-то ношу.
 Опять стервятником клюет.
 Он подошел развязно, пьяно:
 - Дай на бутылку!

- А за что?
- Что ты с женой моей.
- С Ульяной?
- Клади на бочку «баксов» сто!...
- Она тебе рабыня, что ли?

Свободна ведь... жена и мать...

- Вот и плати. «И в твоей воле
Меня презреньем наказать».

Ладони опустив сырые,
Стояла сникшая Мария.

* * *

Один – пьянота, третий – шиза.

И наркота, и наркота...

Откуда хоть? Да от ленд-лиза.

Все суета, все суета.

Как это, значит, говорится,

В стране всего лишь дураков

Теперь не надобно трудиться,

Ходить за хлебом далеко.

И понял, может, тут Арсений,

Что и в деревне, как в Москве!

И там одна, и тут не две,

Одна ведь жизнь во мгле осенней.

Так и проходят наши дни:

То – все на солнце, то – в тени.

* * *

Стихи читали на эстраде.

И песни пели, пиво пили,

А все ему казалось – сзади

Глаза безмолвные следили.

С того – чужого самолета,

Какой питается словами,

Чтобы лететь к Прекрасной Даме,

Не выговаривая что-то.
 Какой веселенький поп-арт!
 Но, как у всякого веселья,
 И у него двойной стандарт,
 От карнавалов нет спасенья.
 Когда-то были маске рады,
 И что осталось от эстрады?

* * *

И брызнул дождь. И кто куда.
 И грязь теперь, где было чисто.
 Несут старуху господу –
 Французы, что ли, интуристы?
 Старуха чопорна – кокетка.
 Ей из деревни привели
 Подружку – нашу, от земли.
 Обрезан валенок, зуб редкий.
 Старуха наша ей:
 - Откуда?
 А та:
 - Своя я, я – своя.
 - Яволь, - сказали ей отсюда. –
 Ты, что ли, русская, змея?
 - Какие змеи мы, мы – львицы!
 Когда-то смылись в заграницы.

* * *

«Ого!» – хотел вступить Арсений
 К ним, понимаешь, по-французски.
 Но тут услышал от кисейной
 Бабульки русское, по-русски.
 «Дай, - думает, - что будет дальше?
 Две бабки дай договорятся
 О судьбах наших, нашей нации...
 У этой – валенок, там – башлы...»

Вот наша бабка – той, белей:
 - Ты вот что, - говорит, - подружка,
 Выпей с горя, где же кружка?
 Сердцу будет веселей.
 А помирать сюда езжай,
 Как наши тут – под урожай.

46.

«Вот Пиковая Дама!» – влип Арсений,
 Остановив Марию в этом месте.
 Как Герман, что ль, теперь уж без сомнений...
 Примета: «преданный бес лести»...
 Так под «домкратом» – злой, усталый –
 Ходил-бродил, по кругу колесил.
 Мария все его спасала,
 Чтоб он и нынче не наколбасил.
 Она его, нетрезвого, ласкала,
 А он все ей:
 - Певица из Ла Скала.
 Из Монте Карло, где Лазурный Берег,
 Где продается рыбина, во – Жерех!
 Она ему:
 - Так жерех же в Сибири.
 - А продается-так где деньги, гири?..
 Полез на сцену – живо протрезвел.
 С поэтами гулял, как будто с Фетом.
 А сетовал при них про их удел:
 «Нет, каково в России быть поэтом!»
 Он говорил – куда его несло?
 Перед собою видя рожки, лица.
 Они внимали, как же не влюбиться
 В себя, в свое святое ремесло!
 Во всех людей, в народ свой – в земляков!
 Правитель где-то, бригадиры близко.
 Он только тут не чувствовал оков,

Где небо чуть повыше обелиска.
Мы в карнавале, где одно и то же
Все ощущаем нервами и кожей.

* * *

Шагреневою кожей своей,
Которая сжимается, сжимает...
Да что мы все пред Родиной своей!
Которой нам повсюду не хватает...
О мать Русь! Играем на тебе.
И так ведь до чего мы доигрались?
Двадцатый век – две мировых, как кариез!
И остальное – ничего себе!
Подумать только! Заменить Христа,
Духовность нашу светской властью взялись.
Читать уж не читают, в лбах - киста,
С «адептами» какими-то связались.
Вот Фет, Тургенев, Бунин, Лев Толстой –
Все они тут, места их, круг святой.
Россия срединная как праздник!
Как духа пресвятого торжество!
Дворянская культура, столько важных
И вспоено и вскормлено всего.
На тех костях, на той крестьянской вые,
Какую забываем в суете.
А пели с протопопа ведь все те –
Лесков, Кольцов, Некрасов и другие.
Еще Платонов – тоже наш мужик ...
Как Аввакум, однако, был неистов!..
Две линии, в единое свяжи –
И Русь стоит, России облик чистый.
А то опять вчера на кольцевой
Был облак желт, под самолетный вой...

* * *

- Кого под протопопом вы в виду
Имеете? – спросил его один –
И не товарищ, и не господин,
А так, чудака, бес в бо-ро-ду.

- Кому? Себе, всем тут, - сказал Арсений.
- Вы что – герой иль, может быть, трибун?
- Я – дома, я, как видите вы, юн!
- Вы – юн?! Ну не смешите нас, Есенин.
- Не трожь Есенина, стервец!
Он – мой отец!.. А вы зачем
Дом-памятник в Орле куда-то дели?
Вы из другой артели? Но он-то тут при чем!..
Никак не успокойсья, Ваал?
Тебе Есенин, вишь ли, помешал.

47.

- Не надо, Сеня, - все его тянула
Куда-то в сторону Мария.

- А что же он, как этот... Калигула...
Чего творит? А все не говори я...
А ей все это нравилось – тащить,
Над ним владычить, как над мужем,
Который, собственно, для этого и нужен,
Чтоб миру, раскудахтясь, сообщить.
Не брак (а это дело свято) –
Давно б такого в тот же самолет.
Каков народ! Не сеет и не жнет, а пьет.
Вот богоносик, но грядет... зарплата...
- Арсений! Что-нибудь понял?
Какой тебе готовится финал?

* * *

- Да что же я тебе, - обиделся Арсений, –
Да это я все так... крючок... на спуске...

- На каком?
- Васильевском. Не воскресенье,
А будний день... спуск на курке – спасибо, узкий...
- Да кто хоть? – А гитары, рок-эн-ролл,
Все группы... «третий лишний»...
- Она ему: - Ведь это дети, вишь ли, комсомол.
Ты как осиновый им кол...
- Да что ж тебе я, что ли, степь, монгол
Батыев?... - Я – то понимаю...
- А ты запой «Ой, мороз, моро-оз!».
- Пошел-пошел,
Домой-домой да к своему сараю...
- В какой сарай?
- А в тот, отец,
Что с тюркского обратно к нам – «дворец»!

* * *

Гордись, стервец!...

Вот так с тобой, как с ним
Поговорили – на крутом, с крутым.
Иначе ничего не признает,
Себя лишь да стакан, да самолет.
«Да я, да ты, да мы на самолете»...

- Каким – фанерным?
- «Я – на ра-бо-те!» –

Вот так вот, кран летающий, как скажет –
Ко многому обяжет.
А я терплю... - А я тебя люблю.
- Идем-идем, а то уже собрались.
Как в Чигринево без меня, без нас?
Прокиснет квас...
Ох, эти русские квасы
Из серединной полосы!

* * *

Вот так тихонечко, под ручки,
 И добреем мы до полочки.
 Хоть и артисты мы, а все же, чтоб укреп,
 В свой квас мы добавляем сахар, хлеб.
 Броди, броди, ячменное зерно!
 Воображай то сцену, то кино.
 И так тут в ячмене хмельно,
 И я застряну заодно.
 - Шуми-шуми, то Сеня, то Гаврила,
 Про то, что есть, про то, что было, -
 Смеясь, с ним рядом шла Мария,
 «Ля-ля» с ним, что ни говори я.
 А мне как что-нибудь всучит,
 Уж на словечко не смолчит.

* * *

Вот так, бродя, и потеряешь вес...
 Когда вернулись к Чигриневской школе,
 Открыл окно, на сад глядеть полез,
 На стадиончик при футболе.
 И тут опять гулять взялись,
 Явились свеженькие силы.
 А баянист, а баянист –
 Вот резал! Черти их носили!
 И в пляс то «Барыню», то «Русского».
 И то широкого, то узкого,
 А то покрепче, позабористей –
 Лекарства нашего от болей.
 - Я гулял, а ты ждала,
 Жена сына родила!

* * *

И поплыли они в этом вальсе –
 В школьном вальсе, привычны плечом.

Оттолкнись только, чувству отдайся,
 Мне отдайся, Мари...
 - Ты о чем?
 - Я, конечно, не Пушкин, не Щепкин,
 Но позволь... забодай меня бес,
 Этот зал разнесу я в щепки,
 Раскручу тебя до небес!
 Эх, ты силушка молодая!
 Ритмы – беглые кружева!
 Вот откуда в города я,
 Вот откуда и Москва...
 Вот такие прелестные сны
 Нам за все наши муки даны!

* * *

Школьный вальс. Радиола играет,
 Ей подыгрывает баян.
 Я не знаю, как где-то бывает,
 В лонах там экзотических стран.
 Но, наверное, так же здорово!
 И, наверно, такая ж любовь
 Перебарывает и – «до скорого»,
 Чтобы не скоро увидиться вновь.
 Чтобы где-то летела птица
 В то далекое, в то свое.
 Ведь родиться – это традиция.
 Ты пройди, просквози, е-мое,
 Через вальс и родимые стены,
 Сквозь звонок и учебу в три смены.

48.

«Ты моя, ты моя, ты моя!» –
 Музыкальная хлещет струя.
 И уносятся в выси, в вертепы
 Плечи Павловой, ноги Лиены.

«Ты моя, ты моя, ты моя!» –
 Удивительна речь соловья.
 Вот откуда берутся стихи,
 Отмывающие грехи.
 Мы – поэты, судьбу нашу в Думе
 Разрешают, как бьют в барабан.
 В том году, как Тургенев бы умер,
 И пишу я свой этот роман.
 О Мария, Мария! Послушай!
 И мою запредельную душу.

РОНДО

«Поэзия – где-то такие крыла.
 Свободна, светла и легка, –
 Течет и течет, сквозь меня протекла,
 Как музыка, как река.
 Поэзия – где-то такие слова,
 Почти бестелесны, пока
 Текут и текут; такова, такова
 И музыка, и река.
 Поэзия – где-то была не была,
 Едва уловила рука,
 Течет и течет; сквозь меня протекла
 Вся музыка, вся река».
 - Мария, эти стихи и стихия –
 Для тех, что поют, неглухие.

* * *

Он ей читал – о подоконник
 Так, локотком облокотясь.
 О принц мой Гамлет, белый князь!
 Так, на стезе одной сойдясь.
 И, как с собой совокупясь,
 Во власти бессловесных губ,

Не приноси же людям грязь,
 В квадрат особый или в клуб.
 А жди и своего рассвета,
 Как ждут Арсений и она.
 Их дело – наша сторона,
 Пока их песенка не спета.
 Приходят чувства и уходят,
 А слово копится в народе.

* * *

Жизнь славят песней соловьи,
 Друзья, волшебники мои...
 Арсений слушает, глядит –
 Она молчит, и он молчит
 Что скажет бледная Мария
 На это «Рондо», на сонет?
 Ей это нравится или нет?
 Арсений... что ни говори я...
 И он листок наоборот
 На подоконнике кладет,
 Ее ладошкой чуть прижав, -
 Ужель опять она, сбежав,
 Ему не скажет ничего
 На все надмирия его?

* * *

И тут внизу, в кустах, под ними
 Мелькнуло в сумеречной мгле
 Лицо и контуры, и имя –
 Мясное, грубое, филе,
 Какое где-то на столе
 Там, в дальнем классе, остывало...
 Она икнула б и упала
 На это самое «филе»,
 Когда б Арсений не поймал

Полуизогнутые руки.
 Так плотояден, крут Ваал,
 Ушел Гаврила, просипев,
 Зрачками обостряя гнев.

49.

Опять пришел, вернулся в класс.
 И проскрипел, как после йода:
 - Все вы отняли бы у нас,
 Артисты, слуги из нарррода-а-а!...
 Остановилось все движенье.
 Вальс оборвался. Баянист
 Рюмашку дном на нотный лист –
 Спокойненько, без выраженья.
 И только желтый лист с березы,
 Влетев в открытое окно,
 Крутил себя, на чьи-то грезы
 Приопускался, как в кино.
 Такие дни, такие люди!
 Скрипел пером, вздымались груди.

* * *

И полнолуние куда-то
 Уж подевалось. За окном
 Ночь растворялась. Теневато.
 В шкафу подремывает том.
 Какая жалкая улыбка
 Лик на подушке исказит,
 И утро тоненько и зыбко
 Лучами в мир уже сквозит.
 Повеет из садов прохладой,
 Иль запах яблок обоймет, -
 Медовый Спас, кого спасет,
 Чему, Мария, ты не рада?
 И паруса, и паруса
 Облобызали небеса.

* * *

Какою звонкою монетой
 За все Гавриле заплатить?
 Видать, разбойник-то отпетый,
 Да что с такими говорить!
 Она -- за ним, и все исчезло,
 Лишь запах вслед, ее духи...
 А что? А все-таки полезно
 Платить по счету за грехи.
 Такое раньше на дуэли
 Решал бы обоюдный спор.
 Был все ж естественный отбор.
 Хотя, конечно, «как вы смели!»
 «Кто вы – кто я! Кто мы – кто все!»..
 Уж зеленца на колбасе.

* * *

А кое-кто и забывает,
 Что есть народ, и он страдает.
 И рынок нам, и «рзкет» в нем,
 Как те солдаты под ружьем,
 Что тут картошку собирают,
 Какую Людвиг – Людовик
 Завез бататом и для них.
 И посадил возьмь, не взирая
 На лица, личности и прочее,
 Как и у нас на Соловках...
 А, в общем, так, как покороचे я;
 Сидят «бататы» на местах...
 А ты, мужик, скрипи зубами,
 А лучше посмеялся б с нами.

* * *

Возможно, что и я не прав, -
 Сказал – и все тут, разрядился.

А тот, в «провальчики» упав,
 Как бы под нож приопустился...
 А все ж, а все ж – она ушла.
 И все уйдет, мы все уходим,
 Как говорит про нас Мавроди,
 Любовь – была ль иль не была?
 «Мария! Где ты и куда?
 Не пропадай опять на годы,
 Ведь просто без тебя беда,
 Заколебали нас погоды». –
 С собой такой вот диалог
 Арсений вел и изнемог.

50.

Он вышел в сад и там прилег.
 А землю Сотоны качали,
 И все скользило между ног -
 Между Марией и ночами.
 Какая ночь! Какой урок.
 Все чем-то острым шилом в бок.
 По телу, глянь, какие шишки...
 - Где? Да кому?
 - Да мышке, мышке!
 Такая мышечка – полевка
 А как набили мышке ловко!
 Как изукрасила бока
 Ей черно-белая рука.
 И на такую покушаются.
 Как покусали, как кусаются!

* * *

Все голуби, все сизари!
 Что тут, что там тогда, в коляске.
 Всем ехать надо. Будут встряски,
 А после суд и сизари.

Однако в правовом пространстве
 Пока что вместе мы живем.
 И «сухари» свои жуем,
 Кладя на зуб, - вот окаянство!
 Чтоб покупая – продавать.
 Чтоб продавать – не покупая.
 Опять вчера (такую мать!)
 Дух Люцифера вон из края!
 Чего там делать нам, славянам,
 По этим Сан-Ремо и Каннам.

* * *

Дай посидим, браток, покурим.
 Неловко как-то, тяжело что-то.
 Опять влюбился, старый дурень!
 Опять трехсменная работа!..
 И подошел к нему Гаврила,
 Мариин муж, - Гаврилиада.
 Толкнул ногой: - Такого гада
 Впервые вижу!
 - Очень мило!
 Я раньше ведь любил ее.
 А ты и любишь если что-то,
 Так это хвост от самолета
 И оперение свое.
 - Ее, себя, меня ты губишь!
 - На все пойдешь, когда полюбишь...
 - Так на дуэль? Назад в Нетрубейж?
 Откуда корни наши – ваши?
 - Ну ты даешь! (трубишь иль трубишь?).
 - Паши на тракторе, как пашешь...
 Мария, мы неосторожны,
 Он как бы нас не погубил.
 На перекрестках всевозможных
 И так уж все превозгласил.

Твое повсюду треплют имя –
 На остановке у кювета,
 На почте, в магазине где-то,
 Само собой – между своими.
 А ты – моя... одна, одна...
 Ты для меня лишь рождена...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

51.

Лежал под яблоней Арсений,
 А дух окутывала жуть.
 Оберегал от песнопений
 Рассвет слабеющую грудь.
 Не то он был, не то он не был;
 И вот привиделись ему
 Гаврила, трактор; мир тому,
 Кто пашет землю, глядя в небо;
 Да деспот он – Мариин муж!
 Не любит, кажется, ее;
 Куда ползет тот длинный уж?
 Кому несет житье свое?
 Сие не выразят скрижали,
 Что бы они ни выражали.

* * *

И с кем вчера сидел Гаврила?..
 Дай поднимусь, воспряну, встану,
 Стряхну падучую... Так было.
 А если нет и в лету кану?
 Вот как сейчас, когда рассвет уж,
 Все тени гибнут на рассвете...
 Помилуйте, уж мы не дети.
 Солярки запах, в масле ветошь...
 Пойти и завести мотор?

Пойти и развести огонь?
 И хату сжечь?... Огонь – он что?
 Судьба по линиям, ладонь?..
 А все же как они красивы!
 И в чем-то, факт, соотносимы.

* * *

Огни, какие? – Хат, закатов?
 Или восхода, что отмечен
 Уже за садом?... Где-то НАТО,
 Их самолеты... Где-то встреча
 Или не встреча?... Жду, Мария!
 От нетерпенья весь дрожу.
 Мария, что ни сотвори я.
 Когда устанешь, разбужу.
 Мы пиromаны вместе с Солнцем!
 Росу зажжем и смотрим, ждем...
 Мы залюбуемся огнем,
 В каком умрем, сгорим до донца.
 Вот так в России и живем,
 Надежды вяжутся с огнем.

* * *

Но Ночь еще. Подвижны тени.
 Сквозь ветви цедится Луна...
 Мария! Солнце! Кровь по вене –
 Остраждена, охлаждена.
 «Спаси меня, моя Мария!
 Вчера летел куда, скользя?
 Мария, что ни говори я,
 Мне что – опять с небес грозят?
 Как там тогда, на кольцевой.
 Но тут пока я дома, дома...
 Какой-то самолетный вой,
 Как рой пчелиный, все знакомо...

Спаси, Мария, и от пчел,
Сто раз уж «Гамлета» прочел!

* * *

Сто двадцать восемь – Дон Кихота...
Все эти роли... помолчи...
Они – венец, моя работа,
Где я опять в кругу свечи...
«Но что ты – что ты, что ты – что ты,
Ты – солдат девятой роты...»
Хочу понять, кто нас поймет:
Так «быть или не быть?»
Чем осчастливлен Дон Кихот?
Что может нас продлить?
О Господи! О боже, боже!
Когда же день опять придет
И чем тебе поможет?
- Кто он? Она?!
- Он и она; луна, луна;
В рассвете ты заключена».

52.

Спаси его, Мария!...
И нашла
Она его почти уж бездыханным.
Отцеловала. Села, обняла.
Так и сидели – Солнце полыхало.
«Вот бестолковый! Столько Красоты,
Тепла и света – все бесплатно, так».
- А ты, Арсений, все-таки чудак.
Рассвет и утро, солнышко и ты! -
Так говорила, кажется, она –
Его Мария, иль шептали ветки?
Счастливые! Сквозь яблоко видна
Вся улица до крыши у соседки.

Прозрачно, налитые все, как мед.
Кто съест его, тот через год умрет.

* * *

Вот яблоко! И с одного запева,
Но с двух сторон, дойдя до середины,
Он за Адама, а она за Еву
Прошли весь путь по жизни – самый длинный...
Коровы замычали как-то сами.
Ударила в подойнике струя.
И он сказал: - «Конечно, ты моя».
Да и увел на тот валун, на Камень.
Там и познали вкус прекрасных яблок –
Антоновские, лучшие в раю!..
От речки, что ль, Мария чуть озябла,
И он дышал ей – на любовь свою.
Отогревал и отогрелся сам.
(Как я отвык от всяких мелодрам!)
Потом сидели. В нежностях, молчали,
Не говоря про это и про то.
И виделись в глазах ее печали –
Калейдоскопы в цирке Шапито.
Что будет дальше, что там будет с ними?
А что со всеми будет на Земле?..
И ветерок поднабегал с полей
И трепетал ее библейским имнем.
И, положив ей на руку ладонь,
Он ощутил, как где-то бьется жилка.
О, бес в ребро! Еще ты молодой.
Стой, быль и была, покуда сердце пылко!
Пришло, чего и не было тогда.
И, может быть, навечно, навсегда.

* * *

А Камень грел, а луч как Белый Князь.
 И шло тепло из недр, от глубины.
 И та же связь, и сам собой гордясь,
 Арсений цвел от Козней Сатаны...
 Какое утро! Синие туманы,
 Приподнимаясь, осветляли росы,
 И кое-где вплетались в космы, в косы,
 В скиты долин и были очень странны.
 Сбегали по ручьям, озерам, речкам,
 Синяя облаками поднимались...
 Был слабеньким я, нежным человечком,
 Но и крутым, когда стихи давались...
 Живи, любовь! Веди мою строку,
 Сыпь злато, осень на-веку.

* * *

И тут за лесом зарыдал мотор.
 Вот натужался, черномазый дьявол!
 Так речка эта, одолев затор,
 Течет и там, где я недавно плавал.
 И вспомнилось, как тут же где-то в роще,
 В экстазе были лиц живые мощи,
 Комар пищал, укусом угощал.
 И взвился выхлоп – тракторные кольца...
 Она собралась и ушла... пора...
 Как говорит Добрынин, в «рану сольцы»
 Посыпала фортуна из ведра.
 О Гавриил! Хоть ты взбешен от «соли»,
 Полчасика хоть подождал бы, что ли?

53.

А почему ты должен всех терпеть?
 Сносить любого, никнуть перед каждым?
 Они же – классы, диктатура, медь.

Все пьют и пьют, а критикуют жажды.
 Прослойка, успокойся, посиди!
 На стенку лезут всякие плакаты.
 Вот туфли у тебя великоваты,
 Не по размеру куплены, поди.
 Расти, нога! Внедряйся в помещенье!
 В чужую драму фирмы «Адидас».
 Кроссовки – класс! Но нету нам прощенья,
 Когда в них никуда не ходит класс.
 Все пройдено, Батилл? Все крымы – рымы.
 Терпел, Батилл? И будем мы терпимы.
 Ты что орешь, ты на кого орешь?
 Число запомни. Через год помрешь!

* * *

Помилуйте, веселые ребята!
 С чего терпеть-то, отчего?
 Интеллигенты, как солдаты,
 Все отступали б от всего.
 «Ты должен... грамотный... с сознанием...
 А мы в ничтожестве, темны»...
 А как насчет какой цены,
 Так к кассе гонки тараканьи.
 Талант – вообще одна морока!
 Таланты, мать моя, прости!
 У руководства пыль в шерсти,
 Сто заседаний – тут же склока.
 Как будто летчик-тракторист
 (Один в уме, а десять пишем)
 Играет в покер, в кинга, в вист,
 Надравшись забродивших вишен.
 « И я вишневочку люблю,
 Пришлет маманя из деревни,
 И я момент такой ловлю,
 Чтоб с Гринею принять, – обалденна!

Когда на трех соображаешь,
 Так даже этот их «рояль»,
 На чем себя ты выражаешь,
 Пока ниче, пока «па маль»...
 Не пробуждай, Гаврилада,
 Воспоминаний, нам не надо».

* * *

«О, пэри! Я люблю тебя,
 Хоть раз обрадуй Рудаки»...
 Все умные – вокруг тебя,
 А тут как будто дураки.
 «Любил я очи голубые»
 Да прежде мужа, подлеца.
 «Зачем, зачем же, люди злые,
 Вы их разрознили сердца»...
 Стоит, как Бог! Как телевизор!
 Судьба у копии одна,
 Арсений! То ведь Сатана,
 А то твоя золотая риза
 В улыбку прячется твою.
 А Гавриил сказал: «Убью!».

* * *

Такое вот в себе прозренье
 Арсений как бы наблюдал.
 Один Хирург от «прободенья»
 Не спас, так брат его кинжал
 Таскал с собой. Хирург – за скальпель...
 Вот так, Арсений, будем живы!
 Металл кривой и пару капель,
 На всякий случай. Так, в Нью-Йорке
 По «троячку» в кармане носят.
 Если спросят... Вот обалденные разборки!
 Одной косою жнут и косят.

Из пошлой глупости, из рвения.
 Попасть в такое окружение.

54.

И обуяла грусть его,
 А может, страхи уж – не знаю.
 Береза спилена всего
 Одна, что в роще, где-то с краю.
 О чем подумалось сначала:
 «А что потом, а что потом?»
 Пришел к Марии – мерин чалый
 К школенке ихней, за прудом.
 Глядит, да вот она, Береза!
 Обрубок, ствол безо всего.
 «Неужто на дрова?» Аж слезы
 Вдруг выдавились из него.
 И тут мелькнула мысль о том,
 Кто ходит в лес да с топором?

* * *

Не каждый винт резьбу имеет,
 И не по каждой ходит винт.
 Герой того не разумеет,
 А забивает просто клин.
 «Пиастры!» – попугай кричит.
 Пиастры! Тутрики! Пиастры!»
 Такого в супчик наперчит –
 Любой вопрос огнеопасный.
 Все доллары. А где рубли –
 Наш «импотент» национальный?
 Так перепутаны рули
 В пространствах яви инферальной.
 Молниеносен шип мимозы,
 И так решительны угрозы.

* * *

Совсем поник бы наш Арсений,
 Как утром стебель маттиолы,
 Когда б ни запашок осенний
 Сквозь тлен машинный – солидолы.
 «Кухвайка» старая у сада...
 Пстой, Арсений! Спит Береза,
 Отшелестела, месту рада...
 И где-то в пальчике заноза,
 И яма, лужа среди тракта...
 Сказать, прийти и объясниться...
 В валун уперся чей-то трактор...
 Налить рюмашку и – забыться?
 Неинтересно то и это,
 Проходит лето...

* * *

Какая-то трагедия молчанья!
 Бежала на свиданье к Валуну
 И вдруг ее увидела нечаянно,
 Березу ту, - лежит на всю страну!
 Березка, белостолица, спокойна,
 Стрела по бересте пронзает сердце –
 Еще его, Арсения, коленце
 С тех школьных лет... «Лежи, сестра, достойно!
 Наш общий друг, хранительница тайн!
 Которые тебе мы доверяли.
 Стрела та – знак. Хоть косу заплетай
 Из гибких веток, юных стрел печали».
 Раздался стон, Мария сражена:
 «Кто б это мог?! Какая сатана?!

* * *

Неужто он – любовь ее, Арсений?
 Лишь он один все знает про нее.

«Какой цинизм!» Спилили в воскресенье,
 А в понедельник привезли ее
 И сбросили туда, где кочегарка...
 Потом и он узрел тут в сентябре
 «Стрелу» свою; покоилась не жарко,
 Пылала, словно сердце на костре.
 «Кто б это мог? Во злобе кто неистов?»
 Душой убитый, телом чуть живой –
 Да так себя Арсений – хуже, выстраданней
 Не чувствовал и там, на кольцевой!
 Ни там в Москве, ни даже дома тут, -
 Везде достанут, визнают, проймут.

55.

Вот и ходил Арсений, как «рахманный»
 (Так тут у нас печальников зовут),
 Влюбленный в непонятно что и странный.
 Уж мать его заметила маршрут,
 Но промолчала вновь, как и тогда,
 Когда, смурной, он из Москвы вернулся.
 Опять с утра еще не улыбнулся,
 Знать, снова потянуло в города.
 И, в самом деле, снова Командором –
 Удары по ударам – зашагал
 В нем Шаг Судьбы, та «баба» за забором,
 Какой прораб ту «сваю» забивал.
 Гремит в висках и разрывает темя...
 И муж Марии с топором сквозь Время...

* * *

На окнах шторы. Сумеречно в доме.
 И низок, низок, низок потолок.
 Но молния! Но луч в металлоломе!
 А муж ее – куда он поволок
 Березу ту? К той «бабе» за забором,

Какой прораб и забивает «сваю»?
 И все страда, все полк отходит к раю –
 Широким шагом вслед за Командором.
 Внизу бунтует весь двадцатый век.
 Вверху кричат: - «Да дайте же им денег!
 И прекратите их бесовский бег!
 Бег в никуда, в ничтожествах и генах!»
 Когда вот так же застучит у вас,
 К зеленому да обратится глаз.

* * *

Но не глядел, не пил уже Арсений
 Из бурного потока, русел рек,
 В каких медведь погодой предосенней
 Местечко ищет на зиму, ночлег,
 В себе услышав ток медвежьей крови –
 «Гематоген», чем паивала мать,
 Привыкши с детства тем его спасать
 От всяческих ангин и малокровий.
 Арсению, видать, и самому
 Вдруг захотелось заломать кого-то,
 Особо «экземпляру» одному
 Хребет сломать не просто, а за что-то.
 Но он себя, конечно, превозмог:
 «Побойся Бога, Сеня, видит Бог».

* * *

Вот так и укрощаем мы себя –
 В стихе, в великих помыслах, во имя.
 Чуть что – в гробу мы видели тебя
 С художествами всякими твоими:
 Будь, как и все. Не лезь не выпирай.
 Премудрым будь. Как люди, как народ...
 Каков народ! Ты отдаешь отчет,
 Чем живы мы, а в чем мы через край?

Народ – шофер, а пассажир – народ?
 А Пушкин, а Гагарин, да и я?
 Когда толпа, то все наоборот.
 Когда мы врозь, так вроде бы семья.
 «Истории невидимые связи.
 Все личности, все вкладчики, все князи»...

* * *

Подумаю так, на этом успокоюсь,
 Он вспомнил о театре и о Грише:
 «Вот тут живу, приобретаю «хворость»,
 А как они там, на Москве, на крыше?»
 На миг затмилась даже и Мария.
 Так захотелось повидать не дива,
 А Гамлетов, соперников счастливых.
 Как он порочен, что ни говори я.
 Но в том-то и отличие от героя,
 Что он – на первом, я же – на второе
 Гораздо реже, чем томат консервам,
 Он – на втором, а я тогда – на первом.
 Так и живем, корпим, ведем роман,
 Раз нам удел такой Всевышним дан.

56.

Истерзанное время, мысли, люди,
 Гармония какая-то не та.
 Когда сводить концы с концами будем,
 Возможно, и родится Красота!
 А все ж зачем и ехалось в деревню,
 Когда и тут, что в тех же городах?
 Скворечни он развесил по деревьям
 И с голубятню справил на прудах.
 И от зари и до зари
 Торчал на этой голубятне.
 С руки кормитесь, сизари!

В плечо толкайтесь аккуратней!
И вспоминался подвиг свой
В Москве тогда на кольцевой.

* * *

Но даже сизый голубь мира
Не мог унять в его груди
Медвежьей крови, жажды пира, -
И будь что будет впереди!
А впереди – аудиенция
С той, с кем их боги и свели,
И роза грезилась вдали,
Смягчая нрав, погоды, сердце
И ограждая дух его,
Чтоб не выкидывал «коленца»
От необъятностей всего.
- Мария, бледная Мари...
И в гнезда сели сизари.

* * *

Хоть и поем свою державу,
Поэты ныне в обезличке.
Я встретил в Курске Окуджаву
И ехал с Бродским в электричке.
Один из них – вчерашний овощ,
Другой – как призрак, только рыжий.
Те двойники пришли на помощь,
Явились чуточку поближе.
Я косточку да виноградную
Не выплюну, держу во рту.
Жуем мы песенку эстрадную
Под „виноградинку” все ту.
Гляжу на Солнце, как она –
Страна, от имени вина?

* * *

«Мне в Константиново, в Есенинском краю,
 Сельчане, морщась: «Едут, едут!
 Стоптали все. Скотину некуда свою».
 А я-то думал, что живут в раю,
 Вершат победу.

* * *

«И был я в Сростках, там – у Шукшина.
 И ночевал у тетки Тани.
 - Ну как Василий жил-был, вы одна?
 - А до утра сидел, деньгу чеканил.
 - Деньгу? Чеканил? – помнятся слова
 Из лексикона этой самой тетки...
 Она и до сих пор еще жива,
 А у «чеканов» день короткий».

* * *

«Иду я зелеными в лето,
 Они ковром лежат, лежат.
 А колоски, как и поэты,
 На метр поверх всего торчат».

* * *

«Строчу стихом, о чем тут речь!
 Сорвался, как с цепи, нечаянно.
 А с кухни мне жена отчаянно:
 - Блины не успеваю печь!»
 «Спеши, спеши, мое стело !
 Пиши, пока не заржавело.
 Мне важно, чтобы ты успело,
 Прорезать, как алмаз, стекло».
 «И не разуты, не раздеты,
 А все война нам, все блиц-криг,
 Пусть привыкают все поэты,
 Что где-то плотник среди них».

«Поэты мы. Все спорили бы, дрались,
 Но тот ушел, и этот на Луне.
 И, хоть весна, уж завязалась завязь,
 Без крикунов все как-то плохо мне».
 «Я вещи заграничные ношу.
 Но просто, не с кривляньем нехорошим.
 Вот у меня магнитофон «япоша»,
 Так я на нем ловлю, пою, пишу.
 Он – голос мой. Определю, не глядя:
 Пою-то я, а вроде... дядя».

57.

Долго путался в чувствах Арсений –
 Показать ей иль не показать?
 Подошла мать – такой обруселой
 Прилегла к нему, теплая мать.
 Дарья, Дарьюшка – женщина русская,
 Понимающая насквозь:
 - «Что ж, сыночек любимый, вы врозь?
 Степь широкая, жизнь-то узкая.
 Что ж ты мучаешься, ведь стихи –
 Это радость людская, счастье...
 Покажи! Снимешь разом грехи,
 Да и всяческие напасти». –
 Слушал Сеня ее – как бальзамом.
 Слава таким матерям, нашим мамам!

* * *

Пригрустнет мать – сынок ведь, Орловщина.
 Приглядится – похож, чума,
 Батя вылитый, безотцовщина, -
 Поднимала его сама.
 Сколько выплакано горючих,
 Сколько прожито лет, сидя,
 Сколько выстрадано и ею,

Чем не било их толечко с тучи!
 Чтоб стелилось ему, был путь,
 Чтоб враги за отца не корили,
 Уж сама-то да как-нибудь
 В этой самой небыли-были,
 В этой тягости, где отцов
 Изничтожила мразь подлецов.

* * *

Вот по метрикам, по мандатам,
 По комиссиям жизнь и прошла.
 Все к каким-то серьезным датам
 Приурочиваем дела.
 Как хоть дали пройти такому!
 Хоть в театр, не спрося, про отца...
 Вот такие круги и кольца,
 Вот такая цена былому.
 Сын-сынок, да листочек мой,
 Да из дому-то отлетевший.
 Нешто я да не вижу твой
 Облик, внутренне потемневший?
 А не скажет – сама спрошу.
 Тайны все у них там, навышу.

* * *

Походила вокруг, повздыхала
 Да скользнула под яблони, в сад.
 Набрала с полведерочки – мало,
 Потрусил еще «аркад».
 Да в корзинку яичек, огурчиков,
 Да сметанки, да молочка.
 Часик выбрала, чтобы получше как,
 Сын куда бы девался пока.
 Да и сунь с писаниной листочки –
 Тут, на доньшко, под рушник,

И, пошла в Чигринево, к дочке.
 На центральную, на Материк.
 По росе стежка следом торилась,
 Солнце красным за школой садилось.

58.

Не ходил Арсений ни к Березе,
 А вернее, ни к пеньку, ни к Камню,
 Все б копался где-нибудь в навозе,
 В пуньке той плетневой, позадавней.
 Все из сердца прогонял Марию,
 Вспоминал, конечно, сыновей.
 Но не вспомнил ни жены своей,
 Ни портретов желтых – «малярию»
 В том театре, где он свой портрет
 Не старался выпятить наружу.
 Культ – он начинается с «конфет»,
 Вот кому ты после будешь нужен?
 Вот с таких рисованных картинок
 И сойдя, он шнуровал ботинок.

* * *

Тут-то и застал его Гаврила.
 Гавриил – мужик, Мариин муж.
 Вот кого как лихорадка била,
 А пришел, натянутый, как гуж.
 - Че тебе? – мелькнула в сенцах Дарья.
 - Че те? – следом повторил Арсений.
 - Дело есть, - мужик сказал им в сени. –
 Плоховата... помирает Марья...
 - Что ты, что? – артист так и присел.
 Сам уж взглядом ищет где-то мать.
 - Слава Богу, что сказать успел...
 - Это как вас надо понимать?...
 А Гаврила уж, как снег, растаял.
 На бадье тетрабочку оставил.

* * *

- Врет Гаврила, - мать пришла. – Вчера
 Видела ее живой и здоровой.
 Он засуетился: - Мне пора.
 Все забудешь за такой державой.
 Роли все, театры в голове...
 Господи! Какие-то стихи...
 Боже правый! То ж мой «грехи»!
 Те, что нацарапаны в Москве!
 - Мать! Откуда у него они?
 Это ты все, ты ей отнесла!
 - Робкий мой, себя, сынок, вини.
 А еще такого ремесла...
 - Ремесла? Какое ремесло?
 Эко, мать, куда нас занесло.

* * *

- Ну, призванье, что ли? Ты – талант.
 Ну иди, иди да поскорей...
 И Арсений наш, как сельский франт,
 В зипуне метнулся из дверей.
 В домик на Афонину гору
 Он вбежал – она без сил лежала.
 Опухоль все горло обежала...
 И Мария плавала в жару...
 Постоял. Потрогал лоб холодный.
 И к дверям. Домой к себе. И скоро
 В собственной машине – ход свободный,
 Он летел с ней в горбольницу, в город.
 Пусть живет и частный капитал,
 Лишь бы он людей у нас спасал.

* * *

Слава богу, это был звоночек.
 Откачали, горе отвели.

Только за двенадцать уж с полночи
 Сел он снова за свои рули.
 Вот оно какой тебе урок!
 Все молчал – с недельку, может, больше,
 Да и выдал сам себе зарок:
 Или-или... да нельзя уж дальше...
 Слава богу, что жива, что мимо
 Пролетела черная беда.
 Он любил! Она была любима.
 И сейчас все было, как всегда.
 Думайте, мужчины, как вам быть:
 Коль вошел, как будешь выходить?

59.

А наутро с почты телеграмма.
 Вызывают. Режиссер. Театр.
 - До свиданья, и Бобры, и мама!
 Мне в Москву. Начальники велят.
 А Мария?... Вот они – записки.
 Передать их маме наказал.
 А в глазах темно все, обелиски,
 Все ГАИ какие-то, вокзал.
 Дырку колят на его правах.
 И ведут куда-то на канате...
 Все не объяснимо в двух слова.
 Тут еще жгут «Волгу» на Арбате...
 Нет, артисты вам не для затычки!
 Едем до столицы в электричке!

* * *

Заметался – к ней опять в больницу
 Или сразу в поезд, на вокзал?
 Позвонил – а «койко-единицу»
 Выписали... кто-то так сказал...
 Гавриил, забрал, а кто ж еще?

Защемило сердце, так заныло.
 Час уже положенный пробило –
 Вот и электричка. Двери щелк.
 Впереди – все станции, Москва.
 Старые болячки, битвы, боги.
 Натянулась туго тетива,
 И отдался мыслям он, дороге.
 А тянуло все-таки назад.

* * *

И сидел он, как-то пригорюнясь,
 Словно не народный уж артист.
 Пиком лета – с солнышком, июнясь,
 И летел он под метельный свист.
 Торговать нельзя, а торговали.
 Пить нельзя, а пили – весь вагон...
 Он один в себя был погружен –
 Чигринев Арсений, трали-вали.
 Половиной – был он там, с Марией.
 Половиной – где-то уж в Москве.
 Тяжко и не тяжело, словно гирей,
 Прижимало стрелы к тетиве.
 Кто-то вдруг с гитарой вошел,
 Перебрал аккорды, – хорошо!

* * *

Этот кто-то рядышком присел,
 Струны перебросил, мол, видали?
 Сам же вдруг от струн и окосел,
 Так его аккорды забирали.
 Мужичок ледащий, так себе.
 Худо кормлен, где-то под годами.
 Что же так нехорошо тебе
 Или хорошо? – судите сами.
 Хорошо, что есть еще душа.
 Плохо, что все это слишком поздно.

Торопясь любить и жить спеша,
 Так и проживешь, как жук навозный.
 И возник – под «бабу» Командора –
 Голос Одинокого, без хора.

«ОДИНОКАЯ ДАЧА»

«Дача моя, дача!
 Ты моя удача!
 Солнце закатилось в топотах коня.
 Прошумела молодость,
 Старость обознача.
 Только и осталась ты, дача, у меня.
 Ухожу я из дому,
 Мчусь на электричке
 Из большого города, мрака этажей.
 Воля моя, волюшка!
 Степь зажгу от спички,
 Выгоню да самогоночки – свойской, посвежей.
 Эх, Русь гуляет прежняя,
 Русь страдает, окает,
 Русь гуляет матушка - годы за спиной.
 Воля моя, волюшка!
 Дача одинокая!
 Степь моя раздольная,
 Ветерок хмельной».
 Смолк мужик, а песню как вlepил.
 - Что ж тебя не знал я, где ты раньше был?

* * *

И вскочил да за руку Арсений:
 - Слушай! Где ж ты раньше, раньше был?
 Как Шукшин! Ну, брат, из потрясений
 Сам не выйду... Где ты раньше?..
 - Пил.

Пил и пел. И до сих пор пою.

- Ты – артист! Да лучше моего!

- Ну, а ты кто?

- Я? Меня? Мою

Личность знают... многие... того...

Пауза. И тут на весь вагон.

Голоса: - Да это ж Чигринев!

Он артист! Из настоящих он!

И еще, кажись, народный...

- Вов!

Он народный – СССР, России?

- Тише ты! Орать же некрасиво...

60.

Тяпки закачались. Люди раскричались.

Да запели песню ту да на весь вагон.

Дачи наши, дачи – вы наши удачи!

Вот чему отдали жизнь

Я и ты, и он.

Эх, Русь гуляет прежняя,

Русь страдает, окает.

Русь гуляет матушка – парень, наливай!

Воля моя, волюшка!

Дача одинокая!

Степь моя широкая,

Льется через край...

- Слушай! Просто русский человек!

Просто человек! – сказал Арсений. –

Где ж ты это оттянул свой век?

- На лесоповале, пень кисельный.

- Приходи в театр ко мне... вкусить...

- Лучше что полегше попросить.

* * *

- Воля твоя, волюшка! Дача одинокая!
 Приходи к нам все-таки, -
 Ладил Чигринев.
 Что ж ты, Русь богатая, что ж ты, Русь высокая,
 Не жалеешь, родная, так своих сынов?
 Гитарист проехал эту остановку.
 С ним и все проехали – эту вот и ту.
 Как он пел убийственно, как играл он ловко,
 Как держал обеими нашу Красоту!
 Люди, мои люди! Господа-товарищи!
 Русские – не русские, ну и что с того?
 Видите Арсения? Был в огнях-пожарищах,
 Что ж ты, песня, делаешь нынче из него?
 Дача Одинокая, степь да степь широкая,
 Русь страдает, окая...
 Выходя, Лесоповал Василий
 Не оставил все же адресок.
 - Эх, браток! Я свой на всю Россию,
 Все мое – на Запад и Восток!...
 Жаль Мария не слыхала песни,
 Дай приеду – всю ей повторю.
 Век такой, пришел и говорю,
 Дай спою ту песню повсеместно.
 Чем труднее, чем оно страшней,
 Тем душевней, выстраданней звуки,
 Слово к слову выпуклей, вольней
 Да еще помножено на муки.
 Пусть душа читает их с листа,
 Вот какая наша Красота!

* * *

Вот и Курский. Вот она, Москва!
 Чем она меня сегодня встретит?
 Как сыны? «Веселая вдова»?

Чем нас черт, таких хороших, метит?
 Зажила, поди, на кольцевой
 От прохода гусениц дорога?
 Мы – столица, надо очень много
 Каждому, тут каждый дорогой.
 Что с театром? Как там друг мой Гриша?
 Что с премьерой и когда спектакль?
 Гамлет мой, – да не поедет крыша!
 Лев Толстой – о да, се бьен, не так ли?
 Где ты, мой любезный Дон Кихот?
 Ходишь, как и я, небось, в народ?
 Все Бобры маячат перед взором,
 Все родные люди, все свои.
 В недрах этих миллионным хором
 Как малы все доблести твои!
 Завтра же пойду в ближайший храм
 И свечу поставлю всем «бобрам»!
 Вот народный, а привык ли к славе,
 Слава достается трудно нам.
 На своей великой на державе –
 Мы, артисты; что я понял там,
 Да в селе, в Бобрах у нас,
 Что народный – это, где народ.
 Может, Гриша, в чем и высший класс,
 Все-таки отдай себе отчет:
 Что важней любовь или почет?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МОСКВА, МОСКВА....

61.

«Москва, Москва! И символ твой Арбат!
 Не поколеблен облик твой, при силе.
 А сколько уж царей, цариц, царят
 Столицу от тебя переносили!

Вот и сейчас в провинции орем:
 «Все деньги здесь!» – зато и храмы тоже.
 А если так, то да поможет Боже! –
 Уж как-нибудь сие переживем.
 И Кремль стоит. И Спас к нему приник.
 И золотом на целый мир сияет.
 Люблю я Солнце, утро, острый миг,
 Когда луч первый купол озаряет.
 Светись, Россия! Присно и веки!
 Уж мы тебе поможем – человеки!

* * *

«А за ценою мы не постоим!» -
 Как это в гимнах нынешних поется.
 На том стояли и на том стоим!
 Люблю, Москва, тебя, твои колодцы –
 Бездонные, во глубине веков,
 Откуда пью и не могу напиться.
 Вот надо же мне так в тебя влюбиться,
 Не чувствуя, Москва, твоих оков.
 Великий град, тебя обожествляю!
 Лишь ты, магнит, способен всю Россию
 Держать, по-византийски освещая
 Ее богоугодную мессию!» -
 Так думал мой герой, а с ним и я,
 Арсения рубаха – и моя.

* * *

И вот в окрестностях Кремля
 Арсений тут же оказался.
 Деревня русская, земля,
 Конечно, милы. Наскучался,
 Однако, там он по Москве.
 И вот встречался очень близко.
 В театр шел – да не по траве,

А по брусчатке – больше риска,
 Такая уж работа – одалиска.
 Из отпуска придешь, а там уж что-то
 Такое, что и подумать низко.
 Не то, что ...
 Да, такая уж работа!
 Предчувствия его не обманули.
 Пока он шел, там отливались пули.

* * *

Вот и театр – его искусства храм!
 Все так же стынут круглые колонны.
 Дух Мельпомены, мнй Прекрасных Дам.
 И митинги недавно тут, колонны.
 Из Тулы, Курска, из Коломны...
 И худсовет. Артисты, режиссеры.
 И ветры в спину. Как они знакомы.
 Репертуар и роль твоя. И споры!
 Главреж, конечно. Настроенье масс.
 И Гамлет его – Грише, Гриша – брат!
 - Где ты раньше был, наш крестьянский класс,
 Когда мы защищали свой театр?
 - Конечно. Я за друга рад... «Иль нет?
 Гамлет мой! я бредил им сто лет»

* * *

- Какой ты Гамлет? Глянь-ка на себя:
 Походка рысья, профиль живодера.
 - Да что вы мне...
 - Ну вот что! Мы тебя
 Наметили... Какой террор? Тут нам не до террора!
 А вот тебя мы намечаем в «Бесы»,
 Ставрогин ты, каков типаж!..
 - Позвольте, это же мираж!
 - А «Бесы» как раз под твои стрессы.

А то ты нас совсем заколебал...
 Вот и сражайся, вот и выражайся!
 И голос масс: - Совсем-совсем сбежал...
 И отражайся, от – ра – жайся...
 - О Гриша! Бедный Гамлет мой!
 - А с Гамлетом – ступай, валяй домой!

* * *

Конечно, сцену можно развернуть.
 Да ведь роман же пишется – не пьеса.
 Интриги, склоки – голубая муть,
 На том собаку съел большого веса.
 Вот так вот и бывает в коллективах,
 Н-да, в творческих – каких тебе еще!
 А ведь у Гриши даже лоб плешивый,
 Кривые ноги – это хоррошо?!
 Как Председатель он – попали в точку.
 Но – Гамлет! Уж, позвольте, что скажу, -
 На роль мадам рекомендую «бочку».
 Вон Бовари... давай изображу...
 - Не надо, Сеня! Помолчи пока.
 От фраков твоих вытерлись бока...

* * *

Скончал певец, скончался худсовет.
 Все вышли, друг на друга не глядят.
 И лишь за угол, Гриша вот он: - Дед!
 Обиделся, поди, мой старший брат?
 - Да так, - повел плечом Арсений,
 - А как ты думал? В этом что-то есть,
 Хе-хе-е, я- Гамлет! Роль не для веселий...
 Ну что – дуэль? За роль свою и честь?
 Забыл, как я помог тебе с народным?
 А мне, а я? Я, что же, – истукан?
 - Нет, Гриша, стал ты очень модным.

Спрос на тебя – в кино, в балет, в «канкан».
 - Да брось ты! Говорил же, что с ружьем
 Дай постоим с тобою мы... вдвоем...

* * *

Пойдем в буфет да врежем по рюмашке!
 Давненько не видались, все мура,
 - Не вижу я в буфете что-то Сашки.
 Осточертела мне его игра!
 - Ну вот. А говорил, со мной до гроба.
 А сам в кусты... Не выпить ли еще?
 - Нет, Гриша, мне не плохо чтобы...
 Но и не очень что-то хорошо...
 - Шуми, шуми, послушное ветрило!
 Волнуйся подо мной, угрюмый океан! –
 Похлопал его Гриша.
 - Очень м-мило, -
 Вздохнул Арсений – бедный ветеран.
 Впервые так подумалось за жизнь:
 «Покрепче, Сеня, на ногах держись».

* * *

Такие-то в театрах пироги,
 О современном думать не могли.
 Когда-то лишь «капустники» и прочее,
 Снегурки - днем, Деда Морозы – ночью.
 Да, днем мы – классики, мы, брат, академичны –
 С Алтайских гор до Северных морей.
 Как если бы лепил я вам хорей,
 А мы и с ямбом да вполне приличны.
 Ну что, не так, что ль? Если бы не так.
 А то ведь «Ревизор» у нас с «домкратом»...
 Как с «домом» – «крат», «дом» с «крэ» и «мэ»... как «атом»...
 Теории важны а-то-мистические,
 Театра современные – мис-ти-ческие.

* * *

А если то и это сократить –
 Каким театр, мисс, должен быть?
 - «А то!» А что не знают режиссеры,
 Чем МХАТ держал свои узоры?
 «На дне» – где жили-были «Чайки»,
 «Вишневый сад» – весь, как в снегу.
 И даже «чернь», домохозяйки
 На «Дядю Ваню» шли в пургу –
 Себя увидеть в чеховском спектакле.
 А вот «Евгения Онегина» (не так ли?)
 Любимов тоже... боже на божке...
 Хорош «домкрат»! В простом народе
 Смысл ищут в добром бутерброде.

63.

«Укрыты классикой театры
 А уж из классики «домкраты»
 Такое делают «игрой»,
 Что бык с коровой под горой», -
 Так думал Сеня – наш герой,
 О ком фактически мы пишем.
 Естественно, маленько злой –
 С учетом Гамлета и Гриши.
 «Уйти в другой театр, к другим?
 Везде свой мир, свои кумиры.
 Свой почерк, стиль, погоды, лиры,
 С «домкратом» каждый со своим.
 Надежды юношей питают,
 А в нас гробы уже летают».

* * *

Пришел домой, а дом чужой.
 Едва приехал, уж смешно,
 Что на столе две вазы груш, но –

Не съел он груши ни одной!
 Зачем хоть накупила Груша
 Их столь?.. Бывалыча, едва
 Он в дверь – Веселая Вдова
 На ... лядки без оглядки
 - Слушай, -
 Он обратился к той афише,
 Где Агриппина – марки высшей
 То ль в «Сильве», то ль в «Принцессе цирка».
 С Ихдыри – хор, она – ихдырка.
 Вот такие-то дела,
 Жена негра родила.

* * *

Опять закручивать интригу?
 Будильник, что ли, завести?
 Чтоб никому и Грише фигу,
 Себе... в затылке поскрести...
 Бездарно это. Как же, как же-с,
 Обоих могут разогнать.
 Ни дать – ни взять, такую мать,
 Как эти фирмы «Цептор», «Дайджест».
 С утра в дом – коммивояжер
 Швейцарской этой фирмы «Цептор».
 Уж так рукой, как дирижер,
 Махал, твердя, как это ценно
 Иметь посуду, где само
 Вариться будет эскимо.

* * *

Итак, звоним и говорим,
 Из Госкино – как будто Грише:
 Мол, мы такое тут творим!
 Эпоха... Жуков... даже выше...
 Кто может выше быть его?

Кто может вышибить его же.
 С друзьями надо быть построже,
 Чтобы не отняли всего.
 Итак, большая кинолента...
 Кого снимать, того лечить...
 Мол, только ждут они момента,
 Чтоб Гришу им заполучить.
 Да, Маршал Жуков... В миг работы
 Возьмут большие обороты...

* * *

Сказав все это секретарше,
 Из новеньких (его не знала),
 Он стал, как будто чином старше
 Как маршал, вождь середь вокзала.
 Прошло каких-то полчаса,
 Как вдруг звонок в дверь – это Гриша.
 - Мой дорогой! Шумны леса,
 Но ты их, господи, не тише!
 А Гриша уж непобедим:
 - Сам Жуков... Представляешь, да?
 Да черт с ним, с Гамлетом твоим!
 Берри, даррю-ю-ю!.. Иди сюда!

64.

Вот коньячок. Пьем мировую.
 - А за что? - Чтоб роли не переводились.-
 И наливал одну, другую. –
 Чтоб мы с тобой не отравились.
 Чтоб Маршал Жуков победил.
 А Гамлет, чтобы был как был.
 Чего ему за нас страдать,
 А нам пороги обивать
 По «конопям», по Госкино,
 Где нас приметили давно?
 Я, Сень, тебя перетащу,

Дай вот ролишку подыщу.
 Вот кто ты будешь – Рокоссовский!...
 - Гриш, «я таковский и сяковский,

* * *

Я московский и смоленский,
 Я Михайло Исаковский –
 Городской и деревенский»,
 - Сень, сам писал? Хиповский!..
 Ну ты даешь, скажу, зарвался!
 Стихи - в «верьхи»... Ага, попался?
 Поэтов тайных я – насквозь.
 Все пишут, пишут – в сейфы, врозь.
 Вот наш главреж. Вдруг как-то вызвал,
 Стихи из сейфа прочитал.
 «Ну как?» – «Да так». – Еще листок совал.
 «А эти ничего, туда их – в грызло!...»
 Так помрачнел после того, ты б знал.
 -Хе-хе, - повеселел Арсений. – Не те ты угадал.

* * *

- А что? – поник Григорий, вот невежа.
 - Стихи же – Исаковского. В-придачу
 Те, а что плохие, те – главрежа!..
 Он Маршалом тебя уж не назначит.
 - А я и так хорош, и без вина! -
 Загоготал Григорий во всю глотку.
 Да так, что там берлинская стена
 Вдруг рухнула и погребла молодку.
 Вот это да! Вот бедствие из бедствий!
 Не стенки эти – человека жаль.
 Вот был такой таджик Бабрак Кармаль,
 Так тоже рухнул... правда, без последствий...
 Вот с Гришей как поговоришь,
 С полгода обожаешь тишь.

* * *

А то не знал, куда деваться.

Вот Гамлет – ну не победим!

Куда «бобрам» с таким тягаться?

- Я, Гриш, как дед мой Никодим,

Пускаю дым, а ты грохочешь!

Какой ты, Гриш, артиллерист...

А Гриша важно: - Я – артист!!!

- Ну да, играешь, что захочешь.

Играй, играй, товарищ Жуков!

Как на баяне...

- А Маршал мог, но – а зачем?

- А Маршал мог. Но не профукал

Свои сраженья, между тем.

- Ну что ж, и я за ум возьмусь.

На «тулку» завтра же сажусь!

* * *

Ушел Григорий – обожаем,

Кривые ноги уволок.

«Садись на стул!» - не воз... ражаем,

Сказать по правде, между строк.

Арсений прыгал до небес:

Как он его! Какой тот Гамлет?!

Да тут ли, да в театре там ли –

С ним нахохочешься до слез.

Такой наив! Международный.

Такие крепкие шары,

А не способны для игры.

А ведь и он уже народный...

Григорий, Гриша, дорогой!

Прости меня, навек с тобой!

65.

Приди, Веселая Вдова!
 Как раз твоя настала эра.
 Какие сберегла слова?
 Какого утешала мэра?
 Какой хрячок тебя на племя,
 Вполне возможно, приласкал?
 Какие желуди таскал?
 Какое клал в кошелку семя?
 Да, черт побрал! Совсем забыл,
 Что есть кому смотреть за ней.
 Что дядин Мишин шарм и пыл
 Дороже левов и гиней.
 Тут, значит, вкалываешь, пашешь,
 А где-то жен пасут и наших.

* * *

Она ступила за порог,
 Давно стояла тут, бледна.
 И кто б все это слышать мог,
 Так это ты, моя жена!
 - Что слышал, арию Трембиты?
 - Да из Планкетта... эта, эта ...
 «Мирно качайтесь, каче-е-ели-и»...
 - Ваша карта бита.
 - А ваша песня спета, спеттт-а-а...
 «Мирно качайтесь, каче-е-е-ли»...
 Подтягивала и она –
 Его законная жена.
 И танцевали – пили, пели.
 Артисты мы – смеемся, плачем,
 Ни к черту нервы, не иначе.

* * *

Включил ей танго «При свечах».
 Задернул шелковые шторы.
 И заскользили. На плечах
 Рука. Фигура. Томность. Взоры.
 Как удивительны мягки
 Все тайны перевоплощенья.
 Она не знала той руки
 С Христова, что ли, дня рожденья.
 И он не слышал этот голос
 Лет, может, десять, может, сто.
 Пересчитаем этот волос –
 Их у Трембиты тьма, а что?
 - А че? – Ни че, я так. – И я. –
 И танго в танго у мустанга.
 И тают свечи, и змея
 От них по шторе, вопия
 Органным голосом. Качает
 Их штору... Музыку кончает...

* * *

- А все же что тебе скажу! -
 Опять настаивал Арсений,
 Как перед барышней кисейной. –
 Зануда! Я тебе твержу,
 Твержу! Наверно, год девятый,
 Да сколько мы, наверно, вместе...
 - Так величаешь! Ты – из лести...
 Лет двести – вместе. А не пятый.
 - Девятый! Девять будет вот!
 Как мы вдвоем... - Ужель, неужто?
 - Ты – ненормальный, идиот!
 Какой ты, право, браво, муж там!
 - Ну да, ты с кем-то, может, и нежна,
 А дома ведьма, сатана.

* * *

- Да ерунда! Да-да! Да-да!
 И то, и это е-рун-да!
 А если все не так всегда,
 То ты(!) корми ребят тогда!
А то жена, а то крутись,
 Зато узнаешь эту жизнь!
 - А то – а то! А то – а то!
 Вам подарили, мэм, манто?
 - Мне подарили и-привет!
 Где подарили, нас уж нет.
 Куда идем, к чему придем?
 Узнаем, может быть, потом.
 Хотя, возможно, не узнаем,
 Кто любит нас, кого влобляем...

66.

С тем и ушла к себе в театр.
 И укатила на гастроли.
 Сынки на шее не сидят –
 От тещи и опять в спецшколе.
 И он опять, как перст, один.
 Гнетет безумствами душа.
 Она была бы хороша,
 Когда бы не впадала в «сплин»,
 Как называют англичане
 Простую русскую хандру.
 Все от безделья эти дряни.
 От Фрейда – «либидо», «уру».
 И от главрежей, от гастролой.
 Сейчас ты тут, а дети – в школе.

* * *

Не в Гамлете, конечно, дело.
 Не «Гамлет» – так спектакль другой.

Прикрыл бы то, что ело, ело
 Да и проело, став дырой.
 Как моль какая или крот,
 Фрак проедают до дыры
 И делают антимиры,
 Ходы такие, - вот народ!
 Который сам себя кладет
 Во имя... тихо, тихо, тихо...
 Такой театр! Беря за выход,
 Бесплатным обещают вход.
 Давно приметил, что Москва
 Над ним, как осенью листва.

* * *

К ногам летит, под ноги стелет
 Казну Садовое кольцо.
 Червонцы, золото, метели.
 Да все на грудь, да все в лицо.
 А утром банк из-под березы
 До шпента выметет Метла.
 Столица все ж, как у Орла
 Никем на видимые слезы.
 Фортуна, где ты? Уж впитал
 В себя кулис он мир особый
 И полюбил живой металл –
 Во взгляде, глазе высшей пробы.
 Все Левитан, все б «третий Рим»...
 Но вряд ли ими ты любим.
 Пришел не к Пушкину – к кому же?
 При чем тут Пушкин? Он – поэт.
 К кому в Москве, когда не нужен?
 Когда «давай», а силы нет.
 К кому идти в родной столице?
 Да к Льву Толстому, например,
 Извольте для принятия мер.

- «Так мне жениться – не жениться?»
 - «Что б ты ни сделал, будет плохо:
 С женой ли, парень, без жены...»
 Арсений сделал два-три вдоха
 И оказался у стены.
 Какой? Естественно, кремлевской.
 Тут, на Васильевском. В Московской

* * *

«Тусовке» – так теперь звонят.
 Две-три гитары, пара групп –
 Вот все, что тут. Но тоже – яд.
 И это, понимаешь, «клуб»!
 «Вот так чиновники твердят,
 Когда они еще сидят,
 А не уже, как на ноже –
 В Лондоне или в Париже,
 А не в Москве, у нас их нет!
 И быть, конечно, тут не может.
 А если есть какой атлет,
 Так мы его по ро... по роже.
 На то и спуск. Чтобы спускать
 Пары в пиры, в гробину мать!» –

67.

Вот так примерно излагались
 Те барды, что тут оказались.
 И вспыхнула его душа:
 «Вот песня! Очень хороша!»
 - А Дачу знаешь Одинокую?
 - Какую сдачу?
 - Не какую,
 А Дача – тот... тебе толкую...
 Что гитарист – про степь широкую...

Василий, Василек зовут...

- Не знаем группу эту. Где,

Откуда? Мы – из Тулы тут.

- Спасибо... вашей бороде.

Арсений глядь вокруг себя:

«Все красно, красным на тебя!»

* * *

Стена кремлевская. И площадь.

И храм – Василий, но Блаженный.

Юродивый – сказать попроще.

А еще – проще прокаженный.

Башку с иных за то рубили,

Что дозволялось тут сказать

Царем... Мы это не забыли,

И вот все красное опять».

Но где Василий – тот, с гитарой?

Не может же в норе сидеть,

Еще ведь не совсем и старый,

Ведь не отвык еще кипеть.

Где ты, орел, с крылом Икара?

Где – Одинокая Гитара?

* * *

Теперь уж так! Куда деваться?

Найти гитару эту – Дачу!

Как будто домом надышаться,

Побыть в деревне...»Наудачу.

Побрел Арсений по Москве

И оказался где? Ну где? –

На Красной Пресне. По листве

Шагал и думал, как везде:

«А что тут красного – на Пресне?

Одно лишь синее – река.

Москва-река, и буревестник

Над ней летит издалека».
 Но нет и здесь, в Москве глубокой,
 Гитары, Дачи Одинокой.

* * *

Вдруг кто-то выскажись и тут:
 - С гитарой, дача? – Чуть подальше.
 Где Белый Дом. Туда идут.
 Там все, как есть, как было раньше.
 Арсений – следом. Где и все.
 С толпою захотелось слиться.
 А рядом лица и не лица,
 Тоскующие... по колбасе.
 Пришли туда, где бело все.
 Дом как в пурге, Как из пурги.
 Пурга пургой. Слон и Осел.
 Лев и Козел.
 Но где же Дача?
 Гитары все пришли со спуска,
 С крюка как будто сорвались.
 Грузин, цыганка-андалузка –
 Да все про нас, про нашу жизнь.
 - А где же Вася – первый номер?
 - С гитарой, что ль?
 - Ну да, с гитарой.
 - Про дачу все... еще не старый...
 - Небось, уж под забором... помер...

68.

Вот так с растрепанной душой
 Он шел к себе, в район Арбата.
 Конечно, пешаком, пешой,
 Коль хочет брат увидеть брата.
 Всех повидал. А Васи нет.
 И тут его вдруг осенило:

А Васин ведь живой портрет –
 По всем по трем, где есть и было.
 О тройка русская! Огонь!
 Опять летишь, полузабыта?
 «Куда несешься гордый конь,
 И где опустишь ты копыта?»
 Колеры выцветки тройной
 Качает ветерок хмельной.
 И так ему все стали тошны
 Среди этой толчеи людской!
 И сам какой-то суматошный,
 Не из Бобров уж, сам не свой.
 Так захотелось окунуться
 Опять туда, во глубину,
 Где не привык он гнуть и гнуться,
 Где он один на всю страну.
 Ты царь и подданный там, Боги
 Взирают только на тебя.
 Всех знаешь ты и любишь многих –
 Без оборота на себя.
 Где с той, известной нам Березы,
 Весной лишь могут капать слезы.

* * *

И там Валун, где дал ты маху.
 Мария, хата с краю, мать...
 Пришел домой, сменил рубаху
 И в чистом принялся писать.
 И, в роль войдя, так заигрался,
 Так захотелось все суметь
 И сразу все запечатлеть!
 Однако крепок же попался
 Орешек тот, как ни старался
 Он, помогая себе телом,
 Движеньем гибким и умелым;

Когда язык на зуб попался,
Тут аж присел – от этой боли.
И вот что Сеня наглаголил.

СТИХИ АРСЕНИЯ

«Я иду сторонкой полевой
На автобус старенький, со стажем.
Жаворонок шалый, зоревой
Впереди бежит, дорогу кажет.
Провожай-ка в дождик под зонтом!
Дай-ка Солнце брызнет, рано встав,
Как ты тут же вон куда винтом
И повис, глядишь, затрепетав!
И оттуда опеваешь Русь,
И зовешь к себе в златую синь,
Я и тут на поле, напоюсь,
Птах мой! в колокольцах – динь-динь-динь.
В васильках – по зеленим ржаным,
В небесах – что нету мне милей.
Песнь одну вдвоем с тобой звеним
С высоты о Родине своей».

* * *

Прочитал изделие свое.
Хмыкнул про себя, а может, нет.
Вспомнилось чего-то «мумие»:
Не кольцовский все-таки куплет!
Нет у нас народных на Руси,
Все поэты – просто из народа.
Это где-то там такая мода –
От Шаляпина еще, иже еси.
Взял листок, задумался слегка:
«Как бы это?... Корм не по коню...

Как-то одиноко»... И рука
 Изорвала всю эту х...ню.
 В мелкие кусочки, на куски, -
 Что такое власть одной руки!

69.

Оказаться, боже мой, пророком!
 Все б, как в воду им гляделось, что ль?
 В Госкино к нему вдруг стали боком,
 А Гришаню вызвали на роль.
 Ну, конечно, Маршал! Эпопея!
 Госзаказ на многие года...
 - Хорошо, - сказал он, как всегда,
 Другу своему, слегка бледнея.
 Думая о Гамлете, конечно.
 Да ведь Гамлет отдан был кому?
 Под луною все оно не вечно,
 Мир тебе и праху твоему.
 Да, такие, значит, пироги.
 Заварилась каша, а не лги!

* * *

Дали «Бесов». Копия – Ставрогин.
 «Грим клади... А ты не злись, не зли...»
 Что-то подкачали наши Боги,
 Не туда нас кони понесли.
 Целый день в постели провалялся,
 Изгоняя «бесов» из себя.
 Эко кони выперли тебя!
 На недельку вдруг больным сказался.
 Дали отпуск. За свой счет, конечно.
 А на что он? И куда ты с ним?
 «Под Луной, конечно, все не вечно.
 Жить, Арсений, надо и другим».
 Рассуждая так, герой наш глупо
 Выглядел перед собой и – тупо.

* * *

Говорят, мотивы – это все тут.
 А шнурочки дергают они там.
 Могут ведь с тобою и по КЗОТу,
 И тогда «капут» тебе, «финита».
 Нет, зачем же допускать такое,
 Чтобы дяди сделали рукою.
 Чтобы после этим дядям тети
 Что-нибудь вlepили по работе.
 Чтоб и им вlepили тоже дяди,
 Но другие, как и тем, не глядя.
 Аргументы могут обмануться.
 А мотивы? Да всегда найдутся.
 Вот какие, стало быть, блины
 И пеклись для Сени у жены.

* * *

Помню, как давно один чудак
 (Был такой цирюльник иль портной?),
 С рупором в райцентре нашем так:
 «А Маленков – кто напечет блинков».
 Дурной.
 «Хрущев – кто выпить даст еще».
 «А Брежнев – мы будем жить по-прежнему».
 «Андропов?».. И закрыл плащом
 Портной свой лик беззубый: - «Ха-ра-шшо!».
 Хмельной.
 А дальше кто – Черненко?
 Портной Черненку пережил.
 На рупорок давал уж «пенки»,
 И столб спилили – не скажи;
 Больной!
 С таких и ломаются психушки,
 Где все для всех пекут пампушки.

* * *

«Но что-то я, как пес на сене!
 Поперли «бесы» из меня,» –
 Себя придерживал Арсений,
 Бросаясь поперек огня.
 Как те пожарники, что бор
 Спасают, встречу огонь пуская.
 Или как мост я, созидаю,
 Из подхалимства вдоль попер,
 Чтобы не делать поперек,
 Когда «не одобрям-с» начальство.
 «Мне, правда, что-то невдомек,
 Чтоб я?.. То вдоль, то поперек?... Канальство!»
 Такой развился в нем кураж –
 Урбанистический пейзаж.

70.

Нет, право, надобно в Бобры!
 Хоть на недельку – приобщиться.
 Где земляки к тебе добры,
 Где можно из ключа напиток.
 Где шелком вышиты дожди,
 Где русский дух, где Русью пахнет...
 Приеду – мама так и ахнет:
 «Постой, голубчик, погоди,
 Чего там у тебя стряслось?
 Ай что с женой, скажи на милость?
 В роду у нас не развелось
 Ни одного... не разводилось»...
 - Не разводились только дети
 У дяди Пети...

* * *

Какой там дом у дяди Пети!
 «Так, голубятня, - скажет он –

Ты мама – лучшая на свете,
 И я в тебя, тобой рожден».
 Опять звонят. Не из театра
 И, право, не из Госкино.
 Уж не звонили те давно.
 И так старательно, что «Ватра»
 Дрожит на столике в передней.
 И сигареты сами в пачке
 Наружу лезут. Гименей
 Их с Грушей ждет в гробу. «На дачке!» –
 Вот так вот нервы разошлись,
 Как на «киятре», – что за жизнь!

* * *

Да ну их к врагу, эти нервы!
 И Гриша тоже не звонит.
 Теперь он – Маршал, самый первый,
 Он там с Богами говорит.
 А у тебя одни «лампасы»,
 Штаны затерты до костей.
 Да ведь и Жукову не кассы
 Погоду делали... Вестей,
 Арсений, жди – паук, паук!
 Спустился прямо в суп на нитке,
 Пока разогревал на плитке,
 Тут он сварился и прижук.
 Нести, неси дурные вести!
 А мы их в суп – живьем, на месте.

* * *

Вот так и Йорик суп варил –
 Из пауков... О бедный Йорик!
 Каким красавцем, видно, был
 Ты при дворе – артист же, комик.
 Вот так и ты когда-нибудь,

Свой путь, по жизни завершая,
 Пересечешь с ним бранный путь,
 В картишки с черепом играя...
 Какие жуткие картины
 Тебе рисует Гименей!
 Так и слетает с Агриппины
 То имя с некоторых дней...
 Когда уж – что там говорить!...
 Хоть суп приходится варить.

* * *

Решенье принято. Фельдмаршал
 И даже Маршал сам себе, -
 Арсений вот уже на марше.
 О Йорик! Скорбь не по тебе.
 Да и не скорбь уже, а радость,
 И, словно луч в его окне,
 Душа кипит, душа в огне, -
 О превращения во младость!
 Черкнул ей: «Еду на гастроли».
 Перечеркнул: «Все в той же школе».
 Утро занимается надо всей страной,
 Йорик возвращается да к себе домой.

РОССИЯ – РУСЬ ПРОВИНЦИЯ....

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

71.

Семь глав. Как черных семь ворон.
 Семь стариков, как у Бодлера,
 Идут к тебе со всех сторон,
 Опять какая-то химера.
 Идут носатые крючки.

И к носу нос. И в спину посох.
 И посох к посоху. Стручки,
 В каких и корчится философ.
 Перевалил за середину –
 И как-то легче, обозрим
 Твой этот самый «третий Рим»,
 Да и Бобры уж смотрят в спину.
 Так до календ и доплывем,
 Как будто в первый раз живем.

* * *

Арсений мчится электричкой,
 Как ездит вечно и народ.
 Когда б подумал, что со спичкой
 Ее срифмует, воспоет, -
 Летучий призрак, вихрь зеленый?
 Где ж Одинокий, гитарист?
 Он ждет его, как жаждут трона
 Иные выходцы. Но мжист
 Пейзаж, летящий мимо, мимо.
 Все дочки-дочки, дачки-дачи.
 Все одиноки – хлеб без сдачи,
 Труба высокая без дыма.
 Мурашки что-то по спине.
 Все строчки внутрь, а жизнь вовне.

«МОЙ ГАМЛЕТ»

(песня Арсения)

«Гамлета мечтал я, в общем-то, сыграть.
 Грезилось мне, снилось: «Быть или не быть?»
 Каждому артисту суждено страдать,
 Каждой королеве хочется любить.
 Режиссеры разные, Гамлет же один.
 Мысли безотвязные, кто им господин?
 Пики, черви, крести – лобы Сатане,

Только «туз» бубновый на моей спине.
 Думы мои, думы! Душу обломив.
 Песни наши, песни! На другой мотив.
 На театре жизни круты времена,
 По чужому полю сею семена.
 Бедный, бедный Гамлет! Призраки и жизнь.
 Датскую корону не могу забыть.
 Принципы и принцы, быть или не быть?
 Йорика сгубил бы, только попадись.
 Гамлета сыграл бы, по живым скорбя,
 А теперь играю самого себя».

* * *

Мой жребий пал, а путь неясен.
 Переплывая оком,
 Я лишь с Арсением согласен
 Быть не на первом – на втором.
 Кошу в саду сенные строчки,
 А комарье, а комарье!
 Ну как враги, как ром из бочки,
 В лицо бросаются мое.
 Отколь берутся эти тучи?
 Ведь не сражаюсь, не борюсь.
 На мне висят, таком могучем,
 Чтоб виден был, и – видит Русь!
 Увидит, может, целый мир.
 Какой висит на мне вампир.

* * *

И мой Арсений знает вроде.
 И, понимая старичков,
 Взамен не ищет, но находит
 Как семь систем, всех семь «крючков»,
 Все семь планет, как семь перстов.
 Семь лебедей из рук Бояна

На гусли пламенные пьяно
 Он налагает, будь здоров!
 - Тягайся с временем, певец!
 Расчеты строй на утешенье.
 Кто принц поэтов, кто делец?
 - И-их! – икается во рвенье.
 Вот так «крючки» те и живут:
 Жалеючи ведь пришибут!

72.

Как дух ведически сжимает
 Свои серебряные кольца,
 Так друг «хлеб-солью» нас встречает
 И тут же сыплет в рану сольцы.
 Всего-то третью кожу сбросив
 (У всякой истинной змеи
 Должны быть кожи-то свои,
 Всего их семь, а может, восемь),
 Арсений наш повеселел:
 «Кто за спиной? Мир «прободной».
 Удав силен, «хирург» не смел,
 Брат не пошутит и с тобой.
 Жизнь такова, чего не скажешь:
 Лишь шелком рану и завяжешь».

* * *

Примчался он – деревья гнулись.
 В автобус своей едва вошел:
 - Приехал Сеня, - улыбнулись,
 И стало легче на душе.
 А дома мать: - Сынок, что было?
 Он не сказал ей ничего.
 Она б косой всех зарубила,
 Богов чужих перекрестила
 За Сеню – сына своего.

Живи! Зализывая раны,
 Гляди на травы и луну.
 Поднялся утром очень странно –
 Еще до Солнца к Валуну
 И полетели снова строчки –
 Потек лобезный ром из бочки.

«РУССКИЙ ЛЕС»

«Лес мой – славный, русский!
 На тропе на узкой
 Встреть меня, прими меня,
 Мой зеленый лес!
 Защити, горластого,
 От булата властного,
 Заведу гитару дай,
 Извернусь, как бес.
 Лес – отец мой русский!
 При погоде буской
 Сына одинокого
 Встреть и приласкай.
 Много ли мне надо ли, -
 Чтоб листья падали,
 Чтобы кони прядали,
 Веселел мой край!
 Лес мой – славный, русский!
 Соловейко курский!
 Выслушай седую жизнь,
 Матерь моя, Русь!
 Встреть меня, осторожного,
 Но – не безнадежного,
 Верен буду Родине и тебе, клянусь!...»

* * *

Арсений, встань! Листок приподними!..
Он удивлен: что – получилось?
Но что-то есть же, черт возьми!
Скажи на милость.
Вот Одинокый бы прочел,
Та Дача – Одинокая!
По всей Москве – а не нашел,
По всей державе б окая.
А тут гляди, где дол, где лес.
Вон Пан, что ль, из-за дерева?..
И с Валуна наш Сеня слез
Да и погладил мерина.
Пасись, пасись, мой добрый конь!
Носи в себе и мой огонь!

* * *

Приник Арсений к Валуно,
Щекою ловит звуки.
И их слышать на всю страну –
Ведические буки.
И вот из них – его Мария
Возникла, мчалась, запалась.
Да что там!
Да не выйдет связь
Такой, как ... что ни говори я...
Она была уж тут, когда
Читал он вслух. Читал ей снова –
Они сплотились навсегда
Из сна тернисто голубого.
Но вот легла ее рука,
И понял он: она – близка.

73

Она – реальность, этот мир,
 Где мы живем и погибаем,
 Где невозможное творим,
 А сотворенное сжигаем.
 - Мария, ты? – сказал он той.
 А ямка вот, на подбородке.
 Она коснулась ямки: - Мой. –
 И отошла. И стала кроткой.
 Куда летим, чего мы ищем?
 Из тьмы выпутываясь тут?
 Из мириадом – только тыщи,
 Из тысяч же одна – и тут.
 Такое, терпкое вино, зачем оно? Кому дано?

* * *

Они лежали бы на Камне,
 Когда не съела бы роса
 И их самих, и вечер давний,
 И серединна полоса...
 Так и рождаются стихи
 За ослепленья, за грехи,
 За жизни краткие минуты,
 За нашу боль, за институты,
 За то, что есть, что с нами будет,
 За высоту души твоей,
 За Красоту, наверно, люди
 В большом долгу и перед ней.
 Арсений глянул на Валун,
 И он глядит, такой молчун.

* * *

А он молчит из тьмы веков,
 Глаза задумчиво живые.
 Лицо и лоб – лобастей лбов

Не видел Семион. Впервые
 Так вдохновенно ржей пропах.
 Какие пурпурные токи
 Из недр наверх ведут пороки
 И замирают на устах.
 - А я – ничей, - сказал он ей.
 Уж разбирали его «бесы»,
 Готова для чужих ролей
 Его святые интересы.
 Мы все в раздоре с тишиной,
 Соединим себя с собой!

* * *

- Гитара есть? Гитары нет? –
 Спросил ее.
 - Да есть же, есть!
 Ты что играешь, мой поэт?
 - Я призрак Васин, Ваша Честь.
 - Судить других? – она сказала. –
 Сначала разберемся в нас.
 - Мы все артисты. Разве мало,
 Что нас зрит небо, «третий глаз»?
 - Хотя бы, кажется, двумя
 Мир лицезреть мы научились.
 Она скажи, смеясь: - Хватились!
 Живем, себя же и глумя...
 Ну, брат, ты и наивен!
 За пару гривен.

* * *

С ней интересно говорить,
 С ней интересно просто быть,
 С ней вообще-то интересно
 Все узнавать про наших местных.
 Вот углядела Черномора

В лобастом этом Валуне –
 Двоюродный он Сатане,
 Доска кривая от забора.
 Она директор – это, значит,
 Все доски, уголь на уме.
 Но вдруг все так переиначит,
 Что даже ты ни бэ ни ме.
 Какое торжество эффекта!
 И что-то есть от интеллекта.

74.

И принесла она гитару,
 И он персты как наложил,
 Как там и был,
 Умелец старый.
 - Вот если б ты слыхала Дачу...
 Дай я спою его «удачу» –
 Ту песню, слышал в электричке.
 И спел ее. И было тихо.
 И стало страшно за нее,
 Как будто кто вонзил ей лихо
 Кинжал под сердце, как в свое.
 А все же главное, что понял:
 Поблагородней надо, что ли.

* * *

Ведь пел ее Лесоповал
 Хотя, конечно от души,
 А все ж не очень хороши –
 Спиртягой связки, о Ваал! –
 В тайге, наверно, сожжены.
 И хриплый тембр, и зычный звук,
 А это признак наших мук,
 За ними – козни Сатаны.
 Рисуйся, образ! Звук, шлифуйся!

И, благородная душа,
 Страдай за каждого, волнуйся!
 И умирай, но – не спеша.
 Не дай себя, творя, сгореть,
 Переводя во золото медь.

* * *

Какие жуткие аккорды
 Так извергались из него,
 Что отступали злые морды
 От благородия всего.
 Какая грань! Какая высь!
 Какое, братцы, одиночество!
 И эта Песнь – Ее Высочество,
 Его затюканная жизнь.
 Все топором да все по шее,
 Пилою все да по стволу.
 Все планы нам да все злодеи
 Поврозь на кучу-то малу.
 А что оставили ему –
 Большому другу моему?

* * *

Возьму гитару и пойду
 Да по Руси по всей великой
 Пусть площадь ломится от крика,
 А я пою, а я гряду!
 А я Валун тут, даже мертвый,
 Из праха вызвав, подыму!
 И вдохновлю упавших, гордых,
 И камень с сердца их сниму!
 Запел, пою – на всю Москву!
 Пою, о Русь, тебя пою!
 Потягнем, братцы, бечеву!
 Россию вытягнем свою!

Вот мой театр, судьба моя,
Где мой народ, там с ним и я!

* * *

Какие крылышки, Арсений,
Вдруг зачесались за спиной.
И не собака ведь на сене,
Где Дача, Ветерок Хмельной?
За всех «бобров», за песню Дачи,
За тех, что слушали его,
Он будет петь – дай, Бог, удачи!
За всех, как все за одного...
Такое рисовалось сглупу:
Театр покинет свой, в контакт
Войдет, свою сколотит труппу, -
В дорогу хоть и за пятак!
И гвоздь его такой программы –
Та песня... Шлите телеграммы!..

75.

Мать пригляделась и сказала:
- А чем же будете питаться?
Есть хоцца, знамо, после бала.
И ты уж рад за всех стараться.
Седой уже, гляди, сынок.
А все слова пока... мой чистый...
- Так, мать, известно, мы – артисты!
Конечно, риск. Над нами – рок.
Но с нами – Бог! И мы – в народ!
- Да Бог-то Бог, будь сам не плох,
А он уж вам-то подмогнет...
Осваивал аппликатуры,
Перебирал кандидатуры.

* * *

Мы не графья, на нас не робят.
 И в банке только огурцы.
 Но тут не только выжить чтобы,
 А мы еще ведь и отцы,
 Умы, водители народа,
 Мы их нетленные сердца.
 А жизнь какая год от года? –
 Да перестройкам нет конца!
 Все то и это, врозь и вместе,
 Что вместе было, снова врозь.
 Всех восхвалять да много чести!
 Лепить портреты на «авось»!
 Уж было. Помним, как сдували
 Пылинки с бронзовой медали.

* * *

Поля, конечно, засевали.
 Конечно, были все при деле.
 Но только все куда девали?
 А тут, конечно, что нам пели?
 Бурты гниют, в буртах картошка.
 Сидит на базах вся Москва.
 А нам - потерпится немножко,
 Да и подымутся права.
 Как будто это так, трава.
 Как будто все само собой,
 Как будто надо все гурьбой,
 Как будто люди им дрова.
 Так и везут нас, как возили.
 Набьют автобус, люди – в мыле.

* * *

Стоят и виснут друг на друге.
 Молчат, ругаются слегка.

Не танцевать же «буги-вуги»,
 Когда тут сломана рука.
 И вся опять какой-то «план»,
 И все опять какой-то «фонд».
 А как же в Риге «вальс-бостон»?
 А в Аргентине, что ль, «кан-кан»?
 А нас – в капкан... А то, а то
 Вобще отменяют этот рейс.
 Положат просто в поле «рельс»,
 И вешай на него пальто...
 В салоне всякого наслушаешься,
 Когда вот так оно намучаешься.

* * *

Арсений раз на нем проехал,
 И то запомнил наизусть
 Фольклор, события, что Пьеха
 Двух родила еще – и пусть.
 Про огород – что надо сеять,
 А что маленько погодить.
 Побольше надобно шутить,
 Чтоб страхи всякие развеять.
 Когда такая жизнь вподряд,
 Когда вобще-то жизни нет...
 А сами колбасу едят,
 В окно - бумажки от конфет.
 Теперь по рейсам ситуация: все хорошо, все хорошо,
 А будет лучше, что еще?

76.

Роман в стихах – как я в бегах.
 А темп все выше, уж летишь.
 Остановился – вроде тишь.
 Послушал – шорохи в ногах...
 Но мы забыли о Марии.

С ней ни хандры, ни малярии,
 После Пчелы и Валуна
 Она ничем не сражена.
 Однако что-то происходит,
 И к Валуно она не ходит.
 То ли Арсений уж не нужен,
 А то ль наладилось все с мужем.
 Кто женскую поймет натуру,
 Не глядя на ее фигуру?

* * *

От валидола только нервы,
 От нервов – пропасть. «Вот еще!
 Арсений – мой, Арсений – первый,
 Арсений мною возвращен». –
 В какую редкую минуту
 Она не думает о нем.
 А что ж не ходит, не вдвоем?
 А все одна, как «Бена... Бхутто
 ...зир... в Пакистане, экс-премьер.»
 В Марии все перевернулось,
 После Пчелы едва вернулась
 Сюда из чуждых атмосфер.
 Мария! Что это за змей,
 Что носишь на груди своей?!

* * *

Вот те Медузы и Горгоны,
 Какие спят на голове,
 Покинув царские короны,
 И заползли на грудь вдове.
 Какой вдове? А не Веселой –
 Скорее грустной оттого,
 Что муж не муж, а у него
 Она жена и не ... По селам –
 Чудес хватает, мы такие.

Возможно, и по городам.
 Однако змеи те и змии
 Все б не давали жизни нам.
 Пчелы укусы порой сегодня,
 Как наказание Господне.

* * *

Хоть в Бога и не так уж веря,
 Она сказала: «Что-то есть».
 И, как всегда, гасила зверя
 В себе, когда хотелось есть
 И пить, кого-то и убить,
 Коль часом нервы разойдутся...
 Арсений – меду лил на блюде,
 А жала ей - пришлось вкусить.
 Она грешна, не все-то знают
 Про страсть их, тайную любовь,
 Какие ночью плоть терзают,
 К утру лишь охлаждая кровь.
 Где снова в уголки души
 Суют Медузы ей куши.
 Как будто взятки. И за что же?
 Она директор все же... все же...
 Мария вскакивает ночью
 И в сад – за школу – чтоб воочью
 Увидеть тот чурбак березы,
 Какал больше никогда
 На землю не уронит слезы,
 К ней не прийти уже туда,
 На место первого свиданья, -
 К большому пню у Валуна.
 Где живо все, где ожиданье...
 Вино вины... опять одна...
 Сначала пни, с ночами дни.
 И дни, и ночи – все короче.

77.

Зачем опять приходит к ней –
 К Березе той он, как когда-то?
 Все обнимала б горячей,
 Покрепче срочника – солдата.
 Ты все же женщина, собою
 Тебе пристало управлять!
 Она познала это – мать,
 Не называя брак любовью.
 И вот теперь, а что теперь?
 С тех пор ни после – ни сейчас
 Уходит утром дикий зверь,
 Дневное высветляя в нас...
 Так и живем, как и живем,
 Когда мы любим, как крадем,
 А все ж собою не была бы
 Мария женщиной из женщин,
 Когда бы в меру хитрой, слабой
 Ее натура, мир тот вещный,
 Где круг ее в других кругах
 Бы не вращался, превращался,
 Когда б не вечный женский страх
 Стать старой ей не ощущался.
 Что годы – птицы, им летится,
 А нам – живется, как живется,
 Вода все льется у колодца,
 Как ей, и нам, и всем нейметя.
 Она у зеркала стоит,
 Какой с утра сегодня вид?

* * *

Костюмчик новенький, лимонный.
 Все формы выпуклы... жара...
 Каблук трехгранный – крик сезона.
 Прическа сделана вчера.

Блондинка да с рыжинкой, что ли?
 Глаза раскосы, левый врозь.
 Еще не выщвели от боли,
 Зеленоватые насквозь.
 Вот ей портрет, а что еще?
 Фигурка, ножки – все при ней.
 Ну, ладно, с этим хорошо.
 Чего же не хватает ей?
 Фортуны, капельки везенья,
 Мужской заботы, одобренья.

* * *

Воскресным днем, собрав сумарь,
 Она знакомою дорожкой,
 Бежит в Бобры, как раньше, встарь,
 Подзапыхавшись так, немножко.
 На встречу с матерью его,
 К известной всюду тетке Дарье.
 - Мы к вам сегодня, знайте наших!
 Мы со своим, не без того!
 На стол бабах бутыль кагора,
 Призапасенную давно.
 И это так – для разговора,
 Не по мешает нам оно.
 Верхами б все, как столбик ртути,
 Дабы не говорить о сути.

* * *

А по лещине воробьи
 Разводят всякие стенанья.
 Хоть яблочки есть и свои,
 А все же дорого вниманье.
 И так им вместе хорошо,
 Так слово ласково и любю.
 У Дарьи первого нет зуба,

Однако выпила б еще.
 А об Арсении ни звука,
 Ни о Москве, ни о жене.
 Все о Бобрах под хрусты лука,
 О милой нашей стороне,
 О нашей доброй старине,
 Какая видится во сне.

78.

Ту старину не критикуя,
 Свою поругивая суть,
 И переплыли вместе все
 Тот вечерок сквозь Млечный Путь.
 Картишки кинув, погадали,
 Что на всю ночь, что наутро.
 Они как бы не замечали
 Того, кто мимо них как будто.
 Лишь только раз Мария, сбросив
 С трефовым королем валета,
 Вздохнув, сказала: «Ну привет вам,
 В отбой их!.. милости вас просим.
 А, в общем, славные сыны
 Тебе, Семеновна, даны!»

* * *

Арсений шмыг сторонкой в сад.
 Пусть на «бубнового» кидают.
 Что карты вешие сулят?
 Какие облака витают?
 Когда б колоду в Белом Доме
 Вот так раскидывать могли,
 Не потеряли бы рули,
 Забыв рубли в девятом томе.
 Теперь все доллар, все валюта.
 А то Скуратов был Малюта.

А то Скуратов был другой –
 Грудь колесом, а член дугой.
 Вот так коней и запрягают,
 Когда программы излагают.

* * *

Стоит Арсений за кустом,
 Сидит Арсений на траве,
 А сам не слушает о том,
 Чтс тут, что там оно, в Москве.
 Что перевернута страница
 Еще одна не до конца...
 - Подлить, душа, еще винца?
 «Так что, жениться – не жениться?» –
 Спросясь совета у Толстого ,
 Не все ль равно оно под старость?
 Такая истина простого,
 А нам все от отцов досталось.
 Очки не суй вовнутрь футлярцам!
 Что хорошо нам – плохо старцам!

* * *

«Ишь, разрядилась – то ль овсянка,
 То ль иволга – в свои «лимоны » !
 В Москве была б официантка
 И стричь могла свои купоны)...
 Гипнозы... страсти и колонны...
 Колонный зал... людей колонны...
 О Господи! Заколебали
 Слова, дар слов, что предки дали.
 Да ведь и сами мы не-прочь
 Своей Евразии помочь,
 Народу русскому сберечь
 И приумножить нашу речь.
 Металл уйдет, истает снег,
 А речь останется на всех.

* * *

Но вот и Маша эта наша –
 Мария, Марья Алексевна,
 Уходит, бросив взор. «Милаша!
 В своих «лимонах» потрясенна!»
 И мыслью к ней перенесясь
 И провожая ее мыслью,
 Арсений тут же ее выслад,
 Как царь какой, великий князь.
 Сослал, гадалку, на Кавказ,
 Чтоб там ее же и убили.
 Хотя такое не для нас,
 Мы не уьем, кого любили.
 Кто «не страшась», не «идиот»,
 Давно в Чечне уж не живет

* * *

Его задумчивый приятель...
 На этом мыслью изломаюсь,
 Арсений, хоть и не ваятель,
 Убрал кусочек, изумясь,
 Уставился: - «О Афродита!
 Уж не бесовское в ней что-то?
 Вот это да! Вот класс, работа!
 И песнь не спета, и не бита
 Еще та карта... А Трембита? –
 Как там в Москве? Театр стоит ли?
 Дай вот взнуздаю я коня
 Да и в седло... для аппетита)... -
 Так думал о жене Арсений,
 Конечно, не без опасений.

* * *

Какие силы в нем боролись –
 Двоясь, троясь, десятерясь?

На что те силы напоролись,
 Как мы – «семнадцатым» гордяться?
 Куда смотрел в нем «третий лишний»,
 Тот самый высший, «третий глаз»,
 Покамест разум не погас
 Чуть выше яблони да вишни?
 Вот витамины – «сила жизни»,
 Вот кто в душе закроет брешь.
 А мы послужим уж Отчизне,
 А ты побольше яблок ешь.
 Сопротивляться бесполезно:
 Шаг в сторону – и все, железно!

* * *

Москва мелькнула и пропала
 В его сознании живом.
 «А «Бесов» бы не помешало
 Примерить, – раз оно живем!
 На том ли, этом, посредине –
 Какая разница? – седой,
 Усы, в комплекте с бородой,
 Натуре б нашей подходили.
 А ты всего поднахватался,
 За лето и окреп, и пал –
 Как в сети, к странностям попал,
 Покамест с ними не расстался...
 Кипи, вулкан! Живи, театр!
 Змеись, мой шестикрылый гад!»

* * *

Какая осень на излете,
 На половине всей Земли!
 Летит с берез, они в работе,
 Златые – светятся вдали.
 Ведь и редеют раньше всех.

Вот разве что еще и клены.
 Вчера кленок стоял зеленый,
 А нынче покраснел и сник.
 От сахаристости морозной,
 От первых зазимков – при них
 Темны дубы. С дубиной грозной
 По пням прошествовал сам Бог.
 А может быть, и заместитель –
 Пан-царь лесной, такой воитель!

* * *

Само собой его вело
 И привело к Большому Камню.
 Валун на Солнце грел чело –
 Друг лучший и приятель давний.
 А на середине, а на мхе,
 Да в выемке, как в блюдце, в люльке,
 Она лежала, хе-хе-хе,
 Как разметала свои «рульки»!
 Как разыграла висты, пульки,
 Как разгорелись бедра, ноги...
 Спала, дремала... Рядом – лист
 И змейка где-то на дороге...
 Арсений глядь да так и сел:
 «Мария! Сладостный предел»...

86.

Она лежит, она молчит,
 Она недвижна, словно спит.
 И лучик на груди лежит,
 «Тихо пышет на ямках ланит»...
 Фет, кажется, поэт сон,
 Во власти фетовской она.
 «Мы – фетовская сторона.
 В Козюлькино, тут рядом, он.

Его – и ризница, и дым,
 И шорох лиственный, сосна»...
 Все это видано и им,
 Все это слышит и она.
 Какую жизнь воображенья
 Ему рисуют луч, движенье.

* * *

Какие игры света, слова,
 Какие блики на челе...
 Была свобода, будет снова –
 Она под Курском, а в Орле?
 Почти дошла пешком до Мценска,
 Тут, перед Мценском, и застряла.
 Но только Волею назвало
 Ее тут людом деревенским...
 «Свобода, Воля, мы – и Фет,
 И Лев Толстой, да и Тургенев, -
 Не много ль сразу (да иль нет?)
 На нас тут? – думает Арсений. –
 Иной стране (да для всего!)
 Хватило б Фета одного».

* * *

Трещит кафтан на Чигринева,
 Рубаха лопнула по швам –
 Как духом распирает внове
 Его с Кольцовым пополам.
 Такой свободой и любовью
 Душа опять напоена...
 Лежит она вот – не жена,
 А как все в нем исходит кровью...
 Она лежит, а он стоит.
 И, как олень, в такую рань
 О восьмигранник пирамид

Свою восьмую точит грань.
 И он прилег, и он приник
 К ее губам слегка губами.
 Передохнула в тот же миг,
 И улыгнулись губы сами.
 Не открывая глаз, спала.
 Наверно, Пана не ждала.

* * *

И Пан ушел. Не шевельнув
 И даже веткой. Лишь сорока
 Так и осталась, чистя клюв, -
 Хитра, крива и белобока.
 Мы все за волю, за права,
 А где-то – за свои свободы.
 Еще зеленая трава,
 Хоть к Покрову уж : непогоды.
 Все тут ровесники, а Пан,
 Наверно, осени постарше.
 Вот отчего как патриаршьи
 Его надбровия и стан?
 Арсений, лучше наглядись:
 В Москве сгодится эта жизнь.

* * *

И снова в бой! Но на машине.
 Чтоб отвезти ее и там
 Оставить; пусть ей колят шины
 В системе той, где грешен сам.
 Раскручивались километры.
 Дожди секли, как и секут
 Но Дачи Одинокой ветры
 Не обещали нам и тут.
 Летим с Арсением в Москву –
 Обратнo, Русью надышась,

Но гонит от Москвы листву,
 Не очень-то прямая связь,
 Однако... Пост ГАИ. Глубоки
 Глаза. Неужто Одинокий?

МОСКВА, МОСКВА....

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

81.

В Москву всегда как в первый раз!
 Как встретит, выветится, примет?
 Арсений здесь уже сейчас –
 В столичном нашем «третьем Риме».
 Бобры уходят, никнет лето, -
 Провинциальные сюжеты...
 «Где-ты – где-ты, что ты- что ты,
 Я – солдат девятой роты...»
 Звонил Григорий. Позвонил главреж:
 - Ну что? В порядке ты, мой дорогой?
 - «Ну, да конечно, если ты не съешь».
 А вслух: - Как пионер! В ружье и в бой!
 Готовы наши пионеры
 Давать и дедушкам примеры.

* * *

Соседу яблочка занес –
 А с малой родины своей.
 Спросил: - Что новенького, босс?
 В Москве вобще-то, в жизни всей?
 - Твоя опять в командировке,
 Не вылезает из машин...
 Еще дал яблочко полукровке –
 Поменьше, стало быть, брешу.
 Побольше в тонкости вникай

И ситуацию лови.
 Не все сгорают от любви,
 Но всем пользителен «Токай»...
 Сосед воспринял свой аванс,
 Как бочку-дочку – в дилижанс.

* * *

Еще ни разу тут Одесса
 Не принимала виноград -
 Лекарства «от любви и стресса»,
 Как там, в Одессе, говорят.
 И одессит раз пять «тупеем» –
 О столб, по стенке, по столу.
 «Джентльмен, а фрак как на колу.
 Как мы стремительно тупеем...»
 Сосед ушел, бутылка осталась.
 Не память, блин, а решето.
А то еще, еще а то –
 Они Москву развалят малость.
 Их сколько тут – с любых дорог,
 Осколков всяческих эпох.

* * *

Командами, прослойками, слоями
 Землячествами, нациями, что ль,
 Они в Москве как комары на знамя.
 - «А нам куда, России – боль и голь?
 - «А вам туда не надо» – «Как не надо?»
 Мы – россияне, русские – и... и?..»
 - «Вот видишь и слова забыл свои,
 А тут тебе не румба уж – ламбада!
 Крутиться надо из-за винограда.
 А не как вы – за яблоко из сада.
 Нам яблоки из Чили привезут,
 А ваши нежелательны и тут». -

Так думал наш герой Арсений,
 Не глос его провинциальный гений.

* * *

Пронзил Москву и вдоль, и поперек
 За всех своих друзей и земляков.
 И было Чигриневу невдомек,
 Кому ж тогда брэнчания оков,
 А не брэнчанье струн – не Бела Кун,
 Чтоб выше партячейки подниматься,
 Одновременно где-то и сниматься, -
 Фотогеничен, богоносен, юн...
 Так вот, те самые прослойки
 Давили на слои, а те слои
 На все пружины прочие свои.
 И было все о'кей до перестройки.
 А мы о «фамусовском обществе» каком-то.
 У нас все есть, хотя бы для экспромта.

* * *

Вернее, э.. э-э... «экс-пери-мента»...
 Едва сказал, а мог бы не сказать
 По случаю серьезности момента,
 Чтоб не дай Бог кого-то оболгать.
 Арсений те прослойки обошел –
 Одесские, орловские, другие,
 Хрущевские, громыковские выи, -
 И понял: плохо-то, что хорошо...
 Когда ты принял и «ишшо»...
 Сказал и – вспомнил Блоха,
 Одесская эпоха...
 Однако попадай всегда в струю.
 В нее – физиономию сую,
 С недосоображеньем – из нее,
 Уж лучше «реноме» сберечь свое.

...Острить потом, а то за диалоги
 Не шавки покусаят – доги.

* * *

Хоть смелость не из главных качеств,
 Но все ж одно другому рознь.
 По горизонту – небо в клетку плачет,
 По вертикали – росы плачут врозь.
 Земля и небо – связка из креста,
 В крестоподобных линиях скрижали
 За вечность столько нарожали,
 Что чаще зло, чем Красота.
 Москва искажена в какой-то месяц –
 По митингам, по партиям, по планам
 Раздроблено все, лезет из кассетниц.
 Газеты, как грибы в лукошке драном...
 И все ж не то, что было в ней тогда,
 Подвыдохлись бежавшие сюда.

* * *

В поток тот бурный ранее войдя,
 Арсений поберег свой микромир,
 Как и когда-то, дух переведа
 В подзвездный, населенный им эфир.
 Пора бы ухватиться и за «Бесы».
 И князь Ставрогин – циник, супермен –
 Уж поднимался из него – взамен,
 Блин, не преувеличивая стрессы.
 Опять тянуло в митинговость улиц,
 Врубить словечко, врезать режиссеру.
 Когда из киностудии вернулись,
 Хотелось соответствовать Григору...
 Уж не любовь, не грусть и не печаль,
 А Гриши вдруг не стало жаль...

* * *

Вот тут Бобры и подъявились!
Да к стенке душу – до упору.
И «бесы» все перебесились,
Жди – «ангелы» полезут в гору.
Какие славные минуты
Нам в жизни все-таки даны!
Переступаем через пути,
Предотвращаем шаг вины.
Какой Ставрогин, если «бесы»
Лишь днем покинули его!..
И от артиста – ничего,
И от «бобра»- ничто, провесы.
Его вчера зверел Ставрогин,
Да так, что оскорблялись Боги.

* * *

Но не бывают пусты строки.
В воображении его –
Опять же Вася Одинокый –
«Один за всех и все за одного».
В его руках – и та гитара,
В его губах – и те слова.
Совсем ведь, кажется, не старый,
А как кружится голова.
Как забирают снова муки!
Как Дача та опять поет,
Как сам за Васю он живет,
Накладывая на струны руки.
Бобры! (Побудем же, артисты).
Добры! (Послушаем без свиста).

«МОЙ ХУТОРОК»

(песня Арсения)

«Дом мой деревенский,
 Хуторок в степи.
 Мать меня встречает,
 Выйдя за порог.
 Дай-ка обниму тебя
 Крепче, потерпи!
 Как и мне терпелось,
 Как и терпит Бог.
 Мама, моя мама!
 Сгорбленные плечи.
 Скорбная, святая –
 Век меня ждала.
 А теперь уж вечер,
 И заплакать нечем.
 Хуторок мой, мать моя –
 В черном, да бела.
 Городского счастьяца
 Вдоволь нахлебались.
 Детям вашим лихо там,
 Тут вам – матерям.
 В жизни одинокой нам
 Только и остались,
 Слава Богу, мамы вы,
 Эх, да по хуторкам!»

84.

Скончал певец! Один: «Не надо».
 Другой: «Нет, надо! Мне и всем».
 Арсений: «Не нужна награда.
 Я отражен! Всего не съем!»
 В театре всякие артисты –

Коллеги Сенины, друзья –
 Разбились надвое, с кем я –
 Уж и не знаю, пень дуплистый.
 Не знаю с кем, но – с Одиноким.
 Конечно, с Дачей, но – с какой?
 С самим собой, да с дном глубоким,
 Да с перевязанной рукой.
 О песне – «балаган»! – сказали. –
 Мы все ж театр не трали-вали.

* * *

- Не трали-вали – это да,
 Академический! – Едва ли.
 - Мы ставим кляксу, где звезда
 Затерта вами на медали.
 Вот как медальку подсвежить?
 Как жизнь вдохнуть в ее круги?
 - Пардон, поменьше, Сеня, лги!
 Пока живется, стоит жить.
 Долой прогнившие подмости!
 Покинем рамп вчерашний свет!
 Да, словно юноши, подростки -
 По электричкам, безднам бед,
 Клоакам, чревама Парижа
 Вперед к народу, к людям ближе!..

* * *

Опять в своем репертуаре!
 Когда таким еще бывал?
 С Григором оказавшись в паре,
 Арсений слово оборвал.
 - Идем ко мне! – поднялся Жуков. –
 Ты – Рокоссовский. Ну хорош!
 - Спасибо, Маршал!
 Дай на лопатки положу-ка.

- Кого – меня?

- Ну а кого ж?

Не Маршала же из народа!

Тебя, Григорий, друг мой Гриша.

Ты эталон своего рода,

Ты – корифей! И топай выше.

А мы с гитарой разберемся.

Главреж: - Так что? В театре остаемся?

* * *

Иль «викинштейн»? Мы все ж элита.

Не дно мы, че нам, не бомжи...

- А ваша карта, Герман, бита.

«На дне» и то не рубежи!

И «Дна» не взять, не те бомжи!

- Не выражайтесь круто, Сатин.

Но «дно» есть «дно», – сказал Главреж.

А Чигринев: - Не мерил, кстати!

Пока секу и «за» и «меж...»

Вот так поговорили на совете -

По перспективам, по душам. А в кадре –

«Театр у нас да лучше всех на свете!

Особо из классических, о падре»...

А все ж за то, что спорил, ишь, до мыла,

Элита Сеню чуточку любила.

* * *

- Не будем же менять мы направленье,

Из-за того, что песню кто-то спел!

Хватает нам соображалки, Сеня, -

Кто за народ, а кто за беспредел.

Мы этого позволить не дозволим!

И этого позволить не позволим!

И это вам не вечер в сельской школе!!

- И не «капустник», кажется, тем боле?

- Да, не «капустник»! Но и нас «капуста»

Когда-то родила...

- О мама миа! Чтоб ей было пусто!..

Да мало ли, что ты из-под Орла.

Мы гнезда не такие разоряли!

Так с кем ты, по какую ось медали?

85.

- Для ритма так сказали – «ось»!

Ошиблись, а признаться не хотите?

- Да знаем, знаем! Мы не Нефертити!

И ты не Соломон уже... небось...

- Я песню песней – снова воспою!

Я в голос голос – песнею волью!

Я жизнь на песни – разобью мою!

Я те осколки – песнями залью!

Из тех осколков – жизнь соединю,

И эту жизнь, в свое вгоняя сердце,

Отдам себя – пегасному коню,

Возьму бутылъ – и вынесу на «сенцы»...

- Валяй-валяй, уговорить не смог, -

Романтик, беллетрист и де-ма-гог!..

* * *

Вернулся Чигринев к себе домой.

Всего шатает – трезв, а будто спьяну.

Наговорил черт знает, как зимой,

Тут одному... седому капитану...

Который нас пасет, как бык овец,

Дабы не разбрелись мы все вконец.

Чтоб линию известную держали,

Чтоб сдуру за кордон не убежали,

А умные – вообще бы знали грань,

А мудрые – и вовсе ничего,

А чтили б капитана одного,

Да зал не позволяет, всяка дрянь...
 Вот так в артисте каждом до сих пор
 Сидит «железный Феликс», режиссер.

* * *

И взял гитарку опосля того
 Да и в приливе искаженных чувств
 Побрел, чтобы забыться от всего,
 Куда и я за ним уж следом мчусь.
 Как черт сердит, весь полнится словами,
 Как кровью истекая на помосте,
 Явился он сюда, сыночек мамин, -
 В народ, в толпу, на автоперекресте.
 «... в жизни одинокой нам
 Только и остались,
 Слава Богу, мамы вы,
 Эх, да по хуторкам»...
 И девушка к нему вдруг подбежала: «Ты!...»
 И, не найдя слов, кинула цветы.

* * *

Так и пошел он по московским сценам –
 По паркам, площадям, грузовикам.
 Подобно Юлианам, Авиценнам –
 По всем эпохам сразу и векам.
 Про Дачу Одинокую все пел,
 А сам искал глазами одиноких,
 Таких же, как и сам, в любви, в пороке,
 Какой по-молодому беспредел!
 Неужто тот, с гитарой, - под забором ?
 Уже погиб – о друг мой, о мой Бог?!
 - Василий, где ты?
 Тут же люди хором:
 - Василий – Вася – Василек!!
 А людям – верь.

Огромные, лосиные глаза!
Из них, качаясь, капала слеза.

* * *

И только раз за те недели
Ему вдруг захотелось жить.
Мария! Ты ли, в самом деле?!
То призрак! Плонуть и забыть.
Листва спадала на златые плечи,
А по плечам – златые купола,
По куполам – надежды, грезы, вечер.
И удила! И- удила!
Боюсь сорваться снова от любви,
В синяевских туманах заблудиться.
Ужель она? Зови ее, зови –
Оригиналы, истинные лица.
«Я все отдал бы, кажется, за то,
Чтобы явилась... В простеньком пальто...

86.

Неужто все-таки Мария?
Как будто рядом Чигринево тут.
О, Небо! Чем ни озари я,
Все звезды жарче, звездный пересуд.
Шумят, как рой, шумят себе, как улей,
Бобры мои, встревоженная Русь.
А что смогу я, вообще, смогу ли,
Когда в такие воды окунуть?» -
Так думал наш герой Арсений,
Когда Марию увидал.
Да и Марию ль Бог подал
Ему из этих дней осенних?
Вот он кого теперь искал
В любой из женщин, где бывал.

* * *

Взглянет на русую какую,
 А очертания – ее,
 Слагают песню вековую,
 Да все ему она свое.
 И лик Мариин, и желанья,
 Всепобеждающая боль –
 Все о Бобрах воспоминанья,
 Все про нее, Марию, что ль?
 Возьмет листок – живые строчки
 Глядят сюда ее глазами.
 И, издеваясь, тают сами,
 Доводят лирику до точки.
 В такой-то час, в такие дни
 Все темным делают они.

* * *

Но вот опять тот лик ее!
 На рынке где-то, в магазине,
 В метро, в толпе; опять свое-
 Как и тогда, в Бобрах, в долине.
 Она преследует его!
 Идет в затылок, по пятам!
 Она и здесь, и тут, и там!
 А он уехал от всего.
 И все ж, ее увидев вновь,
 Захотел всему на свете.
 И это, скажете, любовь?
 Что ж почерк слаб и незаметен?
 Дай Бог, прорежутся стихи,
 Тем и заплатим за грехи.

* * *

Она пришла, и это явь.
 Она сама к нему явилась.

- Я здесь на курсах... в брод и вплавь
 Пришла к тебе... - Скажи на милость!..
 И он не знает, что сказать.
 Чем на слова ее ответить:
 Что Маша – луч ему при свете?
 Банально. Лучше помолчать.
 - Я за тобой везде ходила.
 Я про себя тебя звала...
 - «Все это было, было, было...
 Зачем ты тут? Цветок села...
 Ты там лишь, боже, хороша.
 А тут на кой твоя душа».

87.

- Прости, прости меня, Мария!
 - За что? – Мелькнуло о тебе.
 - Ты искрен... что ни говори я ...
 А одеяло всяк себе.
 - Зачем ты так? Пойдем ко мне.
 К тебе нельзя, я это знаю.
 Вот подойдем сейчас к трамваю...
 Метро на этой стороне.
 И там, от Киевского, с краю
 Гостиничка, где я живу... -
 Они в исканьях – ближе к раю –
 Исколесили всю Москву.
 Об этом, право, не жалели.
 Быть вместе – счастье, в самом деле.

* * *

А где со счастьем людям быть –
 Какая разница, ну где!
 Да хоть на кочке, хоть на бочке!
 Хоть на кувалде, на цветочке!
 На Марсе, в шахте, на Луне, -

Везде, везде,
 Где можно только быть – чтобы любить!
 Вот даже с круга сбился я,
 Из-за того пришел в волнение.
 Пишу и как бы сам грешу
 В живом своем воображенье.
 Когда б их жизнь не проживал –
 Не восходил, на дно не падал,
 Я сам себя бы презирал,
 А так живу, и сердце радо.
 Ну, наконец-то, рядом, вместе!
 Он к ней пришел, своей невесте.

* * *

Они в звездах – обручены,
 Лежать в цветах – обречены
 Любить сегодня, ближе к раю,
 К дороге, к энному трамваю.
 Трамваи энные в Москве
 Выходят кое-где к траве,
 К окраинам пустым, заштатным,
 А что и надо нам, понятно.
 Свиданье! Да еще в столице!
 Как все в реальность воплотиться
 Могло-могло... могло-могло?..
 Свиданье днем – когда светло...
 Кушетка – лом, как из-под танка,
 Да ведь мадам не иностранка.

* * *

Мы слишком к этому привыкли,
 Катилось долгонько на том,
 Что нами можно, как скотом,
 Манипулировать; артикли,
 Играя всяко, расставлять,

Где как хотят да как придется;
 Держать в болотце, как в колодце,
 Как сельди, в бочки набивать.
 Как вечер- бары закрывать,
 Как утро – пить, как ночь – так жрать...
 Сказать по правде – мы такие!
 Читал недавно «От Луки» я,

* * *

Так там... да то же, что у нас.
 Вот только позабыл про «квас»,
 Про «печку русскую», про нас,
 Все остальное – в другой раз.
 Про «медовуху» из гостиниц,
 Какую пьем не из криниц,
 Особо – для известных лиц,
 Как Борман, например, иль Штирлиц.
 Для них сии апартаменты –
 Для встреч, для разных конспираций,
 Для дней эфирных, волн и раций
 Как раз в любовные моменты...
 Кругом – агенты! Сверхдержавы
 Еще не выдохлись, шалавы!

88.

«Ну не читать же ей стихи
 В ее же собственной постели?
 Ну что мы, кто мы, в самом деле,
 Что ль, не способны на грехи?
 Да, мы лихи! Коль нас потребует и он
 К священной жертве – Аполлон!» -
 Так думал Сенечка, снимая
 С нее одежд на полтрамвая.
 На остальную половину
 С себя он снял, раскрыл ей спину...

И тут забарабанил дождь,
И отключился где-то вождь.

* * *

Но, право, к месту ль тут стихи –
Вождями прикрывать грехи?
Она из деревенской сумки,
Вытягивая слюни-слюнки,
Цыпленка – куру достает...
Бывало, среди брачной ночи,
Когда так кушать «хоцца», очень,
В постель мать куру подает.
Таков обычай прежний русский.
А может быть, и андалузский,
Немецкий, английский, французский –
Круг-то широк, да вход – то узкий.
Так, понимаешь, и живем:
Берем, смеемся и – кладем.
Ох, эти цены, цены, цены!
Смешные сцены...

* * *

Какие русские картины!
Как иностранен в них акцент!
Столица все же, тут едины
Валюты, доллар – инструмент.
С нее б зарплаты две сорвали,
Но он как истинный джентльмен
Взлетел над паритетом цен
И – заплатил им, трали-вали!
Стихи читались уж в пути –
На остановке и в трамвае...
Но где-то, мать твою яти! –
Опять как забивали «сваи».
Все строим... яблоко раздора.

* * *

«Мария – мать, а дед – Иосиф!
Как божий сын, как сын любви
Я – под защитой, когда косит
Вaal ристалица свои.
Люблю погоду к сентябрю,
И знаю я свою мессию.
Пришел, сюда и говорю,
Пою свободную Россию!
Не ту анархию, которой
Мы сыты, кажется, по горло,
А ту Свободу с Верой – в скорый
Наш пиитет, а то нас жерла
Съедят, втянув в свои провалы;
С Надеждой верую, стою
За дух, за дом, за нашу Русь!
Святую троицу мою!
Свети же ты, моя звезда,
На наши села, города!
На гребне осени порой –
Посередине увяданья,
Когда нам журавлиный строй
Уж отрыдал свои рыдания.
Когда в прудах с утра стекло,
А в речке бег струи – струисто.
Когда, что можно, то стекло –
И целомудренно, и чисто.
Когда в подзвездной тишине
Луна седа, сквозит ракета, -
Люблю тебя в своей стране,
Мое разбитое корыто!...»

* * *

Они гуляли по прудам,
Верней, по целому каскаду.

Село Степановское... там
 Был где-то корпус тот... ограду
 Вдвоем они пересекли
 И, не пугаясь даже рака,
 В свинцовых зарослях барака
 Суровый «Корпус» перечли...
 Не взят был раком тот «артист»,
 Что, умираючи сто крат,
 Себя кладя под обелиск,
 Вставал и бил Хрущева в набат.
 О вы, сады Семирамиды!
 Висячи ветви, пошлы эгиды.

* * *

Коровку баба стерегла,
 К ней подошли, поговорили.
 Да, Господи, как тут и были!..
 И – молочка им налила.
 Они испили, как свое –
 И запах тот, коровой пахнет.
 Он не Кашей, над ним не чахнет.
 - Что вы – что вы? Что вы – что вы?! -
 Хозяйка даже чуть в обиде.
 - Ну будьте, матушка, здоровы!
 И вами дети, и – коровы.

89.

Она уехала в Бобры,
 К себе вернулась – в Чигринево.
 А тут опять столы, пиры.
 И тризны. сцены, муки слова.
 Да что они! Дались им «Бесы»!
 - Не вы, так кто-нибудь другой.
 - Я хоть дублером... - Дорогой!
 Ведь не резиновые псы.

- Конечно, это понимаем.
- Есть «Мерседес», а мы – траваем...
- Да на окраину к себе,
- Где молочка нальют тебе...
- О Гамлет, наш!
- Что – едет крыша?
- Другой вам путь, другая ниша.

* * *

- А Гриша, Гриша, Гриша?..
- Что Гриша?
- Ему какая будет крыша?
- «Не Гри... не кры... способный Гриша!»
- Все разговоры в пользу бедных...
- Вот режиссер, из самых вредных!...
- И вновь «покой нам только снится!»
- Порою хочется сбеситься,
- С гитарой звонкой, что ли, слиться,
- К фигуре женской прислониться?
- Святое пьем! О, где ты, наша
- Неупиваемая чаша?..
- И тут Арсений, наш герой,
- Дал заявленье на отбой.
- По собственному, в общем, н-да...
- Из той «элиты» и сюда...

* * *

А никуда! В народ. Где массы
 И распевают свои «квасы».
 И просто так, без средств, живут.
 Когда не сеют и не жнут.
 Опять те сцены, но – за деньги.
 Лишь в администрации чины,
 Под восхищенье Сатаны,
 Чеканя доллары и пфеннинги,

Способны мнить, что соловьи
 Петь могут так себе, без корма.
 И это – норма! Такие б нормы
 Им – в бюрократии свои!
 Так пойте ж, вейте, соловьи,
 И на Покров венки свои!

* * *

В Сокольниках – как под тиарой.
 С гитарой – как на спортплощадке.
 Он спел романс какой-то старый.
 Аплодисменты жидки, кратки.
 Подсел типунчик: «Мы – землячество,
 Готовы уделить вниманье».
 Чиновник мелкий – хитрованье,
 Полуприкрытое дялчество.
 И вдруг исчез. Как сновиденье.
 И тут старушка подошла,
 За локоток его взяла,
 Благодаря за появленье.
 Но, что, конечно, интересно,
 Землячкой, точно, оказалась.
 Из той же области известной
 И неизвестной тоже малость.
 - Я слышала вас в Чигринево.
 Вас, милый, слушать рада снова...

* * *

Повспоминали. Повздыхали.
 В первопрестольной - земляки!
 На ее бывшие медали
 Сквозило чуть с Москвы-реки,
 Худое разгоняли ветры.
 И солнце всполыхнуло. Светло
 Ему вдруг стало. Километры

Перелетели – позвало
 К себе в Бобры! В края родные,
 Где ты родился, где ты жив!
 Дыханье новое открыв –
 Туда, в места твои святые!
 «Побуду дольше», - он решил
 И собираться заспешил.

90.

Одна из основных свобод –
 Куда хочу, туда лечу.
 А не торчу, как обормот,
 В саду ножи свои точу.
 В кого хочу, в того мечу,
 Хоть звезды мысленно качу,
А то торчу! Пока свечу
 Тут не задуло... я молчу...
 Пускай Арсений скажет больше,
 Что с мотивацией его, -
 Как с той же грацией? – Где?-В Польше.
 Где то огонь, а то... чего?...
 Кто, значит, в НАТО, кто из НАТО,
 Как сидоровых коз, ребята,

* * *

Гоняют всех нас! Как солдата,
 Тут в этом мире, что у нас.
 Он, весь проблемами объятый,
 Давно ли хоть не в бровь, а в глаз?
 Открыто выразилась Тэтчер,
 Что «дыры черные» в эфире
 Опасны в общем нашем клире.
 Собрать хурал, парламент, вече,
 Сказать бы: «Что ж ты, человеце,
 Себя расходуешь на что?!

Когда озон не обеспечен
Его уж лет всего на сто...
Примите меры, кавалеры!
Не разрушайте биосферы!»

* * *

Жить в мире – рвения благие.
Чуть что – по челюсти, война.
Глядишь – уж втянута страна,
За нею следом и другие.
Кто скажет, наглый от вина,
Поэзия уж не нужна,
Я на дуэль... того, как Пушкин...
Сиди, вари свои пампушки!
Копи деньгу и пей компот,
И не ропщи на время оно,
Чтобы со всех земных широт
В миры не вырвались «озоны»!
Шекспир недаром сцену, зал
Набором истин выражал.

* * *

«Вон из столиц! Да поживее!
Нужнее там я, где творю!
Москва! За все благодарю:
За наш альянс, за португую,
Я тут, мне кажется, тупею.
Пора опять в родные доли,
В свои зеленые поля,
Где опустился, невеселый
Шафран, свиреля и сверля.
Я рассказать про то сумею,
Меня услышит вся Земля.
А жить, как тут, всегда успею –
Довольно кротко, не соля!» –

Так думал наш герой Арсений,
Спеша к себе в родные сени.

* * *

Опять-опять назад-назад.
Он мчится в полной электричке –
«Бобрам», народу друг и брат,
А не артист тут на «подтычке»!
Какие редкие минуты
Нам просветления даны.
Как мир замызган и запутан,
Как все интриги сращены.
А мы порой слепы и горды
И как жестоко все над всем,
И Сатана наш черномордый,
Хоть светлорож, да не совсем,
За нашим гербом в две главы
Следит отсюда, из Москвы.

РОССИЯ – РУСЬ, ПРОВИНЦИЯ...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

91.

В театр зашел свой попрощаться,
Наговорил там кучу слов.
Прощая всех – как бы попрощаться
С собой, труднейшей из основ.
Нет зла на сцену, на коллег,
Они же слабенькие люди.
Не всяк, конечно, на верблюде,
Но кто-то едет и на всех.
Имеет вроде бы успех:
Лауреатства, позы, званья.

Как далеко им до призванья,
 Таким – презрение и смех!..
 Арсений! Не терзайся, милый,
 Живи, свободный и счастливый!

* * *

Прощай, Москва! Прощай, театр!
 Прощай, двуличная столичность!
 Добро первично, говорят,
 А Зло? На то и артистичность,
 Чтоб оказаться среди масс.
 Не зря он, как Ален Делон, -
 Премьер любви, «халиф на час»,
 За ампула такое он,
 Не зря в портреты помещен,
 Еще когда был молодым.
 Но тает шарм, уходит дым,
 И вот теперь уж даже он,
 О бедный Йорик! Кто ты, кто?
 Да просто Хлестаков... в манто...

* * *

Ничем себя не отличая,
 Он должен слиться, среди всех
 Подраствориться, примечая:
 От настроенья масс – успех.
 А настроение – как мы,
 Как я, как он – диктат толпы.
 На что поделать – средь зимы
 Мороз диктует, мы стопы
 Лишь направляем, курс – у них.
 Вот постарел и режиссер.
 Остановись, прекрасный миг!
 А миг летит, и жизнь смеется.
 Смеяться – вот что остается!

* * *

Толпа в народной электричке!
 Как ловко села, не видна.
 Хлопок дверьми – в крыло синичке,
 Лети за окнами, страна!..
 Напротив муж из-под баула,
 Припер еще бы сундуки!
 А рядом кто-то ест – акула:
 Колбасы, сельдь и пирожки,
 Котлеты, яйца, хрен с полено,
 С десяток огурцов, пирог...
 (Не смотрит, кто б ему помог,
 А сам справляется отменно).
 Еще пиво и газ-вода,
 Что выпускают города.

* * *

И продают нам... ну и ну...
 Еще коньяк... Как замуруют
 Тебя в кремлевскую стену,
 Тогда узнаешь – аппетиты
 Даются тоже ведь не зря.
 Попробуй съесть, не разоря,
 Гнездо дворянское, софиты,
 Репертуар, России пол,
 А остальное – возьмь зарыть,
 Как кто-то там теперь футбол,
 Хоккей, права, родную выть,
 А также русские таланты.
 Мы не какие-то атланты

92.

И даже не кариатиды,
 Чтоб дом дворцовый содержать
 И всю – до самой до Тавриды –

Бюрократию ублажать...
 Да, значит, так. Еще он ел –
 Все тюрьмы, где сидят все стоя,
 Театры – сини от запоя,
 А также дачи, беспредел.
 И Госкино, и гостеррор...
 А что бы ты еще хотел?
 (И СМИ, и драп, и коленкор),
 Что б муж еще – акула – съел?
 И это все ведь не в буфете, -
 Частично тут, на этом свете,
 Когда страна, как на диете,
 Вот что едят они, заметим,
 Бюрократические сети!

* * *

«А книжку, скажете, купить –
 Так черта с два («еще налить?»)
 Без книг – она, моя страна,
 На темноту обречена.
 Ну что там где-то по киоскам –
 Жевнул два раза тот «акула»,
 И стало плоско,
 Пусто «стуло»». -
 Не автор так – Арсений думал.
 Так, значит, будут говорить.
 Лет через пять. Хоть в ОРТ
 Уже сейчас такое скажут!
 Так узел свяжут и развяжут –
 Не обойтись без «каратэ»...
 И вдарил кто-то там по струнам –
 Арсений вздрогнул: «Ну, фортуна!»

* * *

А нет! Не Дача Одинокая.
 Таланты – редки, где их взять?
 А кто-то должен и для Нокиа
 (Есть город финский) тут играть.
 Сыграть решился на гитаре,
 Да на фальцете, весь в спирту,
 Так был фальшив и так бездарен,
 Так ноту выдавал не ту,
 Что вот не выдержал Арсений,
 Открыл футлярчик – акт свободы
 И для спасения народа,
 Как и для прочих всех спасений,
 Врубил «а ля тари-верды!»
 Таривердиев был; беды

* * *

Особой нет, что он и тут,
 И вроде там. Мужик ниче,
 Писал прилично; Карел Гут
 Его б из многих предпочел.
 Как быстро мы врастаем в схемы,
 Какие создают для нас.
 Вот и Арсений эти темы
 Поднять хотел в который раз,
 Но все ж себя окоротил,
 Припомнил Дачу Одинокую:
 Не ерничал ведь, а любил!
 Себя, Россию, город Нокию.
 Коль при таланте остаешься,
 К ним за границу не попрешься.
 Вот тут-то нас и набивают,
 Мы посередке, как селедки, -
 Не на «трамвае!»

* * *

И он запел про ясны очи,
 Про очи девицы-души.
 Про ночку – темную не очень,
 Нам и такие хороши!
 Нам все свое тут, все родное.
 Снимает песня наша стресс.
 И одиночество хмельное
 К нам повышает интерес.
 Про нашу дачу одинокую –
 Суглинок требует навоза,
 А это явная угроза –
 Бюджету щель не рой глубокую...
 Вот так и мчит на электричке
 Народ в свои «анатомички».

93.

Арсений порывался также
 И свой «Большак» изобразить.
 Но не пора ли погодить?
 - Сойдемся, брат, еще?
 - А як же?...
 Тот вышел на Черни – вдвоем,
 А мы сойдем уже во Мценске.
 Тут вот у нас автобус сельский
 И автостанция при нем.
 Такая красота! По лужам,
 Что в «Ревизоре» – посередке
 И растянулись две молодки,
 Одной никто уже не нужен...
 Как, значит, ездили и ездим,
 И будем ездить. И не охай!
 Гордись эпохой.
 - Хотя бы так бы...
 - А в морду съездим!..

«Пенсионеры, как шакалы.
 Все льготы вам? Мы вас проручим!
 Сгоняем в кучи; все вам мало?
 Ах, не Освенцим?... круче, круче-е...»
 Вот где народ наш силу копит
 И Маркса чтит за «Капитал».
 Тут призрак влез в автовокзал
 Да и побрел по всей Европе...
 Арсений тоже побродил
 (Свободно как) – и все забыл.

* * *

Плохое помнится неважно,
 Подзабывается слегка.
 Арсений начал жизнь отважно,
 Но за спиной чужой пока.
 Бывало, прашуры певали,
 Баян на гусях выдавал.
 И ты, конечно, слушал в зале,
 Но душу им не продавал.
 Ну пошумели при посадке
 Да и забыли все до Дач.
 Пока народ не вышел вскачь,
 Ударим в струны, будем кратки.
 Про осознание вины
 Да с той – обратной стороны.

«НА БОЛЬШАКЕ»

(песня Арсения)

«На большак он выбежал, не успел на рейсовый.
 Телеграмма медиков жжется, как металл.
 И машины мимочки – с шлейфами и пейсами,
 Прет в голодный город частный капитал.
 Курочки в багажничке, бульбочка в мешочке,
 Яблочки, соленья – сельские дары.

Он рукою машет им, уж дошел до точки,
 Да все мимо-мимочки сэры и сэры.
 Он уж чуть не пляшет, аж поет и плачет.
 Жезл бы милицейский – полосатый жезл.
 А ведь не чеченцы, а ведь это наши!
 Так плюют на бюст вам и на всякий жест.
 Вот вам и деревня. Вот дары природы.
 Вот вам этот парень. И – в гробину мать!
 В этот миг в больнице, в знак плохой погоды,
 Отчитался батя... че там вспоминать»...

* * *

Загудел автобус, загалдели пчелы.
 Осень же, а, тоже мне, растревожен рой!
 - Это же про Васю... тут у нас – Моченый...
 Русские «киргизы»... под Косой горой...
 Так все и сидели. Слушали, глядели
 Друг на друга, что ли, истина с лица.
 Все и пожалели (а чего б хотели?)
 Батю одинокого, Васина отца.

94.

А вот и милые Бобры!
 А вот и мама, наша мама!..
 Поют по радио «Сябры»,
 Стоит «Самсунг» на улье прямо.
 Когда-то за «Самсунг» в обед
 На круг давали десять лет.
 Когда на той же на «Спидоле»
 Срезали волны. «В нашей воле
 Тебя презреньем наказать»...
 - Ну, как оно у нас тут, мать?
 - Да так, как видишь... ничего.
 Сынок, я рада...
 - Во! Во! Во!

Вот я и тут, - вздохнул Арсений. –
Там комарье – ну нет спасенья!

* * *

- Где, на Москве?
 - Ну да, а где же?
- Вообще везде. Вот развелось!
- Наверно, покривилась ось.
 - Где?
 - Ну Земли. Все оси, межи...
 - Что?
 - Да оси на телеге.
 - И у кого же, у кого?
 - У дяди Пети твоего.

Он молоко теперь... на Неге...

- Молокосборщик, что ль? А Нега –

Его лошадка, е-мое?

- Какой дотошный! Печенега.

Кобылка – сократил ее...

...Так хороша родная речь!

Сказал, услышал – горы с плеч.

* * *

Прошел по саду. Вот амшаник.

Вот тут сидел. Вот тут читал.

Тут разговаривал с мышами,

А там с чертями воевал.

С такими крысами, какие

В подвалах паутину мнут.

Вот дыры. Кирпичи толкут,

Стекло в дыру, - они такие.

Подумал о своей Марии

И – убежал к березам, в лес.

Здесь и попутал его бес,

Пан - бог лесной – «кораллы», «мрии» -

Мечты на розовых губах,
Где целовались с нею – ах!...

«ФОНДО»

«Поэзия – где-то такие крыла.
Свободна, светла и легка –
Течет и течет, сквозь меня протекла
Как музыка, как река.
Поэзия – где-то такие слова.
Почти бестелесны, пока
Течет и течет; такова, такова
И музыка, и река.
Поэзия – где-то была не была.
Едва уловила рука.
Течет и течет, сквозь меня протекла
Вся музыка, вся река.
Течет и течет, сквозь меня протекла,
Как Музыка, как Облака».

* * *

Уж далеки и те картины,
А будут ветхими когда-то.
Когда пойдем по крупным датам,
Тогда и вспомним паутины,
Какие жизнь оборвала...
Валун! Все тут же, бокогрей.
Земля расколется скорей,
Чем ты содвигнешься. – «Была!» –
Ее слова, листок дубовый
На месте том, где и всегда.
Не вспоминайте города,
Когда в деревне смерти, вдовы...
Уж ей с автобуса сказали,
Что он приехал... «Ждем, как ждали»...

* * *

Не молодая, а как птичка.
 Как и когда-то, как бывало.
 Упала тут же рукавичка,
 Не подняла, а рядом встала
 И прямо Сенечке – в глаза,
 Они опять помолодели.
 И, в самом деле, в самом деле,
 Октябрь, а, кажется, гроза.
 Еще тепло, и лист витает,
 Ложится ей на воротник.
 А он к глазам ее приник
 Да и от глаз не отникает.
 И видит в них себя она,
 Нетерпелива и – одна.

95.

- Ну как живешь?
 - Да регулярно.
 - Все с ним?
 - А это как сказать.
 - Вон барсуки и те попарно
 В лес отправляются гулять.
 Как и положено, - директор.
 И он свой выключил детектор
 И к ней, к губам, свою сутулость...
 Так и стояли – «слышь, осу?» –
 Держал Марию навесу,
 Она висеть была и рада
 На шее – это ей награда.
 За все что есть, за все что было.
 Когда и любит, и любила.

* * *

Какие сны, какие страсти!
 Не искусить их. А купить
 Не хватит денег и у власти,
 Хоть и печатай высшей масти,
 Хоть каждый день,большие тонны.
 А строки все же поэтичны,
 - А вы, мон шер, еще столичны?
 Или уже и нет, и да?
 - Не вспоминаю города.
 Особо те, где у трамвая
 Растет зеленая трава,
 Нам и сейчас напоминая
 Из прошлой осени слова...
 - А я, - сказала вдруг она, -
 Совсем другим увлечена.

* * *

- Увлечена, скажи на милость!
 Чего ж сама сюда явилась?
 - А ты не искренен, лука, -
 Прицелкнула она слегка. –
 Тебе одно лишь на уме.
 А я борюсь... - За что в борьбе?
 - Да будь само – все по себе,
 Нас в школе было б...
 - Два в уме.
 - ...уж было б двадцать, как в романе.
 - Вот сколько было бы детей.
 Зимой мы запрягаем сани...
 - Аэросани? – Ну! Без запчастей.
 - Как твой язык, но без костей?
 Телеэкрэн – без новостей?

* * *

- И вот уже за шестьдесят –
 По классам у меня ребят!
 И я ... и я ... да чем могла,
 Народу тоже помогла.
 Бросала ключ – переселять,
 Дома построить, всех сзывать...
 - И что?
 - Как видишь, планы вздорны.
 «Славянские, однако, корни»!..
 Мы все же кой-чего добились.
 Из СНГ переселились...
 Включай силенки и свои.
 Ведь эти земли...

* * *

- Холуи!
 Нам землю надо продавать,
 Тут инвестиции нужны,
 Всерьез вложения лишь подымут...
 - Не надо врать!
 Откуда брать –
 С чужого ветру, с дяди, с дыму?
 Мои детишки не сберкнижки,
 А синяки мои и шишки,
 Какие в школе получаю.
 Но эта жизнь моя... Скучаю,
 А как приду и – забываю...
 - Меня? – Арсений, слышь сюда,
 С тех дней, наверно, навсегда
 У того самого ... трамвая
 Звучат в транзисторе «Сябры»...
 - Какие странные миры!

* * *

Мария – бедная, несчастна?
 - Нет, я с тобою не согласна.
 Что нам столичная печать?
 Живем тут – нам и отвечать...
 Конфликт? Ну да, еще какой!
 Она махнула бы рукой,
 А он бы что сказал подруге?
 Но то уже не в этом круге.
 Что дальше? В книге будь второй.
 И будет день, и будет пища.
 А что пока? Чего мы ищем?
 Пока все тут, что под рукой.
 Развяжем «узелки» в скрижали,
 Дай Бог, чтоб эти не сбежали!

* * *

Взошла неверная Луна.
 Сказали:
 - Завтра праздник, люди!
 - Где? – Тут, в районе Валуна.
 Сойдутся, съедутся, придут.
 Большой, красивый будет той
 Под боком тут...
 - Постой, постой!
 - Чего ты, Сеня! Ты как маленький,
 Как этот вот цветочек аленький.
 В природе все оно при деле.
 И, значит, каждому – свое.
 Ты подходи...
 - К сельхозартели?
 Конечно, что-нибудь споем...
 Игра игрой – что наша жизнь?
 «До завтра!» – с тем и разошлись.

* * *

С обеда шум у Валуна.
 И голоса, и песни, хоры.
 И заходила сторона,
 Захороводились просторы.
 Гусей до речки – целый полк
 Прогнал мальчишка с хворостиней.
 Ух, лапы краснющие! Волк
 Их наблюдал за паутиной.
 Тут разорется баян,
 Частушки строчит балалайка.
 Там гость из сопредельных стран.
 Хлеб – соль. Радужная хозяйка -
 Она, Мария Чигрилева.
 - Не искушай меня, седого!

* * *

Седой, конечно, он – Арсений.
 Артист народный, из народа.
 Он в этой брэнности осенней,
 Как царь на палке, с огорода.
 В своей сатиновой поддевке
 И в плессированных штанах
 Цыган, и только – вот «размах!»
 Ему медведя б в той «тусовке»,
 И был бы полный антураж.
 - Маш, дашь или не дашь?
 - Чего, мой милый дурачок?
 - А по сто грамм на пяточок...
 Такие, в общем-то, картинки
 В Покров играют по старинке.

* * *

Поляна, яшень долгогрив.
 А к краю, вниз туда, - обрыв.

И так тут дышится легко,
 И так видать все далеко.
 Когда вошло да в самый пик,
 К «цыгану» рыжему пристали:
 - Спой, милый! покажи свой лик!
 Спой, чтобы все тебя видали...
 И кто-то сбегал за гитарой,
 Чего тут – вон они, Бобры!
 И все сходились – врозь и парой.
 Покров – старинные пиры.
 И он по струнам пальцы брось –
 По грифу кистью легкой, вкось.

«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»

(песня Арсения)

«Неупиваемая чаша», -
 Так называется родник,
 Откуда дух, вся сила наша
 И весь насквозь наш материк.
 Вся наша Русь в нее видна,
 А с ней и мы среди полей.
 В июне чаша холодна,
 А к Покрову так потеплей.
 Когда наклонись к ней чуть,
 Чтобы испить тут и свое,
 Глазами может отблеснуть
 И отражение твое.
 И Русь в ней вся отражена:
 Толстой, Тургенев, Бунин, Фет...
 Какая наша сторона!
 Какой нам от Богов привет!
 Слетит листок туда – на Русь
 И, золотой, не тонет, узкий.
 К нему губами прикоснусь
 Да и скажу: - Я тоже русский!»

* * *

Так и стоял он перед всеми
 Как покоритель всех сердец,
 Земляк их Чигринев Арсений,
 Артист их, русский красавец!
 Высок и рус, в глазах провалы,
 Своей глубинностью темны,
 Как будто бы ушли в подвалы
 И не вернулись. От Луны -
 Вся в бликах мистика волос.
 Да здравствуют певцы до слез!
 Какие плачут, стервецы,
 Когда бы надобно смеяться...
 Как хорошо-то пьется, братцы!

* * *

Ради такого мчатся тучи
 И стоит видеть слушать, жить.
 Народу своему служить,
 Все отдавать, чему научен.
 И хмари уходили с неба,
 И Солнце грянуло с утра.
 По правде – тут я с ними не был,
 А ведь бывал, кричал «ура»!
 Пою тебя, мой друг Арсений!
 Пою Марию, всех пою!
 Бобры, Россию, русский гений!
 И край свой, родину мою!
 Да не устану с ними петь
 В «подвалы» только б не слететь...

* * *

«Поззия где-то была не была,
 Едва уловила рука.
 Текут и текут, сквозь меня протекла

И музыка, и река».
 Денек на завтра разыгрался,
 Ух, да и тепел был денек!
 На ветке тоненькой качался
 Припаутиненный листок.
 На синем фоне – золотое,
 По золотому – синева.
 Шуршит листва – и все такое,
 И все таковские слова.
 Да здравствуют такие дни!
 Под Богом ходят и они.

* * *

Пришли какие-то германцы,
 Французов, финнов привели.
 Из Спасского, что ль, иностранцы,
 Фольклорный праздник – от земли.
 - Куплю я землю... тут и тама, -
 Сказала бабушка – клюка.
 Вся в буклях – Пиковая Дама, –
 Я ей владелица ве-ка!..
 Арсений, морщась: «Где-то видел?
 Ах, да, у Фета... лета быть».
 Мария подошла:
 - Забыла?
 - О чем?
 - О землях.
 - В этом виде?
 - Кто?
 - Ктокало. Она!!
 - Да была древняя одна...

* * *

«Поэзия – где-то такие крыла.
 Свободна, светла и легка,

Течет и течет, сквозь меня протекла,
 Как музыка, как река»
 Он пел еще бы и еще
 И выходил еще на «бис».
 Вприсядку «Русского», - а хоррошо-о-!!
 Народный все-таки артист!
 «Цагыночка» – да с выходом картинки.
 Под ним земля расколется, эх-ма!
 И Русь святая оглаголится, эх-да!
 «Живем на свете ррра-зик!
 Живем на ссве-ете-е»...
 А из-за дуба вылетел «уазик»,
 И ахнуло содружество:
 - Эх, да еще рразик!?!..

* * *

Все сорок тысяч братьев
 Так бы не ахнули, как «... ффше-е...»
 Гаврила бил ножом да по душе...
 Спасли! Закрыли! Выбросили!.. Кстати,
 Какая свадьба без кулачек, факт!
 - Нет, надо же, какой! Какая сволочь!..
 Опять Луна сменяла день на полночь,
 И чигриневский затихал большак.
 Поляна спит. Не дремлет лишь Валун.
 Набрался песен, нахватался рун.
 Вот все и переваривает, бдит.
 И, сам седой, на старину глядит.
 Какой сомнамбулический пейзаж!
 Из сколков ночи клеется коллаж.
 Трава примята. Поднимает камень
 Свои омраковенные глаза,
 А в них, а в них качается слеза:
 «Опять чуть не пролился пламень
 На травы, доли и на этой лес!

Все мучат нас то Пан, то призрак, бес.
 И так нас горсть»...
 И голову кладет
 Пан на плечо Арсению сюда;
 Через века, сны тяжкие ведет
 На лоно вод, жива вода...
 И он к Неупиваемой своей
 Ведет и пьет с колен, и пьет,
 Да и не может все никак напиться –
 Из чаши той, из той криницы,
 Где мой народ... и я ...
 Там пил и пил, и пью –
 Судьбу народа и мою.

* * *

«Натуры чисты, души шустры,
 Все жаждем праздников, вершин», –
 Так говорил не Заратустра –
 Василь Макарович Шукшин.
 Машины отбыли. И люди
 Ушли, разъехались, их нет.
 Опять пойдут труды и будни –
 Что есть на завтрак, на обед?
 Заломит зубы, взроет душу,
 Тоски прибавит всем баян.
 - Что наша жизнь? – А ты послушай,
 Как лес шумит, еще багрян.
 И в том багряном океане
 По плечи – в золоте, в бурьяне,

* * *

Непаханное – как на длани!
 А сколь веков над линией трудились,
 В поту, в быту не раз переменялись, -
 О поле-поле, поле брани!...

Весною оживают снова
 О линии мои, о длани, длани!
 Вялотекущие основы,
 Глубоки снега, мелки сани.
 Шумим шумим, орем-орем,
 А вышвырнут за окоем,
 Когда земля и мы не в форме, -
 Чего хотим? Кто нас накормит?» –

99.

Так думал кто? Не Заратустра,
 А Сеня, к Камню прислонясь.
 И хмель сошел, вчерашнею капустой
 Икалась, понимаешь, всяка мразь.
 Какую пил, какую ел,
 С кем и под что вчера сидел.
 Вот так оно у нас всегда, -
 Что села, то и города.
 А кабы пили русский квас,
 Так не болели бы сейчас.
 А то головушка одна
 И та не легче Валуна.
 А то ж наутро без вина
 Одной росой упоена.

* * *

А по траве сверкает Солнце.
 А с Солнцем просится денек.
 Ну ж погуляли! Два японца
 Спят до сих пор без задних ног.
 На то и праздники даны,
 Чтоб показать себя, работы.
 «Что ты – что ты, что ты – что-ты?
 Я – солдат девятой роты».
 Где ты, Гриша, друг мой милый?

Как театр? И как там без меня?
 Оседлаю борзого коня
 Да и махну туда, на вилы...
 Вот Есенин! По березкам плачет,
 А три дня побудет – в город скачет.

* * *

«- Мария, бедная Мария!
 Несешь, гляжу, такие ноши,
 Кладь неподъемную взяла...
 - Какой ты, Сеня, нехороший!
 Все б поперек всего Орла».
 Земля, конечно, - это жизнь,
 И за нее кому-то вломят.
 Об этом, что ль, в четвертом томе,
 Попробуй в первых разберись.
 Все стерпят умные скрижали.
 Дай Бог, чтоб бабушки рожали,
 Чтоб были с ними мы взаплот.
 А там наладится, пойдет.
 И хоть серпом, а хоть косой,
 Опять запахнет колбасой.

* * *

Однако – это разномыслие,
 Как диалог из кинолент.
 Еще зима, один момент –
 И встанем, как на нас ни висли бы!
 Сказал, как помнится, Белинский,
 Кольцова песни – то пойдут –
 Пронзят все веси, обоймут
 Да и подымут фон наш низкий.
 Звени с Кольцовым, Русь моя!
 С Есениным поем, братишки!
 Их одинокость – и моя!

Мы вместе, - словно строки в книжке...
 Уж осень! Хорошо без мух,
 Коль поработаешь за двух.

* * *

Мать подошла, погладила плечо.
 - Мотри, сынок, - оглядчиво сказала. -
 А то ведь это... че-нибудь еще...
 Вот идиот! Мешок серед вокзала...
 Прижал ее, любимую: «Беда!
 Седа! Да в плюшевой горжетке.
 Работа лошадиная – куда!
 Вот праздники у мамы были редки.
 Бессонны, одиноки были ночи!
 Всегда сама, сама да в каждый след.
 А сын – малец, годков еще не очень,
 И муж на Соловках, и мочи нет...
 И драли же налог – со стороны
 Для нужд алкающей страны!»

100.

- Поджарь картошки, - он сказал ей, - мать! -
 И утвердил: - Картошечки поджарь.
 - А не мясник ты, – стала подавать. -
 Уже готово... Брысь, кошуня, тварь!
 - А вот Шукшин, мать, обожал картошку.
 Ну «драники» – натертые блины, -
 Сказал он ей, поев совсем немножко.
 Не тот едок, видать со стороны.
 - Вот мужики – дай про-ра-бо-таясь!
 Как сядут, так и нет сковороды.
 А ты перебираешь, будто князь.
 - Я мать, у королевы анадясь...
 - Какой?
 - Английской. В золотах едал.

Был приглашен на тезоименитство.

- А что ж такое это хоть? Бед-а-а...
- Да, именины. Праздник – для единства.
- Кого?
- Да нации. Всей ихней нации-и!
- Вот хитроумцы! Тошуть наши акции.

* * *

Пришел Арсений все к тому же Камню -
К седому, вековому Валуну.

Во мхи ушел весь, краем выпер; главное –
Чтобы, как ночь, - разглядывать Луну.

Где, блин, «низам» не хочется, хоть тресни,
«Верхам» одним всей не исполнить песни.

Вон Леннон пел, и что?..

Где это и где то?..

* * *

Москву припомнил. Бег по кольцевой.

Васильевский. Река у Красной Пресни.

Когда б рычал под режиссерский вой,

Давно лежал бы там, на лобном месте.

Все дело, что не больно много нам

Дано, чего театру много надо.

И что? Скамейка, где ограда.

Обстругана. Вдвоем сидеть, семья.

Фамилия ножом тут – «Жириновский».

Кто начертал «Руцкой»? Пень чигриневский.

Ульяна – с «генералом», а Никита –

С «юристом». Муж и жена, две тли

По разные края одной земли.

В одном дворе, в одной – одной семье...

И, вспыхнуло в Арсении, ком в горле.

Достал листок, порвал штук пять подряд.

И снова написал в Москву, черт дернул:

«Возьмите свое звание назад!

Народным был Шалапин – так одно,

Народные мы с Грушей – ну бревно

Бревном! Артистам воздаст народ

И гнет, и мед».

Пошел в село часов, наверно, в восемь,

Письмо в почтовый ящик бросил.

От радости аж впляс, как идиот.

Как сто прудов свалил с себя, что носим.

Вот «лишний человек», вот тип – чего достиг

С времен иных – через двадцатый век.

Каков разбег!



Пиши, пиши, пока при силе!
Арсений все в себе гоняет «беса».
Однако че – куда смотрела пресса?
Гляди, уж все отавы покосили
Не из-за корма, а из интереса.
Встречаться в октябре на Валуне!
Прохладненько да как-то и неловко.
Ты вроде бы уже не на коне,
А на трамвае – тут и остановка.
Придется «рандеву» переносить
В какое-либо теплое местечко.
Прощай, Валун! О'кей, малышка-речка!
И ты, мой лес! И поле – волчья сыть!
Конец-то вот уж – первого романа.
Но прежде, чем уйти с экрана
Хоть на момент, на перерыв какой,
Благодарю деревню за покой,
За это лето треволнений, гонки.
О как я пел! трещали перепонки!

ЭПИЛОГ

Да здравствуют свободные минуты,
И сутки, и недели, и года!
К вам буду приезжать сюда всегда,
Пока я жив, в сии мои «каюты!»
И круг очерчен – первый этот круг.
Седое, черное, зеленое на белом.
И погонял, как видите, я мух.
Роман готов. Себе подарок сделан.
«Поэзия где-то такие крыла.
Едва уловила рука...
Поэзия – это такая река,
Как Музыка, как Облака».

На Камне – новые записки,
Чужие звезды – обелиски.
Мария – библейское имя твое
Со света кого-то сживает.
Арсений, в ладони держа мумие,
Сжимает, сжимает, сжимает.

* * *

Шаги Командора. Шаги по Москве,
Где «бабою» «сваю» вбивают.
Валун мой! Луница шуршаньем в листе,
Вдвоем с Водолеем, играют.
И каменны, каменны, каменны груди.
Тут нам по заслугам и честь.
Да здравствует Солнце, которое будит,
Но трижды – которое есть!

21 мая – 21 июня 2000г.
г.Орел – пос. Синяевский.
Конец первой книги.

ГОСПОДА КАМЕНСКИЕ

(трилогия, малые трагедии)

Что наша жизнь? Игра.

А.С.Пушкин

1. ТАЙНА ТРЕХ ИМПЕРИЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ – младший сын фельдмаршала Каменского, главнокомандующий Дунайской армией.

БАРОН ВЕРНЕР – посланник прусского двора в Блистательной Порте-Оттоманской империи.

АРСЕНИЙ ЗАКРЕВСКИЙ – адъютант главнокомандующего, он же

ДЕНИС ДАВЫДОВ – поэт, гусар, будущий герой Отечественной войны 1812 года

СИЛУЭТ ГРАФИНИ КАМЕНСКОЙ АННЫ ПАВЛОВНЫ – матери Николая Михайловича, жены фельдмаршала.

СИЛУЭТ ГРАФИНИ АННЫ ОРЛОВОЙ – дочери графа Алексея Орлова – Чесменского, любимой Николаем Каменским.

СИЛУЭТ ГОСПОЖИ ЛЕДУ – жены французского консула в Бухаресте.

Весна 1811 года, канун вторжения Наполеона в Россию. Если бы жив остался молодой Каменский Николай Михайлович, Российской армией в компании 1812 года командовал бы не Кутузов, а он.

Действие происходит в Бухаресте, в штаб-квартире главнокомандующего Дунайской армией Каменского Николая Михайловича. Медленно угасая, уходит из жизни молодой, талантливый полководец суворовской школы, из знаменитого рода русских военных. Странны обстоятельства случившегося,

тайна покрыта скрещением интересов сразу трех империй – России, Франции, Турции.

Сцена первая.

Большая комната с печью. В святом углу – икона Михаила Архангела. Трещат дрова в печи, создавая уют. Граф Каменский Николай Михайлович в мягком цветном халате, в шлепанцах проходит по комнате и садится в кресло-качалку перед растопленной печью.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (глядя в огонь) Давно ли, кажется, я тут на Дунае, в Молдавии и Валахии? Еще свистит в ушах ветер, как в макушках корабельных сосен в Финляндии. Из памяти еще не выветрились названия шведских крепостей, а уже новые баталии, турецкие фортеции, Болгария и Сербия передо мной... Блистательная Порта слепит глаза... Оттоманская империя ... султан Юсуф...

Граф смотрит в окно.

Ишь, на стеклах мороз. Надо же, снег в Бухаресте, такая редкость! Как будто в России ты, где-нибудь под Орлом, в нашем родовом гнезде Сабурово... Эй, Арсений!

Появляется адъютант главнокомандующего Закревский.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Закрев! Мы, кажется, с тобой одногодки?

ЗАКРЕВСКИЙ. Да нет, ваше сиятельство, вы постарше.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А Денис Давыдов?

ЗАКРЕВСКИЙ. Гусар, что ли, этот поэт, ваш земляк? Вот с ним вы вроде бы одногодки.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Когда я ехал сюда на замену самого Багратиона, Его Императорское Величество, назначив меня высочайше главнокомандующим своими войсками на Дунае, изволил возложить на меня и мирную с Портой негоциацию... доставить славный и полезный мир России. Слышишь ли ты меня?

ЗАКРЕВСКИЙ. Конечно, ваше сиятельство... и мирную с Портой негоциацию.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*передохнув*). Государь-император возложил, а министр иностранных дел Румянцев Николай Петрович... кстати сказать, сын тоже фельдмаршала, знаменитого полководца ... разъяснил суть «негоциации». Крепости берутся не только барабаном, но и умом... Как вступишь в должность – гони, говорит, ты в три шеи Безака этого при канцелярии добрейшего Багратиона. Заслуженных генералов держит в приемной. Однако и на молодых обрати внимание... И тут же хлынули ко мне из столиц за орденами и лентами... Закрев, ведь хлынули?

ЗАКРЕВСКИЙ. Хлынули, ваше сиятельство, еще как хлынули.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Посмотри, кто у меня командует корпусами? Ланжерон Александр Федорович – 47 лет, Раевский Николай Николаевич – 39 лет, Эссен Петр Кириллович – 38 лет, Левиз Федор Федорович – 43 года, Засс Андрей Павлович – 57 лет, братец мой старший – Сергей Михайлович Каменский – 39 лет, Марков Евгений Иванович – 41 год. Инженерные войска у нас на Гартинге Иване Макаровиче – 42 года, но 38 лет – командирам отрядов...

ЗАКРЕВСКИЙ. Да вы, ваше сиятельство, моложе из всех, в расцвете сил. Приказы и донесения пишете сами. Легким таким, летящим почерком. Сами разрабатываете и военные операции, удивля всех пронизательностью ума и точностью в оценке обстановки. В вас, ваше сиятельство, прямо-таки дар божий, талант полководческий – от батюшки вашего, Михаила Федотовича, генерала – фельдмаршала, царство ему небесное, где-то там, в России, теперь под белым камнем, на берегу Орла-реки...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*оживясь*). Помнишь ли Арсений, кто тогда одним из первых изволил явиться ко мне? Прискакал на коне, и ты вбежал, я спросил еще: «Что случилось? – А ты мне: «Давыдов к вашей милости». – «Денис Васильевич?» - «Он самый». –«Проси...» Так вот, Денис Давыдов мне что рассказал: в ноябре 1806 года в этой же гостинице, в этом самом номере он имел

встречу с батюшкой моим. Еще и слова его напомнил, как Денис Давыдов ворвался к фельдмаршалу столь резко, словно хотел его застрелить...

ЗАКРЕВСКИЙ. Глупость сказал.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Кто-кто сказал?

ЗАКРЕВСКИЙ. Да этот Денис Давыдов, гусар, поэт, он такой, ваше сиятельство.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ну нет, он не глуп, этот гусар. Это он сказал: «Власть пера велика...» Но когда я не взял Шумлу сразу, а потом и Рушук, первым ведь от меня бежать наводрился.

ЗАКРЕВСКИЙ. Вы бы передохнули, ваше сиятельство.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А на дворе-то мороз. На окнах такие узоры!.. Запрягай-ка, Закрев, в сани чистопородных моих, самых резвых! Просвистим на русской тройке по Бухаресту!

ЗАКРЕВСКИЙ. Да мы же только что прокатились, ваше сиятельство.

Коней еще не успели распрячь... Полежали бы, ваше сиятельство, прихворнули ведь.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*горячась*). Ты мне не указ, Денис Васильич!

ЗАКРЕВСКИЙ. Кто-кто я вам, ваше сиятельство?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*глядя по-прежнему за окно, в одну точку*). Так это ты одним из первых покинул меня – своего главнокомандующего?

ЗАКРЕВСКИЙ. Ваше сиятельство, ложитесь в постель, полежите...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. И ты, и Денис Давыдов... И там (*за окно*), и тут (*на дверь*)...

ЗАКРЕВСКИЙ (*заботливо*). Ваше сиятельство, вы устали.

Адъютант укладывает главнокомандующего.

ЗАКРЕВСКИЙ (*вздыхая*). Укатали сивку.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*отрывая голову от подушки*). Слышь, кажется, колокол? Это Шумла. Благовест из Сабурово, с родины... Еще отец мой – фельдмаршал брал у турок эту проклятую крепость, привез домой пушку и отлил из нее колокол. Слышишь, Денис Давыдов?

ЗАКРЕВСКИЙ (он же теперь Денис Давыдов). Да, ваше сиятельство, слышу, слышу.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А в том углу вижу в белом кого-то. Знаешь, Денис, кто это – это князь Святослав! Это он еще в древности основал этот Рушук. Хотел сделать его столицей. Какие холмы, похоже на Киев!..

ЗАКРЕВСКИЙ – ДАВЫДОВ. Ваше сиятельство, пойду пошлю за доктором Витцманом. А вы полежите пока, полежите.

Сцена вторая.

Та же комната. Граф Каменский Николай Михайлович в той же позе. В постели, приподнявшись на локоть.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (на дверь). Думает, он и в самом деле Денис Давыдов. пусть думает. А у меня в куски все тело, душа болит... Как говорит доктор Витцман, это депрессия. А депрессия – это болезнь сверхсознания, и, значит, нужна переориентация на систему новых ценностей. Но это скажут потом, через десятки лет, в конце столетия, даже в новом столетии. Я, кажется, начинаю быть ясновидцем? Этого еще не хватало... Но это ведь факт, что я чувствую себя все хуже. Порой настолько плохо, что вижу себя в каких-то черных стенках, покидающим вместе с этими черными стенками этот черный, черный – пречерный мир... С чего это?

Впервые за столько лет появилось время подумать. Смотрю и вижу себя как бы со стороны... трагедия молодого человека, брошенного в пекло для добывания славы России, государю. Все на меня навалилось, я перегружен явно, организм не выдерживает адской машины...

Государь – император после шведских викторий даровал мне это место – главнокомандующий, должность фельдмаршала. Некогда место отца моего, прежнее место талантливого Багратиона. Государь влил сюда «свежую кровь». Я должен был прогнать Базака, унижающего в приемной заслуженных генералов и в то же время омолодить генеральский корпус. Но кто-то из ветеранов ведь и остался. Оставлен был мной и старший братец мой Сергей Михайлович,

Каменский – первый. И я уже, выходит, Каменский – второй, младший Каменский?.. И первый успех, выигранные сражения, взятые турецкие крепости... И потом, как камень преткновения, эта Шумла, Руцук этот...

Как только вспоминаю о них, в уши начинает бить колокол. Это отцова Шумла – из Сабуровской церкви Михаила Архангела, это колокол, отлитый отцом из пушки, взятой в этой проклятой Шумле. И вот возникает видение – князь Святослав весь в белом, еще в древности основавший Руцук. Слуховые, зрительные, даже смысловые галлюцинации, - я не могу справиться с ними, они меня доконают...

Главное – я не заметил, как созрел «бунт» старых генералов. Внешне улыбаются, внемлют, исполняют. А внутри все проявляется самым решительным образом – к примеру, при штурме этих двух крепостей. То штурмовые лестницы оказываются короче стены, проглядели, как за ночь турки углубили ров. То даже у геройского генерала Кульнева явные признаки нерешительности. А уж о брате своем Каменском – первом и говорить не приходится... И когда государь-император приказывает проучить полки самые слабые – отправить их пешим маршем в Сибирь, я едва уговариваю государя не делать этого: не солдаты плохи, а мы – генералы, и я – их главнокомандующий... На меня в Петербург летят, конечно, доносы, но я и сам не скрываю вины. И государь-император отвечает мне, что всяко, в конце концов, бывает в больших компаниях. Но я-то знаю, тень в душе его залегла... Россия не может иметь неуспеха – Российская армия, ее генералы, фельдмаршалы победоносны. Перед глазами всего мира, султана Юсуфа и Бонапарта.

И тогда приходит время мне вспомнить о второй части напутствия мне сюда Его Величества – о «негоциации». О дипломатии, военной хитрости, житейской мудрости...

Граф Каменский приподнимается на постели, кричит в открытую дверь.

Закрев, эй, Закрев!.. Не отвечает... Арсений!.. Тишина... Эй ты, Денис Давыдов, Денис!!

Появляется адъютант Закревский, он же теперь Денис Давыдов.

ЗАКРЕВСКИЙ – ДЕНИС ДАВЫДОВ. Чего изволите, ваше сиятельство?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ты кто сейчас – мой адъютант Арсений Закревский или Денис Давыдов, поэт?

ЗАКРЕВСКИЙ (*растерянно*). Как прикажете, ваше сиятельство.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Вот как, Закревский, а скажи мне, братец: помнишь ли ты барона Вертера – прусского посланника при диване Блистательной Порты?

ЗАКРЕВСКИЙ. Как не помнить, ваше сиятельство. Мартос представлял его вашему сиятельству, чтобы тот сообщал нам, как идут дела в высших кругах Оттоманской империи, под боком у самого султана Юсуфа. Он еще, помню, сказал вашему сиятельству, что, мол, сведения будет записывать его секретарь, а передавать их будут купцы.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Молодец, Закрев! Есть ли сообщения от барона?

Адъютант выходит, граф остается один.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Российская армия должна быть победоносна! И посему пущена в ход дипломатия. Известно нам стало, что в Блистательной Порте назревает голод, появились первые дезертиры, даже янычары колеблются... В Шумле сидит сам верховный визирь-военный министр, в Рущуке – знаменитый паша Бошняк-ага... Сколько сил мне стоили мосты в сражениях с этим верховным визирем. Про то знаем лишь мы с ним, даже монархам неведомо... И вот верховный визирь выводит войско – уходят аги, улемы, янычары со всем имуществом, с деньгами, оружием.... Лично мной потрачены миллионы на покупку у них этого оружия. Но ведь крепость у нас, взята без крови! И снова «ура», виктория! Ордена и ленты. Но я-то знаю, кошка между Петербургом и мной пробежала...

Появляется адъютант.

ЗАКРЕВСКИЙ. Ваше сиятельство, барон Вертер в Бухаресте. Проездом.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Мундир мне со всеми орденами и лентами! Барона сюда!

Сцена третья.

Штаб-квартира главнокомандующего Дунайской армией. Кабинет графа Каменского. Николай Михайлович сидит за столом, позади него портрет императора Александра Первого.

Входит адъютант главнокомандующего Закревский.

ЗАКРЕВСКИЙ. Ваше сиятельство! Барон Вертер.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Прос-и.

В дверях появляется прусский посланник в Блистательной Порте барон Вертер. Граф Каменский идет навстречу ему с сияющей улыбкой.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Милости прошу сюда, на диванчик, барон. Вы привыкли к большому... Дивану... в Блистательной Порте?

БАРОН ВЕРТЕР. Благодарю вас, ваше сиятельство. Всегда рад оказать услугу больше желтому полю ваших эполет, окантованных узким золотым галуном, нежели красным фескам янычар в окружении султана Юсуфа.

Оба садятся на мягкий диванчик, застланный ковром. Барон Вертер оглядывается по сторонам.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*замечая*). Ковер красный, турецкий, да диванчик-то наш... Не волнуйтесь, барон, разговор тет-а-тет. Глаза и уши только мои да ваши, барон. Итак, я весь внимание. С чем пожаловали, дорогой друг?

БАРОН ВЕРТЕР. Звезда над полумесяцем клонится к западу.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. К берегам Сены?

БАРОН ВЕРТЕР. Хотя Блистательная Порта одушевлена искренним желанием положить конец кровопролитию и вернуть спокойствие подданным обеих воюющих держав, тем не менее она никогда не вступит в мирные переговоры, прежде чем целостность и независимость Оттоманского государства не будут гарантированы... Порта будет упорно отказываться от примирительных предложений, даже если бы военные обстоятельства обернулись к ее полной невыгоде. Она надеется продлить войну до тех пор, пока посторонние обстоятельства не позволят ей отвоевать потерянные провинции.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Султан имеет в виду войну Наполеона с Александром?

БАРОН ВЕРТЕР. Переводчик французской миссии донес туркам, что мы собираем сведения для берлинского двора. Пока подозрения Дивана удалось отвести...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*вскакивая*). Драгоман Бонапарта сел, барон, вам на хвост?!

Барон Вертер молча склоняет голову.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Будьте осторожнее, со сведениями повремените... Желаю успеха, барон! Мы не останемся перед вами в долгу.

Барон Вертер уходит. Граф Каменский сидит в напряжении. Затем голова его валится на стол. Графин падает, вода стекает с поверхности стола.

Вбегает испуганный адъютант. Переносит графа на диван, дает ему воды, оставшейся в стакане.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*приподнимая голову*). Барон в опасности! Его кровь может обогреть камни османской тюрьмы... Что у нас по этому поводу из Петербурга, из министерства иностранных дел, от графа Румянцева Николая Петровича?

Достает из стола бумаги, читает бегло.

ЗАКРЕВСКИЙ. «Прусский посланник в России Шладен продолжает снимать копии с донесений барона Вертера».

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Что еще?

ЗАКРЕВСКИЙ. По сообщению того же Шладена, «австрийская миссия делает все возможное, чтобы укрепить Порту в ее воинственных намерениях».

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Спасибо Николаю Петровичу... Что еще?

ЗАКРЕВСКИЙ. Вот. Управляющий канцелярией надворный советник Булгаков Константин Яковлевич снял копию с вашего послания, граф, писанного по-французски...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Хорошо, Иди, Закрев. Я тут, на диванчике, прикорну.

Адъютант выходит, граф приподнимается на локоть, застывает в излюбленной позе.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*размышляя*). Так, соберем мысли в узел. Что же у нас получается? Главное возникает на Севере – между Россией и Францией. И Порты, и Австрия (а может, и Пруссия?) споспешествуют усилению напряжения между Санкт-Петербургом и Парижем. И южный театр военных действий – то есть наша война с Блистательной Портой – становится второстепенной. Понимают ли это государи – император Александр и султан Юсуф? Султан, кажется, понимает. Истощенная, раздираемая противоречиями Порты далее будет тянуть с заключением мирного договора, одновременно способствуя быстрейшему началу военных действий на Севере. А тут войну она не прекратит, но и не усилит. Ни мира – ни войны.. Вот почему верховный визирь ушел из Шумлы и вывел своих янычар с личным оружием. Надеются вскоре вернуть задунайские крепости, в том числе Шумлу и Руцук... Как только возникнет война на Севере...

Проверим на деле ход наших мыслей. Устроим-ка туркам ловушку...
Эй, Закрев!

Граф поднимается с дивана, идет к столу. Вбегают адъютант.

ЗАКРЕВСКИЙ. Чего изволите, ваше сиятельство?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Почту мне! Последнее послание государя-императора!

ЗАКРЕВСКИЙ (*живо доставая бумаги*). Вот оно, ваше сиятельство.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*читая*) «...из сих обстоятельств явствует, что иного средства не остается, как переменить образ войны и вместо наступательной вести оборонительную. Тогда, не уступая ни шагу из края, нами занятого, имея перед собой Дунай и крепости, на оном расположенные, я буду иметь все средства, нужную часть войск из армии, Вам вверенной, обратить , куда обстоятельства сделают оное нужным...»

Граф начинает нервно ходить по кабинету. Останавливается, вздыхая.

Значит, вскоре государь охладет к нам, мы ему будем не так нужны...
А ловушку туркам мы все же устроим!

Сцена четвертая.

Та же комната с печью, с иконой Божьей Матери. Закревский подбирает дровишки. Граф лежит в постели, укрытый шинелью.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*недовольно*). Где хоть дрова такие берешь – не дают жар. Околеешь от холода.

ЗАКРЕВСКИЙ (*шуря в печи*). Это знобит вас, ваше сиятельство. Сейчас пройдет.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Из-под Орла бы, что ли, привез? Вот где дрова березовые, - это да!

ЗАКРЕВСКИЙ. Так это и есть орловские дрова, из Сабурово. Вот, видите вырезано на плашке «О.Д.» - «орловские дрова», такой огонь раздуем прямо тебе пожар.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Не шути над этим. Знаешь, о чем я сейчас думаю?

ЗАКРЕВСКИЙ. Известно, о чем – как бы ребра янычарам получше пересчитать. А уж взятых Вами, ваше сиятельство, крепостей на пальцах-то и не перечесть. Рук не хватит...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Чтобы поменьше пожаров было на этой земле – в Молдавии и Валахии. Не о баталиях, а, наоборот, о мирном договоре думаю... А кто о новой войне помышляет, мы сейчас, братец, проверим. По-суворовски. Применим военную хитрость, ловушку... Ты вроде печку топил, а сам тоже наблюдай, не своди глаз...

ЗАКРЕВСКИЙ. С кого?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Прибыл драгоман турецкий – министр турецкого дивана? К нам сюда в Бухарест?

ЗАКРЕВСКИЙ. Еще когда, ваше сиятельство. Все нюхает воздух, вино со всеми пьет.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Поди позови его к нам сюда. Нет, встретить лучше в соседней комнате. Да угости, как следует. И дай почитать письмо это ко мне от государя-императора.

ЗАКРЕВСКИЙ. Письмо... от Его Величества??

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Не бойсь, согласовано с Петербургом... Скажешь, граф, мол, опочивает, а на столе письмо случайно оставил. А я, мол, тебе, драгоман, даю почитать, потому что меня этот граф глубоко обидел, можно даже сказать – оскорбил, мол...

ЗАКРЕВСКИЙ. Да что вы, ваше сиятельство!

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Да, оскорбил я тебя!.. А когда прочитает, скажешь: «Все! Россия устанавливает свою границу по Дунаю, Молдавия и Валахия будут за нами! И на такое согласен, мол, Наполеон...» И наблюдай, что будет. А я из-за портьеры тоже понаблюдаю...

Адъютант уходит, граф подходит к портьере.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Негоциация, так негоциация! Не все-то барабаном, как лбом, ворота крепостей прошибать. Надо и умишко применять. Румянцев говорит, дипломаты выигрывают сражения, проигранные генералами.

За дверью слышны голоса, смех, грохот передвигаемой мебели. Граф протыкает дырку в портьере.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. И что там, в соседней комнате? Ага, драгоман в изрядном подпитии. Чего доброго, и вовсе лыка вязать не будет... Да хватит, хватит тебе, Закревский, не перестарайся! Письмо читай и говори: согласен, мол, Бонапарт...

Граф отходит от портьеры, обессиленный – валится на постель. Входит адъютант.

ЗАКРЕВСКИЙ. Ну что, как я его?!

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. И видал, и слышал.

ЗАКРЕВСКИЙ (*живо*). Накатил ему вот такую кружищу! А он – еще да еще... Так, я говорю, это вино из тех ягод, что ногами топчут. А он: ничего,

мол, что топчут, пусть топчут... Ну я ему еще в кружку. Гусары его чуть тепленького увезли...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*морщась*). Когда ты ему прочитал письмо, что он?

ЗАКРЕВСКИЙ. А ничего. Как в рот воды. На рот пальцем показывает, немым сделался.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А когда сказал насчет южной границы России и согласия Наполеона?

ЗАКРЕВСКИЙ (*захохотав*). Куда немота девалась! Глаза выпучил, руками замотал: не может быть, этого быть не может! Врешь ты это, мне лично не известно, министру дивана.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*улыбнувшись устало*). Драгоманы – мать их так, дипломаты! Пескари на мелкой водице – ижице... Спасибо тебе, Закрев, иди.

Адъютант уходит, граф с трудом поднимается с постели, подходит к столу, жадно пьет из стакана.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*лежа уже*). Да что хоть со мной! Снова все почернело, черные стенки, черный, черный-пречерный квадрат... И тоннель в квадрате, и синие свечи в конце тоннеля, свеча-свечечка – дунь ветерок, и погаснет... Эй, Закрев.

Граф падает на пол. Вбегает адъютант.

ЗАКРЕВСКИЙ (*истуганно*). О Господи! Ваше сиятельство.

Укладывает обратно его в постель.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ничего-ничего, пройдет. Слушай, любезный! Вот там, в шкатулке, письмо от моей матушки, почитай. Оно вернет меня из черного квадрата, из тоннеля... обратно сюда, на землю... в этот прекрасный мир...

Адъютант кидается к столу за письмом.

ЗАКРЕВСКИЙ (*читая поспешно*). «Любезный и милый друг граф Николай Михайлович. За шали благодарю, мой милый друг, прекрасные, очень дорого, чай, заплатил... Сестра Марья Михайловна очень тебя благодарит. Сама она затем напишет, что больна была очень... Очень слаба. Еще с постели не

встает. Поздравляем тебя с победами и андреевским кавалером... Дай Бог тебе скорее мир заключить...

Сделай одолжение Елизавете Петровне Глебовой... Она посылает тебе образ. Очень любит тебя. Пришли и ей шаль. Прошу писать почаще.

Верный твой друг Анна К.».

Николай Михайлович, - под победами она имеет в виду взятие Шумлы и Руцука?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Дорого, чай, заплатил я. Очень, матушка, дорого.

Сцена пятая.

Там же, те же. Граф лежит с закрытыми глазами.

ЗАКРЕВСКИЙ. Намучился, беденький, спит.

Осторожно выходит из комнаты. Граф открывает глаза.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Он думает, я уснул. Я боюсь спать – перейдешь черту, уснешь навсегда... Матушка! Я никогда не был счастлив, никогда. И то, что в такие годы я стал главнокомандующим, разве же это счастье? Слава? От нее – пустота и интриги. Интриги плетутся, завидуют орденам и лентам – на них такие вериги!..

Матушка! Дорогая моя, явись ко мне, умоляю, прошу! Мы – военные, как какие-нибудь моряки. Годами не видим родных и любимых, семьи. И все за Россию, все долг... а жизнь пролетает, уходит ... и вот черные стены, четыре стены... Но Бог услышал мою мольбу – свеча в конце тоннеля колеблется, и свет ее не пускает меня на небеси, и я остаюсь еще тут, и вот одна из стен, освещенная этой свечой, воссияла, и Ты, моя матушка, в сиянии, Ты, это Твой силуэт...

Колокол Шумла снова бьет в меня, в уши, а в глаза мои входит князь Святослав. Но все это исчезает, когда являешься ты – моя Анна Павловна, моя маман. Je t'aim, je t'aim trop, ma chérie...

СИЛУЭТ АННЫ ПАВЛОВНЫ (голос из сияющей стены). Я знаю, как трудно тебе, невыносимо. И я, мать, пришла облегчить твою участь.

НИКОЛАЙ КАМЕНСКИЙ. Мой братец Сергей на сколько лет старше, ему уже тридцать девять, а я по должности выше, я – главнокомандующий, вроде во всем над ним. По приезду я стал выделять его, думал, он будет опорой. А вышло наоборот, и смута многая от него... При штурме Шумлы Сергей Михайлович задержался с колонной, и это стоило, возможно, победы, а мне бы стоило головы...

СИЛУЭТ АННЫ ПАВЛОВНЫ. Я поговорю с Сергеем, уговорю, улещу. Нельзя же, в самом деле, гордыне заходить так далеко.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. Помнишь ли, матушка, тот день с Москве, когда я просил руки Анны Орловой – дочери графа Алексея Орлова – Чесменского? И она отказала. И в тот же день, глубоко оскорбленный, я покидал белокаменную. И, когда садился в экипаж, ко мне подошел какой-то юродивый, подал платок от Анны и сказал мне: «На счастье!» А я в расстройстве чувств передал тот платок Закревскому. После ты вспоминала, наверно, по сей день вспоминаешь: я отдал свое счастье другому...

СИЛУЭТ АННЫ ПАВЛОВНЫ, Николай Михайлович! Мой дорогой, я люблю тебя, храни тебя Бог.

Граф поднимается с постели, проходит к открытой двери.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Закрев, эй, Закрев!

Вбегают адъютант.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Никто ко мне не приходил?

ЗАКРЕВСКИЙ (*растерянно*). Нет, ваше сиятельство, не было никого.

Пошатнувшись, граф едва не падает. Адъютант проводит его через всю комнату, укладывает в постель.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*в бреду*). Опять эти черные стены, опять!.. Но я солдат, видел всякое, у меня есть сила воли! Не дам себе приподняться над мирным покоем, уйти за черту, в сияние, в безбрежные облака!.. И вот одна стена воссияла, она сияет, как прежде, но чей это там силуэт? Ах, это вы, графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, это вы?

СИЛУЭТ АННЫ ОРЛОВОЙ. Да, это я.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Проститься со мной пришли, простить?

СИЛУЭТ АННЫ ОРЛОВОЙ. Это я должна просить прощения у вас, граф. После того, как не вышла ведь замуж. Всю жизнь свою, до самой смерти, буду молиться за вас, мой главнокомандующий, мой герой. Отдам все богатство церкви, сама уйду в монастырь. «Благочестивая жена душою Богу предана»... Простите, граф, я думала, вы сватались ко мне из-за денег...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Да, графиня, у меня была первая любовь – Лиза из рода Щербатовых, бедная-бедная Лиза. Но вы-то стали для меня всем, что потом было в моей душе. Но почему, почему так думают, что мы, военные, легкомысленны, у нас не имеется сердца?

СИЛУЭТ АННЫ ОРЛОВОЙ. Простите, граф, простите меня. Я буду нести крест всю свою жизнь.

Сияющая стена погасает. Граф лежит в неподвижности, затем снова встает, спешит к распахнутой двери.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Закрев, эй, Закрев!

Вбегают адъютант Закревский.

Арсений! Никто ко мне не входил и не выходил?

ЗАКРЕВСКИЙ (*растерянно*). Никто, ваше сиятельство.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Что ты все «ваше сиятельство», «ваше сиятельство»! Вот стена передо мной и сияет! Зато, правда, не пускает, не дает уйти ввысь, за черту...

Замечает недоуменный взгляд Закревского.

Зови меня просто Николай Михайлович. А то еще проще Николай, я разрешаю. Мы же с тобой почти одногодки?

ЗАКРЕВСКИЙ. Простите, ваше сиятельство, Николай Михайлович.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Все дело в том, что у меня, дружок, не было личной жизни... А у тебя, Арсений, есть ли пассия?

ЗАКРЕВСКИЙ. Пассии нет, ваше сиятельство... Николай Михалыч... а вот одна тут есть у меня, завелась. Из тех, что виноград ногами топчут.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А что - хороши ли женщины здешние?

ЗАКРЕВСКИЙ. Что вы! Красотки отменные, как вино бродящее... Помните, когда войска входили в Бухарест, вы ехали в экипаже, так они же вас закидали цветами, все кричали: «Смотрите, какой молодой, статный!»

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А хороша ли жена французского консула?

ЗАКРЕВСКИЙ. Это которая, как только вы, граф, появляетесь в обществе, не отводит от вас своих глаз?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Решено! На этой же неделе даем бал! Граф Каменский приглашает на бал весь бомонд Бухареста.

Сцена шестая.

Там же, те же.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Арсений, а был ли бал? Был ли на нем французский консул с женой?

ЗАКРЕВСКИЙ. И бал был, Николай Михайлович, и была на нем жена французского консула. Все было... И вам эта дама подавала кофе в золотой чашечке, на особом подносе... И вы еще ее благодарили...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. За что благодарил?

ЗАКРЕВСКИЙ. За внимание к вашей особе. За то, что она просто красивая женщина. Потом вы перешли на французский, а я в нем, откровенно сказать, не силен.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Что же я так все запомнил, как отрезало! Послушай, братец, а было ль на балу что-нибудь интересненькое, кроме этой... с глазами сливовыми.. с берегов Сены? Ну, что-нибудь такое, что бы ты подметил, как бы ты описал?

ЗАКРЕВСКИЙ. Да я отметил бы, граф, еще вишневое варенье, до которого вы, граф, охочи.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Варенье? Вишневое, говоришь? Дома у нас под Орлом, с детства помню, его варили без косточек. Отменное, доложу вам, получалось варенье. И еще что заметил, Закрев? Говори, как есть, начистоту.

ЗАКРЕВСКИЙ. Да щечки у этой госпожи Леду очень уж, очень горели! Обольстительна. Дрожала вся откровенно, очи перед вами потупив... В Париж вас к себе приглашала...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*рассеянно*). В Париж, говоришь? А кофе пил ли еще кто-либо?

ЗАКРЕВСКИЙ. Нет, кажется. Нет! Вам подавала особо, на особом подносе.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*раздумчиво*). Сначала стало мне от этого лучше. А сейчас так уже пять черных стен, уже шесть... Отведи-ка меня в постель. Да укрой получше, что-то знобит...

Адъютант укладывает графа в постель, укрывает сверху одеяла шинелью.

ЗАКРЕВСКИЙ. Шинелечка-то старая, должна быть, еще из Швеции.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*слабым голосом*). Да нет, братец, еще из Швейцарии. В шинелечке этой предстал, помню, перед Суворовым после перехода через Чертов мост. Суворов поблагодарил меня за успех в операции, назвал уже тогда «старым генералом».

ЗАКРЕВСКИЙ. Почему «старым»?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Больно умный был уже с молодости... А ты, Закрев, умным станешь, скоро состаришься...

ЗАКРЕВСКИЙ (*вздыхнув*). А мне на роду написано: век быть при вас, Николай Михайлович, таком умном, даже мудром таком, хоть и молодом.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Да, братец ты мой, Закрев – Закревушка, вся трагедия моя – трагедия молодого таланта. Понял что-нибудь?

ЗАКРЕВСКИЙ. Нет, ваше сиятельство. Нам нельзя это все объять, мы у вас в адъютах.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Не денщик же, в самом деле, а адъютант – дворянин, офицер... Ну, хорошо, оставь меня, мне надо побыть одному...

Закревский снова укладывает графа в постель, укрывает шинелью.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (сбрасывая шинель). А теперь жарко, все изнутри пылает... Воды мне, воды!..

Закревский подает воды, граф жадно пьет. Делает знак Закревскому: уходи.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (ставшись один). Как это он назвал ее – госпожа Леду? Почему хоть Леду, кажется, французский консул носит другую фамилию?.. И опять горю, ломит тело, сам готов рассыпаться на куски, в чашечке что-то было? Меня отравили?.. Глаза сливовые, вишневое варенье, а в золотой чаше – яд.

И опять этот колокол, эта Шумла отцова, доходит сюда аж из родного Сабурово, из-под Орла... И князь Святослав качается перед глазами со словами своими вещими «Иду на вы!».. И стены черные, как чемодан, нет, их опять уже не четыре – их пять. И в конце тоннеля узкий-узкий просвет, как галуны, на желтом поле фельдмаршальских эполет, и на них дрожащее пламя свечи, и от свечи стена загорается, светящаяся – пятая эта стена...

А ну появись, госпожа Леду, предстань передо мной! Я так хочу, хочу спросить тебя... Ага, вот и ты, твой силуэт на сияющей стене...

СИЛУЭТ ЖЕНЫ ФРАНЦУЗСКОГО КОНСУЛА. Вы, граф, звали меня? Чего вы хотите?

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. А, это ты, моя госпожа? Я же нравилось тебе, зачем ты это сделала?

СИЛУЭТ ЖЕНЫ ФРАНЦУЗСКОГО КОНСУЛА. Ха-ха-ха...

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. Нет, скажи мне: кому это нужно?

СИЛУЭТ ЖЕНЫ ФРАНЦУЗСКОГО КОНСУЛА. Ах, кому? Не скажу...
Одному человеку небольшого росточка в огромной треуголке, которой он накрыл уже пол-Европы...

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. Зачем ему это?

СИЛУЭТ ЖЕНЫ ФРАНЦУЗСКОГО КОНСУЛА. А на случай войны с Россией. Если вас поставят главнокомандующим всей Российской армией.

Граф приподнимается на локте, впивается взглядом в стену – силуэт, само сияние на стене исчезает.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Закрев, эй, Закрев!.. Ко мне никто не приходил?

ЗАКРЕВСКИЙ. Приходила тут одна.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. И кто же?

ЗАКРЕВСКИЙ. Госпожа Леду – жена французского консула. Да часовые ее не пустили.

Сцена седьмая.

Там же, те же.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*вскакивая с постели*). Как не пустили! Почему не пустили?! Надо было пропустить. Я хотел бы посмотреть ей в глаза – этой женщине... Оставь меня одного, Закрев. Мне надо побыть одному...

Адъютант выходит.

Нет, это не она. Не может быть, чтобы сделала это она, эта женщина со сливовыми глазами, которые смотрят на тебя так тепло, проникновенно. В золотой чашечке был кофе, просто кофе. Я это знаю, чувствую... Это кто-то другой... Это со мной началось до нее, до чашечки кофе...

Входит Закревский. Стоит, хочет что-то сказать.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Говори, Закрев.

ЗАКРЕВСКИЙ. Ваше сиятельство... весть тут одна нехорошая... в Сербии погибли наши генералы – Исаев и Цукато. Отравлены.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*откидываясь на подушки*). Отравлены?! Я так и знал, так и знал! Это – османы... Оставь меня...

Закревский медленно выходит.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Османы отравили Исаева и Цукато! И к моей тайне ключ, вероятней всего, у них. Как раз в феврале я побывал в войсках, проехал по Молдавии и Валахии, ел и пил черт знает где, черт знает с кем... Это в их нравах, это – Восток. Уже с детства наследникам престола – в будущем ханам, султанам, шахам – дают толики яда, приучают организм, наращивая дозы.

И, когда наследник взойдет на престол, организм способен выдерживать все...
О длинные руки Блистательной Порты.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. И опять эта Шумла в ушах, этот колокол. И князь Святослав снова в белом... И все винтом снова перед глазами. И винт этот в небо ввинчивается, в сияющие высоты, и втягивает меня... но я не хочу, не хочу, не хочу...

Эй, Закрев, Арсений!

Вбегают адъютант, бросается к графу.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*задыхаясь*). Воды!.. Слушай, Закрев, меня утягивает вверх, я улетаю. А тут вокруг стены черные, все, кроме одной, и на ней – сияющей – силуэт моей матушки... Послушай, нет ли письма от нее. Я жду.

ЗАКРЕВСКИЙ. Нет, Николай Михайлович.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Так прочитай. что ли, прежде. Нет, лучше прочитай последнее письмо ко мне государя-императора... я не хочу улетать, не хочу...

ЗАКРЕВСКИЙ (*листая бумаги*). Читаю от сих: «...генерал Михельсон, не имея в своих руках крепостей, защищал с успехом Дунай с двумя дивизиями во время продолжения всей войны с французами. Посему нахожу нужным Вам предписать следующее:

1. Для оборонительной войны четыре дивизии полагаю совершенно достаточными, имея особливо в своих руках крепости по обеим сторонам Дуная...»

Граф делает знак рукой: перестань, хватит. Закревский молча смотрит на графа.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*в сторону*). Значит, всего четыре дивизии из девяти? Да еще ставят в пример Михельсона. И это после взятия 30 крепостей за кампанию!..

Закрев! И что я ответил государю-императору? Копию отыщи.

ЗАКРЕВСКИЙ (*читая*). «Положение мое с положением генерала Михельсона никак сравниться не может, ибо самое приобретение крепостей соде-

львает потребность в войсках большею, да и обширность занимаемой мною ныне линии... Посвятив жизнь свою на службу Вашего Императорского Величества, по верноподданнической приверженности ко священной особе Вашей, всемилостивейший государь, и к пользам отечественным, сан, на который благоудно было возвести меня... не надлежало бы уже мне входить в дальнейшее объяснение касательно сношений с Портою, может, таковыми навлеку на себя негодование Ваше, всемилостивейший государь, но тем не менее...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ *(слабо рукой)*. Достаточно, Закрев, хватит... *(в сторону)*. Царь дал мне предначертания: изменить ход войны на оборонительную. И сравнил меня с Михельсоном. На все воля божья и царя-батюшки. Но я решил объясниться с царем. И даже сказал что-то дерзостное касательно Михельсона... И, вероятнее всего, мог «навлечь на себя негодование» всемилостивейшего государя...

И опять эта Шумла, опять этот князь Святослав... Шумла и Рушук, Рушук и Шумла... И горит тело, душа отделяется, летит на свечу, а тело остается на месте и существует отдельно. И я гляжу на себя, на свое тело как бы со стороны, гляжу и сужу... вижу и предвижу... зрю вперед высоко и далеко...

(Вслух). Все может быть после «негодования». Когда касается царя, палачи действуют. Кому это выгодно? Бонапарт подтягивает силы к России, назревает большая война. Так кто же возглавит Российскую армию, встанет противовесом Наполеону? Я – Каменский?.. Бонапарту должны противостоять опыт, мудрость, Суворов? Но Суворова нет. Однако есть его сын – генерал... тоже молод, его тоже может не стать... трагедия молодого таланта...

ЗАКРЕВСКИЙ. Виноват, ваше сиятельство. Доложил не сразу. Беда великая! Только что получено сообщение, Суворов Аркадий Александрович – сын нашего военного гения – утонул при переправе в коляске через реку Рымник.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Погиб и этот! Река славы отца стала рекой гибели сына... И все-таки кто станет главнокомандующим Российской армией: Кутузов!.. Михаил Илларионович...

ЗАКРЕВСКИЙ (живо). Кутузов, кто же еще!

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Тогда следует ожидать его появления тут, на юге, вместо меня. И, следовательно, я двору уж не нужен, участь моя решена.

Сцена восьмая.

Там же. Граф один у пылающей печи.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Добро пожаловать, Михаил Илларионович!.. Так кем же ты, граф, отравлен? Сие есть узел противоречий, великая тайна сразу трех империй – Франции, Турции, даже России... И у меня стенки черные, как чемодан... Вспыхнув, держится сияющей еще одна стенка. И на ней еще один силуэт – ее, Анны Орловой... Мысли путаются, лица мелькают, но одно лицо стоит твердо – Анны...

СИЛУЭТ АННЫ ОРЛОВОЙ. Я знаю, и я благодарна вам, граф, за это.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. Ты ведь так и не стала женой мне, не родила мне сына... Мне нельзя уходить, я не оставил потомства...

СИЛУЭТ АННЫ ОРЛОВОЙ (печально). И у Суворова сына не стало.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. Все перевернуто. Из четырех стен черной держится лишь одна, а те трое сияют... Но я не хочу улетать, не хочу. Я уже уходил туда, переходил черту и вернулся...

(Громко) Закрев! Эй, Закрев! Дама ко мне не приходила?

ЗАКРЕВСКИЙ (возникая перед графом). Какая?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Графиня Анна Орлова.

ЗАКРЕВСКИЙ. Нет, Николай Михайлович, не приходила.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Врешь, голубчик, все врешь! Я только что видел ее.

Закревский пожимает плечами, оглядываясь по сторонам.

И матушку мою видел – Анну Павловну. Ты шаль, Закрев, отослал ли ее приятельнице Глебовой Елизавете Петровне?

ЗАКРЕВСКИЙ. Отослал, батюшка мой, отослал.

Пауза. Вздохи графа, голос его все слабее.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А жену консула так и не пропустили?

ЗАКРЕВСКИЙ (*с дрожью в голосе*). Батюшка вы мой, голубчик, послать ли за ней?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*вяло*). Не надо.

Пауза. Голос графа потверже, живее.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Я уже побывал там и снова вернулся.

ЗАКРЕВСКИЙ. Где там, откуда вернулся? Послать за Витцманом, ваше сиятельство?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Я хожу туда и сюда. Но здесь дольше пока, чем там... Я не хочу уходить, не хочу... И Витцмана, доктора, не хочу...

Закревский отходит к окну, плечи его вздрагивают. Обхватив лицо руками, он стоит у окна.

Закрев! Эй, Закрев!.. И Закревский ушел куда-то, покинул меня. Нет, это кто-то уже другой... Это Денис Давыдов...

ЗАКРЕВСКИЙ. Нет, это я, это я – ваш преданный слуга, Николай Михайлович, ваш до гроба.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Денис Давыдов, Денис! Вот кто удержит меня на земле...

ЗАКРЕВСКИЙ. Я – Денис Давыдов, ваше сиятельство. Я – ваш покорнейший слуга Денис Давыдов-Закревский.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Послушай, Денис, веришь ли, я не хочу умирать. Сколько раз готов был отдать свою жизнь за царя и отечество, а сейчас не хочу... Хотя это, возможно, кому-то и надо... Где гитара твоя, где стихи? Сыграй, спой, поэт-гусар, напоследок «старому генералу».

ДЕНИС ДАВЫДОВ. Да какой же вы «старый», ваше сиятельство? Мы почти что годки.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А мы старые уже, не успев пожить, уже старые. Износились, братец, на службе Отечеству. От пуль не бегали, от милостей государевых тоже... Я зрю вперед, я предвижу сейчас намного, миг такой мне дан перед смертью. И вижу в моих же годах, до двадцати семи, человека в эполетах

– одного офицера... тоже «старого генерала», только в поэзии... не знаешь такого? Узнаешь потом, тебе жить да жить еще, стать героем предстоящей войны с Бонапартом и остаться героем в веках...

ДЕНИС ДАВЫДОВ. Ваше сиятельство, я послал за гитарой.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. ... и еще будут войны за наше Отечество – войны отечественные, общенародные, зланы больно наши места, Россия злчна. И мы, Каменские, впредь не последними будем...

Граф откидывает голову на подушку.

ДЕНИС ДАВЫДОВ (*бросаясь к нему*). Ваше сиятельство, ваше сиятельство!... Витцмана, доктора!..

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*очнувшись*). Читай стихи свои, поэт-гусар, земляк мой, громкий поэт, читай!..

ДЕНИС ДАВЫДОВ. Басня «Голова и ноги» (*дрожащим голосом, лишь к середине набирая звука*).

Уставши бегать ежедневно
 По грязи, по песку, по жесткой мостовой,
 Однажды ноги очень гневно
 Разговорились с Головой:
 «За что мы у тебя под властью такой,
 Что целый век должны тебе одной повиноваться...
 Ты нас как ссылочных, невольников моришь
 И, сидя наверху, лишь хлопаешь глазами...
 Частенько за наш счет себя ты веселишь
 Насмешкой, колкими словами...»
 «Молчите, дерзкие, – им Голова сказала, –
 Иль силою я вас заставлю замолчать. .
 Как смеете вы бунтовать,
 Когда природой нам дано повелевать?»
 «Все это б хорошо, пусть ты б повелевала,
 По крайней мере нас повсюду не швыряла...»

А прихоти твои нельзя нам исполнять;
 Да, между нами ведь признаться,
 Коль ты имеешь право управлять,
 Так мы имеем право спотыкаться,
 И можем иногда, споткнувшись – как же быть, -
 Твое Величество о камень расшибить»...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*вздыхнув*). Молодец, Денис!.. Bravo, Давыдов!..

ДЕНИС ДАВЫДОВ. Я – Закревский, я – Дениса Давыдова вам читаю.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Спасибо тебе, братец, Денис Давыдович – Закревский!

Сцена девятая.

Там же, те же.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Знаешь, о чем я сейчас, дорогой мой Закревский?

ЗАКРЕВСКИЙ. О чем изволите, Николай Михайлович?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Тужусь вот, вспоминаю, что же я там видел, когда душа отделилась от тела? Опять же напало на меня что-то, прозрение какое-то, вижу все впереди ясновидяще...

Бонапарт кончит плохо. Сперва на одном острове, потом в океане... И будет врач при нем – один англичанин. И будет он травить постепенно человека эпохи, подсыпая яду ему малыми дозами. И этого, конечно, не знал узурпатор. Да узнают после потомки, найдя волоса высочайшие мышьяк содержащими. И тогда каждый музейчик Франции сочтет за честь иметь волосы Наполеона. И, если волосы те собрать со всех тех музеев, мир ахнул бы: не человек, а прямо тебе горилла, столько волос...

Граф закрывает глаза.

Устал я, голубчик... передохну...

Пауза. Закревский выходит.

Эй, Закрев!

Адъютант вбегает в комнату.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Долго ли спал я?.. Нет, ты не Закревский, где Закревский – мой адъютант? Ты – Денис Давыдов, адъютант Багратиона...

ЗАКРЕВСКИЙ. Хорошо, хорошо, я не Закревский, я- Денис Давыдов, но, ваше сиятельство, ваш адъютант, ваш покорный слуга!

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. И опять эта Шумла в ушах, колокол Сабуровской крепости. И князь Святослав перед глазами... И душа опять покидает тело, и я покидаю землю... Я не хочу, не хочу... послушай, Денис, почитай что-нибудь, сыграй, спой, удержи...

ДЕНИС ДАВЫДОВ. Эти стихи я потом напишу, вы слышите меня, слышите?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Слышу.

ДЕНИС ДАВЫДОВ. Стихи называются «Генералам, танцующим на балу при отъезде моем на войну 1826 года».

Мы несем едино бремя,

Но обычай наш иной:

Вы оставлены на племя,

Я назначен на убой.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*удивляясь слегка*). Нет, все не так, голубчик, все наоборот: это вы, милейший, оставлены на племя.

ДЕНИС ДАВЫДОВ. И еще из тех, что напишутся после – «Современная песня».

Был век бурный, дивный век,

Громкий, величавый;

Был огромный человек,

Расточитель славы.

То был век богатырей!

Но смешались шашки,

И полезли из щелей

Мошки да букашки...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Сие, надеюсь, не про меня (*обеспокоясь*). Не про меня ли?

ДЕНИС ДАВЫДОВ. Ну что вы, полно вам, ваше сиятельство. Это про ваших недоброжелателей, про других таких, что потом.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Нет, ты не мой адъютант, не Закревский... Эй, Закрев!

ЗАКРЕВСКИЙ. Чего изволите, я здесь, Николай Михайлович.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. На главную квартиру прибыл Кутузов Михаил Илларионович. А вы скрываете от меня... Уже третьего дни как прибыл. И принял командование...

ЗАКРЕВСКИЙ. Его светлость привез вам новое назначение. Вам, ваше сиятельство, надлежит отправиться в Одессу...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*откидываясь на подушку*). Я так и знал, так и знал!.. Денис Давыдов, удержи меня, удержи... Голубчик, сыграй на гитаре, спой...

ДЕНИС ДАВЫДОВ (*перебирая струны*).

Я вас люблю не оттого, что вы

Прекрасней всех, что стан ваш негой дышит...

Я вас любил без страха, опасенья

Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, -

Я мог бы вас любить глухим, лишенным зренья...

Я вас любил затем, что это – вы!..

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*с прерывистым дыханьем*). Сияющая, предо мной вершина, она сияет, Денис! Силуэт ее предо мной всю мою жизнь...

ДЕНИС ДАВЫДОВ. Да кто хоть, ваше сиятельство?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Любимая моя, единственная моя... навсегда...

Гитара падает к ногам адъютанта. Он отходит к окну, рыдания сотрясают его.

Нет, не Денис, не Денис Давыдов, не Денис – адъютант милейшего Багратиона, ты Закревский, Арсений Закревский – мой адъютант... И я еще глав-

нокомандующий, я – солдат... Эй, Закрев! Подойди ко мне, положи мне руки на плечи. Удержи меня тут, удержи...

Пауза. Закревский стоит, отирая слезы.

ЗАКРЕВСКИЙ (*шепотом*). Милый вы мой, голубчик вы наш.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Кутузов Михаил Илларионович пусть зайдет попрощаться... Кутузов зайдет попрощаться... Михаил Илларионович... попрощаться... И коляску закладывать, выезжать в Одессу на новое место... но только не через Рымник... Царство ему небесное – Аркадию Александровичу, сыну российского нашего военного гения.

Сцена десятая.

4 мая 1811 года. Берег, устье Днестра по дороге в Одессу. Лошади распряжены, тут же коляска. Граф Каменский лежит на ковре, перед кустом сирени. Он умирает, то теряя сознание, то опять возвращаясь к жизни.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*приходя в себя*). Узнаю местность... когда-то тут умер Потемкин... здесь был⁴рай⁵у наших пращуров...

ЗАКРЕВСКИЙ. Почему вы не хотите Витцмана, почему?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Доктор при Наполеоне... при мне новый адъютант князь Меншиков...

ЗАКРЕВСКИЙ. При чем тут Наполеон?

Пауза. Граф дышит прерывисто, тяжело.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Колокол перестает бить в голове, князь Святослав – Меншиков исчезает... Письма от матушки не было, нет?

ЗАКРЕВСКИЙ. Нет, Николай Михайлович, ваше светлость.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*приподнимая голову*). Сады кругом, соловьи... Как у нас под Орлом, в родовом нашем Сабурово... Похороните меня там, под белым камнем, на берегу Орла-реки... или тут...

ЗАКРЕВСКИЙ. Мы везем вас, граф, в Одессу, на новое место службы.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*воодушевляясь*). А Михаил Илларионович, когда прощались, заплакал, прослезился старик... Закрев, про Одессу не надо. Я знаю

все: перехожу черту и там бываю уже дольше, чем тут... И чемодан мой уж не черный – сияют все стены, и в том сиянии – родные мои, силуэт...

ЗАКРЕВСКИЙ. Вам надо беречь силы, не говорите много.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Лишь одна еще стенка темнеет, но и она вот-вот вспыхнет... Свеча в конце тоннеля... вспыхнет свет от этой свечи...

ЗАКРЕВСКИЙ. Смотрите, сколько людей вас провожают в Одессу, целый эскорт.

Пауза. Вечерет. Граф приподнимается на локоть. Прислушивается.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А все же еще молодой, голос еще не развился... трагедия молодого таланта... Ночи были холодные... но все у него впереди...

ЗАКРЕВСКИЙ. У кого, Николай Михайлович?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. У соловья.

ЗАКРЕВСКИЙ. Да они всегда тут тихони.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (закрывая глаза, улыбаясь про себя). А у нас под Орлом в мае такие горластые!

И катится эхо от голоса:

«А у нас под Орлом такие горластые...

Трагедия молодого таланта...

И будут войны еще у нас за Отечество...

И мы, Каменские, будем не из последних...»

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (делая последние усилия). Поверните меня лицом к первой звезде – к России... Россия вступает в эру Водолея, все виктории будут за ней...

И граф откидывает голову в сторону, умирает. И что-то белое, белокрылое, не чайка ли, срывается в небо. Закревский бросается к графу. И тут же, грянув, бузуют всюю соловьи.

ЗАКРЕВСКИЙ. Я знаю, граф мой, я знаю: доктор Витцман вскрыет ваше тело в Одессе. «Отравлен!» - заявит он ... Еще один солдат погиб за Отечество!.. Слушайте, слушайте – соловьи! Они прилетели к вам, граф, сюда из-под Орла. Здесь, у устья Днестра, - Ирий, рай праславянский. Этот рай для бес-

смертных героев. Слушайте, слушайте эту песню, неподвластную времени, песню, которая будет написана позже, но пелась над головою спящих, усталых солдат и ранее, раньше, всегда.

Пауза. Тишина. Пощелкивают соловьи. И щелканье нарастает, переходит в песню – сначала, едва слышимую, затем с голосами, очеловеченную:

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат.

Пусть солдаты немного поспят.

2. ЗАБЫТЫЙ ФЕЛЬДМАРШАЛ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Граф КАМЕНСКИЙ МИХАИЛ ФЕДОТОВИЧ (отец) – генерал-фельдмаршал, бравший когда-то турецкие крепости за Дунаем, основатель Сабуровской крепости под Орлом.

ИАСОН ДМИТРИЕВ, он же ОЦОН ИВАНОВИЧ – лакей графа, из крепостных.

ПРИЗРАК КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА.

Действие происходит в имении Каменских – в Сабуровской крепости. Накануне гибели старого графа – отца осенью 1809 года. Сабуровская крепость, имитирующая турецкую архитектуру и русскую псевдоготику, напоминает средневековый замок с привидениями.

Сцена первая.

Двухэтажный деревянный дом внутри крепостной стены. Комната на верхнем этаже. Старый граф в бархатном халате с кистями. Полулежит на мягком диване, он курит, потягивая из турецкого кальяна.

СТАРЫЙ ГРАФ (*весь в клубах табачного дыма*). Мой дом – моя крепость, родовое гнездо! По писцовой книге поместье когда-то принадлежало Сабуру – потомку князя Захария Четы – годуновского рода. Князь служил еще

Ивану Калите, потом царю Ивану Васильевичу... Иван Василич и заложил крепость Орел...

Оставляя мундштук, вздыхает тяжело, по-стариковски.

Сказывают, умирающего Ивана носили по сокровищнице, где, перебирая камни, он пытался узнать свою участь. Царь взял несколько камней бирюзы – бирюза изменила свой цвет, побледнела. В испуге царь вскрикнул: меня отравили! Мой камень вещает мне смерть...

Господи, как ни страшно гадать у цыганок, а хочется иногда, тянет. Вот перстень на руке у меня, вот камень наш родословный – рубин. Зело красен, кроваво красен. Н-да, так, кажется: где падала кровь на дно индийского Ганга, образовались рубины.

Старый граф делает затяжку, выпускает дым кольцами.

СТАРЫЙ ГРАФ. Нутес, нутес, Так мы про что? Ах, про судьбу и про камни? Ну да, магический кристалл, таинственность смерти... Кажется, в 1712 году в Париже объявляется голубой алмаз в 115 каратов. Его ограняют в виде не трех-, а четырехгранной, вредоносной такой пирамиды, и вот началось. Людовик XIV вделявает его в крест ордена Золотого Руна – умирает вскоре, затем владельцы камня – графиня Дюбарри растерзана толпой, королева Мария-Антуанетта гильотинирована...

Ну что – потерять, что ли, о рубин ветошкой – от кафтана турецкого паши, убитого в Аккермане? Ага, вот она, эта ветошка... Кровав рубин, зело красен. Голова идет кругом, в глазах зеленые измаки. И все же ветошкой его, ветошкой...

Старый граф трет ветошкой рубиновое кольцо. Склонясь, впивается в него цепким, длительным взглядом.

И что я вижу! Сквозь магический кристалл дымы батальные... Вот судьба моя, вот судьба! От нее не уйдешь... Года мои велики, невозвратны, ноют старые раны. Уж и сыны генералы – Сергей и Николай, оба по стопам отца, там же – в турецкой Болгарии...

Ага, мелькают фортеции, лица, целые армии – свои российские и турецкие. Вспышки орудий, знойные мухи картечи. А вот и моя звезда, с неба летящая, из-под полумесяца. Удар о землю и - взрыв, клуб дыма в виде топора, это смерть моя, смерть...

Все расчерчено, все предписано. Как на карте какой, моей фельмаршальской – командующего Южной армией тогда по молодости, на границе с Османской империей... Кто-то подмигивает мне, кто-то рожи корчит. Вот прямо передо мной тайнопись, знаки – огненные письма: «Я буду убит ударом топора собственным крепостным по имени Озон осенью 1809 года».

Кряхтя, Старый граф поднимается с дивана. Подходит к распахнутому окну. В окно врываються звуки колокола.

СТАРЫЙ ГРАФ. А это Шумла моя – главный колокол! Отлит из пушки, взятой мной в турецкой крепости Шумла. Как грохает! Остальные девять колоколов увиваются вокруг. А этот вещает судьбу... Но я не хочу умирать, не хочу быть убитым уже в этом году. Могуч еще ум, дух силен, а израненное тело слабеет, и уже дает знаки духу, а тот пишет свои письма. Пройти сквозь огни и воды, взять десятки турецких крепостей, видеть смерть тысяч солдат, генералы умирали у тебя на руках, и остаться живым. И тут уже, дома, погибнуть от руки бог знает кого – собственного крепостного! От топора даже не боевого, с каким наши пращуры секлись когда-то со степью. От топора, который не знал ничего, кроме дров...

Петр-Петрушка – умирающий месяц. Его в реке топят, в грязи вываливают, а он всякий раз оживает, встает. Игра такая. И что же жизнь тогда как не игра. Уже вечерет. И зажигаются звезды, вон там на небе Венера – невеста. Всегда между ними одно расстояние – рушник белый, Млечный путь. Как с вечера сейчас, так и будет к утру. А Венера – коза, еще и язык пастуху покажет, язычница, мол, я – меня не догнать никому, никогда.

Давно ли кажется, как и месяц этот, я был молодым, блестящим гвардейским офицером. Шпоры мои гремели по дворцовым паркетам, мне не надо было учиться скользить по ним. Это было с рожденья: вихрь мазурок, глущий

взгляд из-под веера, бледное личико из-за колонны Черт возьми! До сих пор, кажется, чувствую летучесть беглой ручки на эполете... В меня весь Николенька – младший мой и так же, наверное, несчастен...

Сцена вторая.

Старый граф в углу, где горит лампадка, он крестится на икону Божьей Матери. Берет свечу, зажигает ее от лампадки. Так со свечой и идет по переходам, этажам дома, по крепости.

СТАРЫЙ ГРАФ. Ноги уже пришаркивают, как у старика. А все они, эти раны, старые раны. Износился, слабею. И челядь чувствует это, слуги - нагледят, садятся на шею, тащат все из-под носа, как мыши, все метут из сусек.

Вот в этой кладовке (*открывая замок*) – грибы и варенье. Варено не только из наших антоновских яблок, из малины, крыжовника, но и из персиков, апельсинов... Южане эти растут в углу сада – в оранжерее. Я привез саженцы, когда был еще молодым, из Болгарии... Ну да, вишня, крыжовник целы, а персиковое варенье исчезло. Это дети Ерошки-кладовщика, его детишки вились вчера тут, сказать конюху – отодрать ключника на конюшне...

А за этой дверью все, связанное с моими сыновьями – Сергеем и Николаем. Вещи из ихнего детства. Панталончики, деревянные сабли, деревянные кони, ряд в ряд, по годам... А это кладовка барыни – супруги моей. Платья с воланчиками, рюшками, лентами, шляпки парижские – все как зря, в одну кучу. И над всем добром - запах тлена, мышей... Вот уже какой год барыня – жена моя, мать двух моих сыновей – как уехала в Москву. И ни строчки письма, ничего. Вот сила воли, как у унтер-офицера...

Дворянское гнездо, оно приходит в упадок. Староват становилось охранять, ограждать от растащивки, от погромов, пожаров. А сыновья воюют там же, на юге, где в бесчисленных баталиях с турками прошли и твои, граф, молодые, блестящие годы. Они вернутся сюда, я сохраню для них родовое гнездо...

А это – особая дверь, особая кладовая. На эту дверь – два замка, два ключа. Однако кому она нужна, кроме меня? Сюда, кроме меня, не заходит никто.

За дверью – твои вещи, твои сундуки.

Скрежеща ключами, Старый граф отпирает замки.

СТАРЫЙ ГРАФ. Заржавели-то как! Сказать Ерощке, чтобы смазал коровьим маслом... Эту кладовку надо держать в порядке. Это как музей – семейной боевой славы Каменских! Славы Российской армии, русского оружия... Наконец-то, проклятый замок поддался... Ага, сабля кривая, турецкая прямо перед тобой на стене. Я отобрал ее у турецкого паши в крепости Гаджибей, ранив пашу в живот выстрелом из пистолета. И пистолет тут же. Как отсвечивает серебро, даже пыль не скрывает витиеватой чеканки... А это ряд сабель, ряд пистолетов – именное оружие, коим награждали меня как командующего Южной армией... Воевал доблестно, бок о бок с Суворовым... Кажется, до сих пор пистолеты пахнут порохом, а сабли – спекшейся кровью...

А вот в этом сундуке – мундиры мои, шитые золотом. Конечно, время не пощадило шитья. И все же мундир, в котором ты приехал сюда, в Сабурово, после военной компании, должен быть еще ничего. Лежал сверху всего, а валяется почему-то за сундуком. Не могут же крысы да мыши вытащить его, расправиться с ним так беспощадно – с мундиром генерала-фельдмаршала... Кто-то открывает сундук, кто-то бывает. У кого еще ключ от кладовой? Неужто лакей Иансон? Видел его наместни в затрапезном военном мундире. Щеголял перед дворней – без погонов, с оборванными позументами... Негодяй! Он смеется мне в спину, когда я прохожу мимо него. Я старый, дряхлеющий человек, он же молод, полон сил и энергии. Надо будет устроить ему проверку. Разоблачить, вывести на чистую воду. Прекратить, наконец, этот его ехидненький смешок за спиной...

Тени косматые, клочковатые, странные колышутся по стенам. Это даже не тени – бесы какие-то, черти со сверкающими угольями, темными впадинами

глаз, рожей похожи на Иасона... Молодая, бесноватая мразь. Шея длинная, голова аж в облаках. Парень! Я могут лишить тебя этого преимущества!..

Сцена третья.

Старый граф продолжает обход со свечой.

СТАРЫЙ ГРАФ. Вот и вышел во двор, на воздух из духотищи. Ночь тихая, мертвая тишина. Воздух недвижим, свечку даже не шолыхнет, пламечко держится ровно, уверенно. В окнах ни огонька. Дворня спит, как убитая. Живут по-деревенски: ложатся с курами, встают с петухами. Мертвецки пьяны, как только зазеваешься... С ними просто беда, прямо-таки война, баталия скрытная. Ненавижу их, ненавижу. Готов сорваться, засечь шпицрутенами, как солдат...

Справа на фоне светлого краешка неба – острые контуры Михаила Архангела. Церковь двухэтажная, двупрестольная: первый престол – Архангельский, второй – Иоанна Крестителя. С церкви этой и бьет главный колокол – эта Шумла, колокол отлит из турецкой пушки, привезенной мной когда-то из-за Дуная... За церковью – сад гектаров на десять. В дальше, в углу, та самая оранжерея с персиками, апельсинами.

А эта стена предо мной и есть сама Сабуровская крепость. Я построил ее после одной из победных баталий. Но это я так говорил для всех. А внутри созревало: для прикрытия страха, от крепостных... Напоминает Аккерманскую крепость, высота стены метров до четырех. Ворота будят воспоминания о крепостях Ору и Гаджибей. Ледники в виде пирамид, круглые башни... Стредневековый замок, русская псевдоготика...

Я привез сюда только идею! Строили быстро. Потом легенды пошли, мол, тут содержался большой государственный преступник Емельян Пугачев, когда его провозили в железной клетке мимо Орла в Москву. О, эти легенды, мифы! Я не против легенд. Пусть передаются из уст в уста, пусть поются народные песни – о славном роде Каменских, о победах русского оружия.

Говорят, ценность любого камешка, как и этого кроваво-красного рубина на перстне, не только в его каратах, в прозрачности, но еще и в легендах...

Как скрипят доски – старые половицы. Ага, вот ворона сорвалась с крыши и с криком исчезла во тьме! А вот летучая мышь зигзагами, пшмыгает мимо... мимо плеч, мимо глаз, мимо уха... О господи, однако ни одна не зацепила, ни единая! Вампиры какие-то, бестии! Свечка в руке не колышется, остается гореть ровным пламенем, высвечивая кольцо в потолке... Как колотится сердце, все внутри напряжено. Ждешь чего-то, что-то должно произойти... Потереть ветошкой о перстень турецкого паши, об этот кровавый рубин, об этот магический кристалл, для которого не существует никаких преград перед временем...

Старый граф ставит свечку на пол. Огромная косматая тень на потолке качается, шевелится, готовая наброситься сверху, как хищная птица.

СТАРЫЙ ГРАФ (*защищаясь*). Так вот ты кто, - мой вампир! Готов сосать из меня последнюю кровь?.. Прочь, прочь поскорее, потереть ветошкой о рубин! Вот так, вот так!.. Ага, улетаешь, вампир мой кровавый, рубиновый? Но что это светлое, животрепещущее восстает в темном углу, как из пепла? Что это в белом? И, кажется, хочет что-то сказать? Но что – я не слышу. Лишь ветер поднимается за окном в плодовом саду, летучие мыши, вылетев, бьются обратно сюда о стекло. И этот скрипучий, жестяный, совершенно немыслимый голос, как скрип ворот моей крепости, напоминающей Ору и Гаджибей...

- Ты кто? – спрашиваю я тебя. – Кто ты, полувидимый призрак?

И вот его едва различимый ответ:

- Я? Князь Святослав.

- Откуда ты и зачем? Почти через тысячу лет...

- Ха-ха-ха... Я воевал там же тогда, где и ты. В Болгарии черной я поставил даже столицу. Хотел вернуть Русь туда, за Дунай, откуда шли мы сюда, на Днепр, ровно 1200 лет.

- Сколько-сколько?

- 1200... 12000 лет... 1200 лет...

- А откуда?

- Из-за Дуная,.. из-за Дуная... из-за Дуная...

- Кто ты?

- Святослав... Святослав... Святослав...

О господи! Это шелест крыльев, вампиры – летучие мыши? Надо пере-
креститься. И бесы покинут душу твою, душа христианская обретет желанный
покой.

Так, берем свечку с полу. И где за окном церковь Михаила-архангела?
Осеняем себя крестом... Трижды осеняем, вот так... Слава богу, кажется, лету-
чие мыши улетают отсюда, перестают биться в стекло.

Сцена четвертая.

Старый граф смотрит ввысь долго и напряженно.

СТАРЫЙ ГРАФ (*опустив голову*). Ф-фу, как заломило шею! Смотреть так
долго на солнце... А что, денек разыгрался, до вечера будет солнечно. А вече-
ром снова обход со свечой, снова эти вампиры... Тьфу ты! Голова трещит после
вчерашнего. А ведь не пил ни капли, трезв был, как стеклышко... Зато позавче-
ра нахлестался, третьего дни... надо с этим кончать... Да ведь тоска, батюшки
вы мои. Жена где-то в Москве, балы там свои задает, а от сынов с южных гра-
ниц России ни единого слова... И все ж таки надо кончать болеть этой русской
болезнью...

А это вот – оранжерея. Я построил ее сразу же после того, как заложил
яблоневый сад. Это все тоска моя по южной России, по дунайским местам. То
наши фрукты – духовитая среднерусская антоновка, а то ихние, южные – пер-
сики и апельсины. Бог мой! Апельсины уже такие желтые, жаркие, солнышки
маленькие среди зелени! Вот не думалось-то, что они поспевают ранее перси-
ков. Говорят, фрукты сии вызревают только в идеальных условиях, у хороших
людей... Надо послать в Орел губернатору пару цыбарок сих божественных
плодов. С такой примерно реляцией: «Дражайшему от непобедимого»... Нет.

глупости это. Какой он «дражайший» тебе, а ты – какой ты сейчас «непобедимый»? Жалкий, ничтожный старик...

Нет, послать плоды без всего, просто так. Пусть отведают и оценят – наше, сабуровское, орловское!.. И тут ломит из тебя патриот. И тут готов брехать орденами, старый дурак... Поменьше бы распускался, покрепче в вожжах бы себя держал – видения в белом просто так бы не приходили...

· Эй, кто там, в оранжерее?! Кто рвет господские «яхонты» и жрет без разбору?!

Появляется лакей Старого графа.

СТАРЫЙ ГРАФ. А, это ты, Иасон?

ИАСОН. Я, ваше сиятельство.

СТАРЫЙ ГРАФ. А чего это ты облизываешься? Апельсины, что ль, лопаешь? И девки там, что за девки? Губернатору послать – ничего не останется.

ИАСОН. А мы уже отослали, ваше сиятельство.

СТАРЫЙ ГРАФ. Когда?

ИАСОН. Как вы приказали, тотчас и отослали.

СТАРЫЙ ГРАФ (подозрительно). Еще зелеными?

ИАСОН. Нет, почему же, синими.

СТАРЫЙ ГРАФ. Почему это синими?

ИАСОН. На французский манер. Молодое, зеленое – по-ихннему синее! Окунули в синюю краску и отослали.

СТАРЫЙ ГРАФ. Я так не мог приказать! Что я тебе – ненормальный, дурак? Поди на конюшню, скажи Ерощке: пусть он тебе, негодяю, «плепорцию» всыплет, для начала кнутов этак с десятком... Что – не нравится?

ИАСОН. Нравится, нравится, ваше сиятельство. Вдругорядь отошлем прямо зеленые. Чего краску-то переводить?

СТАРЫЙ ГРАФ. А девки чего не поют? Пусть поют.

ИАСОН. А петь некому. Одна только девка на дворе и осталась. Все сбегали в деревню.

СТАРЫЙ ГРАФ. Твоя, что ль? Приведешь ее завтра ко мне – погляжу, чем ты ее в оранжерее тут потчуешь... Слушай, а почему ты мне все «ваше сиятельство», «ваше сиятельство»?

ИАСОН. Так вы же граф, а не князь.

СТАРЫЙ ГРАФ. Ну граф, так что?.. Пил, небось, с вечера, Иасонка?

ИАСОН. А то, что вы – ваше сиятельство. А если бы князь, то – ваша светлость.

СТАРЫЙ ГРАФ (хитровато). А что сказал Великий Князь Святослав о питие на Руси?

ИАСОН. Какой князь, ваше сиятельство? Что-то я такого князя не знаю. У нас под Орлом таких нет, в приятелях ваших.

СТАРЫЙ ГРАФ. И в белое покрывало ты, братец мой, не одевался? Не бродил по крепостным переходам, не был в Круглой башне, где Емельян Пугачев сиживал?

ИАСОН. Никак нет-с, ваше сиятельство.

СТАРЫЙ ГРАФ. Великий Князь Святослав не мой приятель, а гордость нашей истории, всяя Руси! заруби себе на носу... Почти тысячу лет назад он воевал там же в черной Болгарии, где и я по молодости, где сейчас сыны мои – орлы - генералы...

ИАСОН. По сей день воюем за эту Болгарию?

СТАРЫЙ ГРАФ. Так вот Святослав сказал: «Питие есть веселие Руси!» Повтори.

ИАСОН (весело). Питие есть веселая Русь.

СТАРЫЙ ГРАФ. Чему радуешься, дурак? Ну-ка, давай сюда эту банку... Так, синяя краска, еще не высохла... А ну становись, подставляй-ка спину. Так и напишем – вот такими, аршинными буквами: «Дурак». Написали... И кто ты теперь?

ИАСОН. Иасон, ваше сиятельство.

СТАРЫЙ ГРАФ. Нет, теперь ты – «ду-раю»! Понял?.. Ладно, к Ерошке не ходи, десять кнутов тебе отменяются.

Сцена пятая.

Утро, Старый граф в своей комнате, в кресле-качалке. Ноги его укрыты пледом. Граф смотрит в большое зеркало прямо перед собой.

СТАРЫЙ ГРАФ (*вдыхая*). Стар становится фельдмаршал Каменский, песок сыплется... (*в открытую дверь*). Эй, Иасон, Иасонка!

Появляется лакей Иасон.

СТАРЫЙ ГРАФ (*вслух ему*). Вина мне, вина! (*в сторону*). Молодой какой еще, кровь с молоком...

Лакей уходит и возвращается с подносом, на подносе – бутылка со стаканом.

СТАРЫЙ ГРАФ (*отведав*). Почему вино не подогрето?

ИАСОН. Так оно же красное.

СТАРЫЙ ГРАФ. Дурррак!.. Почему ты в другом пиджаке, а не в том, на каком вчера я тебе написал «Дураю»?

Лакей молча булькает графу в стакан.

СТАРЫЙ ГРАФ. Что сказал вчера мне князь Святослав?

Иасон стоит молча.

СТАРЫЙ ГРАФ. А Великий Князь Святослав, который, явившись мне в Круглой башне, приходил вчера из Древней Руси и так сказал: «Питие есть веселие Русю».

Иасон опускает голову.

СТАРЫЙ ГРАФ. Уходи, дурак!.. Так, попробуем вина из нашего винограда, винной ягоды собственной нашей оранжереи... Нет, нельзя пить! Вьлем в окно. Как сверкнул на меня он глазищами! пугачевский взгляд. Еще и отравит... Помилуй, господи! А не его ли – лакея моего Иасона – дворня зовет «Оцоном»? Так не тот ли сие Оцон, от которого, как вещал мне магический кристалл, мой рубин, следует ожидать смерти с помощью топора? Надо Оцонку на конюшню отправить. Нет, сослать куда подальше – в глухую деревню. От такого лакея можно всего ожидать... давно уже смотрит на меня как-то не так, нехорошо.

Сколько раз заставлял его за проказами. То вино господское вылакает, ходит после куражится перед крестьянами. То вытащит из сундука старый мой фельдмаршальский мундир и щеголяет перед девками. Как распоясался!..

В окно слышны девичьи голоса, поют протяжную, заунывную песню.

А и есть у нас в Сабуровой
 Медвежья гора,
 О ту пору лесом густым поросшая.
 Под горою той река текла,
 А в лесу густом дорога шла
 На поместье к другу графскому.
 Был Оцонушка собою хорош.
 Петь умел и ремесла знал.
 Лицо белое, глаза смелые,
 Меж людей идет – все любятояся.
 И была при поместье краса-девица.
 Длинные косы у ней были русые,
 Глаза синие, василешные.
 Росту стройного да приветная,
 Сиротой она при дворе росла.
 Полюбил ее наш Оцонушка,
 Полюбила его краса-девица...

СТАРЫЙ ГРАФ (*улыбаясь*). Ишь, распелись как! Хорошо поют девки русские! Апельсины да персики целей будут, не все-то съедят. Чего-нибудь и мне, графу, останется... Ну так, полюбила красна-девица да не этого ли Оцонушку, мы сейчас у него допытаяся.

Старый граф выходит из комнаты. Появляется лакей Иасон. Собирает на поднос бутылки, стаканы. Оглядевшись, наливает себе из бутылки, выпивает украдкой.

Резко входит в комнату Старый граф. Иасон замирает в дверях с подносом в руках. Проходя, Старый граф смотрит прямо перед собой в большое зеркало-трюмо. Видит в зеркале, как Иасон показывает язык ему вслед.

Развернувшись, граф бьет по щеке лакея.

СТАРЫЙ ГРАФ. Я же тебе говорил, - дуррак! Еще и язык показывать своему благодетелю! (в бешенстве, топоча ногами). На конюшню-ю-ю!! Для начала двадцать плетей, двадцать пять... Вон из лакеев, вон... будешь землю пахать у меня, за свиньями ходить, чистить навоз на скотном дворе...

Иасон бежит поспешно. Старый граф снова садится в кресло-качалку.

СТАРЫЙ ГРАФ. Пугачевщина! Как распустились! Шкуру готовы содрать со своего сиятельнейшего, который их и поит, и кормит, и от черной работы оберегает. Так-то платят дворовые, это челядь, за мои благодеяния...

И еще девки песни ему поют, такому прохвосту, песню ему сочинили. И среди них самая ладная, самая красивая, с синими, василешными глазами... Господи, твоя воля! И что наша жизнь тогда, как не игра? Все мы в каком-то роде артисты, все что-то играем. Девки водят хороводы, военные участвуют в баталиях, называемых «театром военных действий...» Когда-то, еще по молодости, когда ты был при прусском дворе офицером, помнишь ли тот спектакль любительский? Тот спектакль врезался тебе на всю жизнь. Еще бы! ты был достоин похвалы самого Фридриха Великого...

Мы сыграем свадьбу тебе, Оцонушка, с невестой твоей василешной. Кровавыми слезами поплачешь ты у меня, попомнишь Старого графа.

Сцена шестая.

Заходит солнце. Старый граф дремлет в своем кресле-качалке. Плед свешивается с коленей, граф поднимает его, укрывает ноги.

СТАРЫЙ ГРАФ. О ноги, ноги! Сколько пройдено вами за жизнь! Солдатские, офицерские, генеральские версты, фельдмаршальские шаги. Совершить марш-бросок, прошагать полсотни верст, предвидеть противника в неожиданном месте, - кто скажет, что такая жизнь не игра? Режиссеры где-то сверху, иг-

рают даже своими фельдмаршалами. И вот после блистательных побед Суворов – в своем Кончанском, а ты – в этой своей отуреченной крепости... Что знает она о тебе, эта дворня? Когда-то они были солдатами – с косичками, буклями на голове, припорошенными ржаной мукой, в белых рейтузах и зеленых мундирах, с вытаращенными глазами. Когда, бывало, лезли на крепостной вал, думали, что шли на смерть во имя России и в это верили, все тогда были в твоей власти, фельдмаршал. А теперь ты старик, сослан, забыт – и высшим двором, и светом. Вычеркнут из списков, хотя и мог быть не вычеркнутым, фельдмаршалы не вычеркиваются; власть твоя кончается прямо-таки на глазах, даже над этой дворней. А чем поддержать ее, кроме вспышки гнева, победной баталии над Иансоном да пары десятков плетей по его холопской спине? Двор поднял тебя, двор тебя и забыл... Вводят ордена, которые ты и не видывал. Старый, никому не нужный фельдмаршал. Как дряхлая, беззубая собака, которой из сострадания, дабы не пала от глупой, голодной смерти, варят жиденькую похлебку. Плохо доживать до таких лет, когда от тебя остается лишь тень...

Вот князь Святослав – тот погиб молодым, возвращаясь из той же Болгарии, где после и ты, генерал-фельдмаршал Каменский, зарабатывал себе орден. Печенеги сразили князя на Днепровских порогах и сделали из его черепа кубок, пили из кубка вино. Почетна смерть для героя, не то что дожить до таких преклонных лет и медленно умирать в одиночестве.

Я чувствую себя между тем и этим пространством – тем и этим временем. Ага, вот он – мой кроваво-красный рубин, мой магический кристалл. Кажется, цвет его немного слабее, он уже просто красный. Да вот же ветوشка от турецкого мундира. Потрем ею о перстень – о кровавый рубин!..

В сумерках, опять же на пороге комнаты, появляется кто-то в белом – видение в простыне.

СТАРЫЙ ГРАФ. А, это ты, Иасон?

ВИДЕНИЕ В БЕЛОМ. Нет, это не я, это Великий Князь Святослав.

СТАРЫЙ ГРАФ. А чего же голос у тебя, как у лакея моего Иасона?

ВИДЕНИЕ В БЕЛОМ. Нет, это я, Святослав. Видишь, фельдмаршал, в одном ухе у меня золотая серьга с двумя жемчужинами и одним красным рубином.

СТАРЫЙ ГРАФ (*вздыхая*). Да, это ты, князь. Узнаю тебя по рубину и жемчугам... Так что же лучше, князь: когда пьют вино из черепа или когда ты дряхлый уже и топором продырявленный череп твой гложут земные черви?

КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ. Я поставил столицу в Болгарии, я отдал Ярополку – сыну власть в Киеве и потерял Русь. И потому, возвращаясь, так долго стоял на порогах, где мы поели коней.. А ты, фельдмаршал, остаток лет проводишь на родине у себя, на Русской земле...

СТАРЫЙ ГРАФ. Мне видятся пращурсы – предки нашего славного рода – это Ратши, он же Ратмир, или Ратибор. А это его правнук Гаврило Алексич – отважный витязь Александра Невского в битве со шведами. А то внук его Пушка Григорий, основавший род пушкинский, знаменитый, и далее его правнук Роман, живший на реке Каменке основавший другой, уже мой род Каменских

КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ. Ты – русский, да! Но почему двор у тебя полон французов, арапов и даже турок? И сад окружен четырехметровой стеной?

СТАРЫЙ ГРАФ. Черкесы по имени мамелюки охраняли египетских фараонов, шотландцы – французского короля, русские гвардейцы – короля прусского, швейцарцы – папу Римского...

КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ (*растворяясь в двери*). И все равно ты получишь свое... свой удар... все равно...

Видение исчезает.

СТАРЫЙ ГРАФ (*потирая виски*). Душно как. Я, пожалуй, устал, раньше такого слова не знал... Дождь пойти должен, к дождю.... Эй, Иасон, Иасонка! Тьфу ты! Я же отослал его на конюшню.

Тут же появляется Иасон.

СТАРЫЙ ГРАФ. Ты откуда? За дверью, что ли, стоял?

ИАСОН. Никак нет-с. Мы были, как вы приказывали, ... на конюшне....

СТАРЫЙ ГРАФ. Это ты заходил ко мне в простыне?

ИАСОН. Никак нет-с. Мы были на конюшне.

СТАРЫЙ ГРАФ. А ну покажи ухо. И где те две жемчужины и красный рубин, как вот этот? (*показывая на свой перстень*).

ИАСОН. Мистический кристалл-с? Не видели мы никакого кристалла, ничего не знаем-с.

СТАРЫЙ ГРАФ (*раздраженно*). Ну иди, иди!.. Да надень вчерашний пиджак, на каком я написал слово тебе синими буквами! (*в сторону*). Я его прочту...

Сцена седьмая.

Иасон на конюшне сидит на старом седле. По стене развешана конская сбруя.

ИАСОН. Повеситься, что ли, на вожжах? Хотя это и не по-христиански. Намедни один мужик в Орле-реке утонул, так батюшка не стал отпевать его в церкви, мужика похоронили за кладбищем...

Что это означает: «я тебя пррроучу»? Неужто старый хрыч Василешку мою приметил?

И была при поместье краса-девица.

Длинные косы у ней были русые,

Глаза синие, василешные.

Свою барыню упустил. Как в Москву укатила, так уже пятое лето глаз не кажет. Вот и дичает барин тут без нее. Пьет безудержно, уж рожа красная, как рубин с его перстня – этот магический кристалл. Допился до чего! Тени стали мерещиться ему, призраки. Вот уже и Великий Князь Святослав из Древней Руси явился...

И на баб падок стал. Своих тут всех перещупал – из Орла ему привози. Артисток полюбил в одно время. Балеты в Круглой башне ставил, пасторали всякие, все пастушек приласкивал. На Василешку кабы глаз-то не положил, беда будет. Помоложе был бы я, забрили бы уж в солдаты, а то – на конюшню отправил, на черновые работы. А что мы можем, к грязной работе не приучены –

косой махать, вилами намачивать. Мы привычны к тонким делам, к галантному обхождению. Это все дворня тебя обличает: лакей, холуй! А дело лакейское - нервное, деликатное. Между скольких огней-то вертисься, предугадай каприз, любое желание графа. Прими на себя его гнев, а чуть что – в кнуты, как и как-дого...

Вот так и живем. А теперь дрожи еще и за Василешку.

И черт дернул меня язык ему показать! То, бывало, скажет, чтобы выпороли на конюшне, а ты принесешь конюхам бутылочку, они и скажут барину, мол, выпороли лакея-то. Сами понимают, что я ближе всех к барину. Коли что – и им на орехи достанется.

За что переживает граф больше всего, так это за сыновей – Сергея и Николая. Как военная кампания началась, так и принимается гонять нас тут всех, ожидаячи писем. Оба уже в высоких чинах – генералы, а все как дети у него. Сергей еще напишет кое-когда о своих и братовых подвигах, а от Николая редко когда дождешься. И сидит старый, забытый всеми фельдмаршал, нахоться, как ворон какой. Только и знает, что бормочет под нос себе:

- Фортуна от нас, Каменских, опять отвернулась!.. Нет ничего страшнее Господнего и Государева гнева!..

А когда придет письмо, Каменский – первый о здоровье ли, о победе ли сообщит, взбегается Старый граф по двору, вскочит на жеребца да и скачет до самой речки. А вернется, выстроит дворню – французов, турок, арапов – и кричит:

- Ни одна фортеция противу нас, Каменских, не устоит! А почему?

- Да, почему?

- Потому что нет у нас, у Каменских, страха. Сыны мои учились на этой фортеции, вот, - покажет фельдмаршал на четырехметровые стены Сабуровской крепости. – Специально для этого строилась.

Тогда к нему и подкатывайся. Проси, что хочешь – ничего не пожалеет. Когда Каменского – второго назначили главнокомандующим Дунайской армией, надо было мне у Старого графа разрешения попросить жениться на Васи-

лешке. А я момент упустил, вот дурак! Конечно, дурак, кто же еще!.. А когда сын Суворова где-то там же, на юге, утонул, что ли, или пал смертью храбрых, словно сына своего потерял старый фельдмаршал.

- Сашкин сын погиб! – кричит. – Это как же так, что же это такое?

- Да чей сын-то? – спрашивают.

- Да Александра Василича, друга.

И под руку не попадайся, убьет до смерти. А после заперся в комнате своей граф, да так и пропьянствовал две недели. Одним «крялям» из балета и разрешалось войти и вызволить Старого графа из запойной его консистенции.

Вот и сейчас, похоже, приближается эта самая «консистенция». В магический кристалл уперся он, трет его ветошкой, и Великий Князь Святослав является ему аж из Древней Руси – соратник его по баталиям на Болгарской земле. И все в белом, заметим, то привидение... Да вот же та простыня – тут, на конюшне, за всякой рухлядью... Магический кристалл этот дался ему. Великий князь Святослав, Василешка моя мерещатся... замерла девка на сердце моем... что-то должно произойти...

Сцена восьмая.

Старый граф крадется по оранжерее в ту сторону, где дворовые девки поют свою протяжную, заунывную песню. Замерев, граф слушает, как поют они.

А было у графа Каменского

Много люду дворового.

А народ он свой в карты выиграл

И привез со стороны далекой Хабаровской.

И тут перед Старым графом вырастает его бывший лакей Иасон.

ИАСОН (*разведя руки перед ним*). Не ходите туда, ваше сиятельство, не надо!

СТАРЫЙ ГРАФ (*наливаясь кровью*). Да ты что, Оцонка! Меня не пускать – графа, фельдмаршала, своего благодетеля?!

ИАСОН (*падая на колени*). Отдайте за меня любимую мою Василешку! Жените, граф, отошлите с ней хоть куда – хоть в самую дальнюю, глухую деревню. И она меня любит, мы же любим друг друга.

СТАРЫЙ ГРАФ. Вон с дороги!! Негодяй, бунтовщик хуже Пугачева... Запорррю-ю!... Уничтожу-у-у!..

Как побитый, Старый граф уходит обратно в раскрытые двери оранжереи.

ИАСОН (*в необычайном волнении*). Бежать с Василешкой? Куда? Вокруг оранжереи охрана, вокруг крепостной стены графские слуги с дубинами, как солдаты... Старый граф, ваше сиятельство, что же ты делаешь над моей головой?.. Старый граф, забытый всеми старик куролесит над нами. Что-то будет с ней, что-то будет со мной, беда будет... Свет души моей, синеглазка, лебедушка ты моя Василешка!..

Старый граф в своей комнате, в кресле-качалке сидит, нахохлясь.

СТАРЫЙ ГРАФ. В кнуты его, запороть? Слишком мало... Придумать надо что-нибудь этакое... Мы берем ее себе в дом. В доме будет она прислуживать... служить будет мне в натуральном смысле... И Оцонку будет кое-когда зазывать, чтобы видел... Так и сделаем... Эту чернь надо вот где держать – в рукавицах! Не то они все у меня тут разворочают. Стены крепостные – четырехметровые, каменные – не устоят. Только дай потачку, он и в самом деле топором череп тебе разнесет. А мы этого не можем позволить. Это поместье сынов моих, а сыны мои в тяжких трудах добывают славу России. И они должны быть уверены в тыле, в доме своем, в отце.

Что-то холодно мне, колотить начинает, озноб. Тело старое, все тепло ушло в старые раны. Ноги укуром клетчатым пледом, а что для души? Где же наш магический кристалл – перстень главный наш родовой, с кроваво-красным рубином? Где та ветошка от турецкого кафтана? Явись сюда, приди к нам на помощь из Древней Руси, о Великий Князь Святослав.

Вот рубин. Вот и ветошка. Потри ветошкой... Смотрю-смотрю, в угол за дверь, что же ты не являешься, князь? То ли день еще, светло в комнате, а ты

приходишь в сумерках, ночью? Так, закроем окна чем-нибудь, сделаем ночь, не могу же я ждать, когда падет она сама естественным образом... Может, я прогневил чем Господа Бога?..

Начинают звонить в церкви Михаила Архангела. Один колокол главный – басовый, остальные – вокруг него.

СТАРЫЙ ГРАФ. Эта Шумла, а тех всего девять, так и выются вокруг. А Шумла что-то хрипнуть стала, ай треснула, отливали колокол на заводе Дмитрия Пирогова навека ведь служить. Оттого Господь карает Шумлу, что она от неверных – из турецкой пушки, из Шумлы – ихней крепости. Согрешил и ты, не вошел в христианский смысл, а теперь жди за содеянное, за все надобно отвечать...

Уже сумеречно. Уже мог Великий Князь и явиться. Но тру-тру ветошкой о кристалл – ничего. И рубин уже не кровав, просто красен, взяли и смыли с него всю силу. Силу-силушку теряет рубин вместе со мной.

Старый граф наливает вина, выпивает.

СТАРЫЙ ГРАФ (*отирая губы*). Ага, пошло по телу. Прогревает, пробуждает... Кажется, вот и она – долгожданная тень в дверях – в том же белом...

Великий Князь Святослав, это ты? Что молчишь? Рубин горит в твоём ухе, а мой потерял свою силу, значит, можно мне не отвечать?

БЕЛОЕ ПОКРЫВАЛО (*хрипло*). Худо, худо, а будет еще хуже. Старый стал, злой, нехороший, людей мучаешь.

СТАРЫЙ ГРАФ. Да кого хоть?

БЕЛОЕ ПОКРЫВАЛО. А лакея бывшего своего Иасона и подружку его Василешку.

СТАРЫЙ ГРАФ. Голос твой что-то не узнаю, Святослав.

БЕЛОЕ ПОКРЫВАЛО. Я – совесть твоя, Старый граф! Совесть, ваше сиятельство.

Сцена девятая.

Старый граф все в том же кресле-качалке. Ноги укрыты пледом.

СТАРЫЙ ГРАФ. Ну вот вроде и потеплело, когда перевел сюда Василешку. В доме появилась женщина. И на столиках, комодах, у зеркала – столько всяческих пустиачков. Так начинала в этом доме моя дражайшая супруга, подарившая мне сыновей и ныне здравствующая в Москве...

Молодость тянется, тянется, оглянешься – уже пролетела. Кажется, древние греки говорили, что нельзя войти в быстротекущие воды дважды. Кто она мне по возрасту – дочь, конечно. А подумаешь – человек, а у любого человека, старого или молодого, есть душа. Она болит, томится, любить хочет, не смотря ни на что. Это только так кажется, что ты стар уж и немощен. Это тело твое таково, а душа бесконечна, бессмертна.

Когда молоды, люди живут страстями и забывают о Боге. Да какие теперь там страсти у тебя, старика, забытого всеми, все уже позади. И ты уже разве тот фельдмаршал, перед кем трепетали? Ты отправлял на битву, ты даровал и забирал жизнь, ты соперничал в этом с Богом, а теперь, как и все, - человек. И впереди у тебя только Бог, только с ним у тебя и разговор. Дряхлеющий, всеми забытый фельдмаршал, у которого одна только радость – письма из действующей армии, от сыновей. Но и от них никаких вестей уже третий месяц. И только редкие реляции из Москвы о взятии турецких крепостей придают еще сил.

Появляется бывший лакей Иасон. Падает на колени, идет на коленях к Старому графу от самой двери.

ИАСОН. Смилуйте, государь, пощадите... Отдайте за меня мою Василешку... зачем она вам...

СТАРЫЙ ГРАФ (*вцепившись в кресло-качалку*). Прочь, прочь от меня, наваждение!

ИАСОН (*поднимаясь во весь рост*). Не отпустите, нет, ваше сиятельство? Нет-с?!

СТАРЫЙ ГРАФ (*выхватывая из-под себя пистолет*). На конюшню!.. Прочь от меня... застрррело!!

Пятясь, Иасон уходит. Старый граф остается один.

СТАРЫЙ ГРАФ (*морщась*). Примерещилось, что ли, или в самом деле приходил сюда этот Оцонка?

Крутит в руках пистолет.

СТАРЫЙ ГРАФ. Холодок у виска... Нет, так фельдмаршалы не умирают. Фельдмаршалы могут стреляться лишь после проигранных баталий. Ты же, Каменский, не испытал горечи поражения. И если это случится, у тебя не останется ничего, совсем ничего. Даже Бог откажется от тебя...

Он ничтожен, этот Оцонка. Пройти полкомнаты на коленях – неужто так можно? Если бы это было два-три десятка лет назад, там, где брались турецкие фортеции, я бросил бы такого солдата на турецкий вал в числе первых, а перед ним сам бы пошел на приступ.

Пуля – дура, штык – молодец! Пусть уж лучше судьба решает, а не эти проклятые годы, которые сделали из меня то, что я есть.

Итак, граф, где же твой магический кристалл, твой кроваво-красный рубин? Стоит ветошкой потереть да загадать, как является кто-то к тебе, предстает пред твоими очами...

Так, потрем о рубин. Пусть придет сюда к нам Василешка. Пусть войдет сюда эта пава, лебедушка эта Оцонова... ну входи же, входи! Не хочу кликать ее, пусть сама войдет – по наитию, по зову рубина... А не входит. То ли рубин приослаб, стал алым, просто алым, совсем-совсем алым. А то ли тени не являются днем....

Но сейчас уже сумерки, вечер. И пора подниматься из этой качалки и браться за свое привычное дело: со свечой в руках по таинственным переходам, по башням крепости идти проверять кладовые и сундуки. Может, встретится этот призрак из прошлого, соратник твой по баталиям на землях задунайских – Великий Князь Святослав.

Сцена десятая.

Старый граф сидит в запряженной двумя лошадьми коляске. Лошади трусят по дороге. Сгорбясь, возница дремлет, обращенный к графу спиной.

СТАРЫЙ ГРАФ. Проедем Медвежьё гору, а там и лес. А за лесом и речка Орел, а за речкой уже и сам город. А на въезде из Сабурово, на Большой Киевской, уж и дом городской наш.

Возница молчит.

СТАРЫЙ ГРАФ. Охраны не взял, еду без гайдуков. А на что они, я уже не фельдмаршал – простой человек. Старый, забытый всеми, зато ближе к Богу.

Да и что кому я сделал плохого? Разве что на войне изобильно лил свою и чужую кровь? Так на то и война, я и сам ходил на фортеции. А то мирное время. Так соседи – помещики недолюбливают меня, осуждают, а за то, что фельдмаршал.

Возница затягивает протяжную, заунывную песню.

А и был у нас на Сабуровой
Граф жесток, граф Каменский.
Круг поместья его шла литая стена.
А и было у барина у Каменского
Много люду дворового всякого.

СТАРЫЙ ГРАФ (*продолжая*). Вот и еду в Орел к самому губернатору. Презент везу – апельсины да персики. Да не с юга откуда-нибудь, а свои... Лишь один губернатор меня величает – генерал он, а я генерал-фельдмаршал... Я и сам когда-то был генерал-губернатором Рязанским и Тамбовским...

ВОЗНИЦА. И среди всех крестьян был молодчик один.

А и звали его Оцонушка,
Величали Оцоном Ивановичем.
Петь умел и грамоту знал,
Лицо белое, глаза смелые.

СТАРЫЙ ГРАФ. А что это ты про Оцонку-то? Ай больно хорош?

Рожа хуже ведь пугачевской.

Возница не обращает внимания.

СТАРЫЙ ГРАФ. Не пой, неладная песня. Пой другую.... Вот уже мы за Медвежьёй горой у леса.

кой... И о тебе, забытый фельдмаршал, вспомнят вдруг на Руси, о тебе останется слава - боевая, заслуженная. А меня проклянут, но потом уж, когда о нашей с Василешкой любви люди сложат легенды.

Закрывает лицо руками. Так и стоит перед телом загубленного им Старого графа.

ИАСОН. Из черепа Великого Князя Святослава печенеги хоть пили золотое вино. А из твоего черепа, граф, кровь и та вылилась, щедро пав на рубины.

21 апреля 1997 года.

3. ДОН КИХОТ ОРЛОВСКИЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ – старший сын фельдмаршала, генерал в отставке, основатель Орловского театра.

АННА КУЗЬМИНА – примадонна театра Каменского, крепостная актриса.

ТРИШКА-ТРУБАЧ – крепостной музыкант.

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ из прошлого.

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ из будущего.

МУЖСКОЙ ГОЛОС из зала.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС из зала.

Начало осени 1835 года. Маленькая деревушка в Московской губернии. Господский дом из трех комнат, во дворе дощатый сарай - вот и все подворье графа Каменского, некогда богатого орловского помещика, владельца сотен крепостных душ, множества деревень.

Сцена первая.

Утро. Беседка в небольшом тенистом саду, обсаженная сиренью. Посреди стол, широкая лавка в углу. На столе – толстая книга. Над лавкой что-то вроде крыши из досок. На лавке спит кто-то, укрывшись с головой одеялом.

Входит Тришка-трубач. Бесцеремонно расталкивает спящего.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Вставайте, граф, вас ждут великие дела!

Спящий приподнимается – это граф Каменский Сергей Михайлович.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Как Сен-Симона, столько лет поднимаешь меня этой фразой. Только тогда я был богат, у меня были тысячи крепостных. Я был граф натуральный, генерал боевой. а теперь кто?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. А теперь вы – свободный человек. Нет, вы – Рыцарь Печального Образа, Дон Кихот.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Юродивый – вот кто я! Как и ты, Тришка.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Юродивые – простого звания, а вы все-таки граф, генерал! Я пробуждаю вас не только сей сокраментальной фразой, но и звуком военной трубы... Боевой сбор, подъем, сигнал общий!..

Тришка-трубач подносит к губам инструмент, оглашая окрестность высоким, сильным, красивым звуком трубы. Тут же за сиренью по всему подворью возникают детский плач, женские, мужские голоса.

Граф опускает с лавки голые пятки, начинает вставать.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ты – Санчо Панса, мой верный слуга!. Полжизни, Тришка, мечтал я поставить свой главный, милый сердцу спектакль – о Доне Кихоте. Только пьесу мне так никто и не сделал. Не нашлось в Орле подобного рода автора, чтобы роман превратить в пьесу. И вот, видишь (*показывая на книгу*), пишу с Сервантеса сам. Пишу, братец, сей печальный образ всю свою жизнь.

ТРИШКА-ТРУБАЧ (*в сторону*). Ишь, загамели! Поднимается народ, встает на ноги. Сейчас начнется светопредставление (*графу*). Только зря вы им господский дом отдали, да и сарай еще. А сами спите на лавке, на которой не каждый-то черный крестьянин спать пожелал бы.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А где же, по-твоему, его сиятельство черный крестьянин почивать бы изволил?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Да хотя бы на полатях. На печке. На деревянной кровати. А вы, граф, в своем господском доме из трех комнатей кого поселили?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Сам знаешь – кого. В спальне – примадонна наша – Кузьмина Анна, женщина, артистка, ей условия, конечно, нужны. Зеркальце повесить, туалеты на что положить. Зальчик отдал трем сыновьям – у них малые дети. Если дождь, куда же с детьми деваться? А в третьей комнатенке – музыканты со своими инструментами. Сам знаешь, инструмент – вещь тонкая, хрупкая. Если что – и голос недолго ведь потерять.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Сами-то, граф, хоть в сарае бы местушко себе обрели.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Да и в сарае-то есть кому быть – душ сто двадцать всего, пожалуй. Что же я тебе буду в этакой куче? Я все же граф, генерал, наконец, директор театра, единственный режиссер и даже писатель вот, драматург (*показывая на книгу, лежащую на столе*). До Сервантеса добираюсь. И что же брошу себя в этакую пучину? Что же от внутреннего мира моего, от души творческой-то останется? Какого такого Сервантеса мы на сцене представим? Сам-то, оберег, где обретаешься?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. А в будке собачьей. Хороша будка! Триолет в ней жил – не кобель, а что тебе граф чистопородных кровей. Ну я его зашиворот и – в изгнание. Ничего, говорю, и так обойдешься. Сбросил я с тебя, кобеля, цепные оковы, так хоть по крестьянским дворам, говорю, побегаешь. Разведешь, говорю, как граф наш, потомство на стороне.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*обидясь*). Да что ж я тебе кобель, что ли? Что у меня – дети незаконнорожденные, что ли, всюду кучами?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Да почитай в каждой деревне. Своих-то наперечет, небось, знаете... От первой жены – Марии Ивановны - Михаил, Прасковья да Анна. Да от второй – Екатерины Федоровны, урожденной Левшиной, - Николай, Михаил, Андрей, Федор, Варвара... Это – свои, законнорожденные. А что по гробицам да по сеновалам наделали – кто же всех их упомянет.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Я бы тебе, Тришка, язычок-то подрезал. Да враз отправил бы на конюшню! Плетей двадцать-то всыпали бы, знал бы, подлец, как язык распускать... Да память у тебя мерзавца, хороша больно! Всех моих помнишь, а своих – нет... И за что я люблю тебя, стервеца, все прощаю?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. А за то, что правду говорю. Кто же еще вам, граф, ее скажет?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ты – юродивый, лепишь, что попада. Но отлично играешь на инструменте. На полковой трубе. Ты на небо звуками возносишь меня, я перед такими хоть на колени... Подумать только, граф, полный генерал, потомок известного на всю Россию рода Каменских с кем доживает свой век!

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Вы и сами, граф, тоже вроде артист, игрок, это в вас родовое, еще от отца! Помните, рассказывали, как Старый граф, батюшка ваш, по молодости представлял роль в любительском спектакле перед прусским королем Фридрихом, и тот отметил его отменно? И батюшка ваш строил в Сабурово не крепость, не театр, а все вместе. Балеты там представлял. Но с плеткой, гонял артистов, как сидоровых коз, - как же, фельдмаршал, привык так с солдатами. Войну путал с жизнью людей, жизнь называл тоже «театром военных действий».

Да и вы, граф, в те годы были вылитый батюшка.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ *(наливаясь кровью)*. Это в каком же смысле?!

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Во – он кобель наш Тришка, уже прибежал. Ночь по крестьянским подворьям, а как утро – домой является, корми его, сутенера... Сейчас делегация, Сергей Михалыч, прибудет. От артистов. Подслушал вчера разговор: чем кормиться будем да где будем жить – в сарае и далее?.. Скорее так: парламентаром зайвится вертихвостка – примадонна эта Кузьмина Анна, любовь ваша...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Анну не тронь! Не касайся грязными лапами! Анна – талант, надежда нашего театра, что мы все стоим без Анны?

Сцена вторая.

Там же, в беседке. Граф Каменский завтракает в одиночку. Перед ним – горбушка хлеба, три картофелины и две луковицы. Большая глиняная кружка.

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ из будущего. Посмотрели б, как завтракать будет граф Толстой Алексей Николаевич. Даже картину нарисуют такую: куры, фрукты, вино перед ним. Мол, смотрите! А все потому что слуга будил графа не той фразой: не великие дела ждут графа, а заседание Моссовета...

Входит Тришка-трубач.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ты, что ль, голос мне подавал? Кур и фрукты поел, вино попил.

ТРИШКА-ТРУБАЧ *(растерянно)*. К-какие ф-фрукты? Какое вино?

Опасливо оглядывается по сторонам.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Это я все так, проклятые галлюцинации. Ты бы воды ключевой принес, видишь, кружка пуста.

Тришка уходит. Входит Анна Кузьмина – примадонна.

АННА КУЗЬМИНА. Можно, ваше сиятельство?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*смягчая голос*). К директору или к графу, голу-бушка?

АННА КУЗЬМИНИЧНА (*кокетливо*). И к тому, и к другому.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*кивнув на стол*). Это Тришка мой недоел. Побегал за водой. Какой гурман, - воды ключевой ему подавай... Ну и как спалось, Аннушка, в новой спаленке, сны какие явились?

АННА КУЗЬМИНА. Кошмары одни! Все сюжеты орловские.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Орловщина, милая сердцу Орловщина! Это она, российская наша Вандея, меня разорила.

АННА КУЗЬМИНА. Орловщина дала, Орловщина и взяла. Кто же театр с плеткой в руках-то содержит? Актеры – пешки для вас, солдатики оловянные. Куда хочу – туда и поставлю, что хочу – то с ними и сделаю. А вы ведь не государь-император.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Все прошлым живешь, Анна, иллюзиями минувшего. После смерти брата, кажется, в четырнадцатом году, я в Сабурово явился – в родовое поместье. Генерал – прямо из действующей армии. Неотесан, груб-с, душечка! Ну и с плеткой, конечно, театр содержал. Но талант твой, милая, и тогда заметил, ты была еще девочкой, за тебя с родителями целую деревню отдал.

ГОЛОС ЗА СТЕНОЙ из прошлого. Зато сколько раз, граф, ты к ней пытался войти в примерную, домогался все.

ГОЛОС ЗА СТЕНОЙ из будущего. Герцен «Сороку-воровку» напишет, «Колокол» в набат будет бить о судьбе крепостной актрисы.

ГОЛОС ЗА СТЕНОЙ из прошлого. И актеров за малейшее розгами.

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ из будущего. И Лесков напишет «Тупейного художника».

Пауза. Тишина.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*Анне*). Ты что-нибудь слышала?

АННА КУЗЬМИНА. Что именно, ваше сиятельство?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Да голоса... то из прошлого, то из будущего... Лепят мой образ превратно, незаслуженно оскорбительно.

АННА КУЗЬМИНА. Это судьба к вам стучится, ваша судьба. Вы сейчас ближе всех к краю. Это вам... за все преступления ваши. Я же вам говорила тогда: отольются кошке мышкены слезки.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. К краю? Какой же ты стала, Анна! Так нельзя, у тебя же талант.

АННА КУЗЬМИНА. Деньги швыряли направо - налево. А нас, актеров, содержали на воде да на хлебе. И семью заводить не разрешали. Сыграешь в театре какую-нибудь пастушку, и платье твое повесят в гримерной - ходи в лохмотьях и босиком.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ну это ты зря, Аннушка. Я тебя обожал и сейчас обожаю. Ты всегда ходила у меня, как графиня... А знаешь ли, милая, сколько стоило это – создать театр и его содержать? Да, швырял деньги направо – налево, но исключительно для престижа театра. Платил канальям бешеные деньги, взятки давал, выписывал бог знает каких художников, декорации, платья немыслимые. Шутка ли, десять тысяч ассигнациями отвалил за икону великомученика Георгия. Да столько же за иконостас, за серебряные блюда, чашу, прибор для водосвятия. Все, все отдал на добрые дела церкви.

АННА КУЗЬМИНА. Лучше бы актерам на платья да сапоги.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Вот один из моих приездов в Орел из Сабурово. Этот губернский городишко всегда был себе на уме. Только и брал деньгами, чинами да преклонением перед иностранщиной. Своего тут никогда не ценили... Так вот, проезжаю, помню, мимо каменных корпусов присутственных мест, мимо строящегося собора, мимо двухэтажного губернаторского дома – к

самому большому в городе белоколонному дому, вернее, связи строений в целый квартал. Это и есть, как известно вам, наш театр.

И встречает меня вице-директор немец Дейбель.

- Ну и как, говорю, сударь, вы готовы к открытию?

- Все распоряжения ваши выполняются, - сыплет бойко немец. – Библиотекарь Сигизмунд Паратич нашел пьесу для постановки. Выходец из Польши господин Орля – Ошменец в журнале «Друг россиян» готов уделить событию достойное место... Ну и свои тут подвизаются: учитель местной гимназии Богданович оду сочиняет, Иванов стишки пишет. С театра, думалось, и начнем в Орле очищение нравов.

ГОЛОСА ЗА СЦЕНОЙ из будущего. Таланты в этом городе никогда не ценились. Писатель такой знаменитый Тургенев проезжать из Парижа станет мимо родного ему Орла, ибо чиновники знать не хотят никого, кроме себя.

Будет такой писатель великоросский Лесков – уйдет из бытия в сознании, что он «третьестепенный». В Петербурге лежать будет под покосившимся, замшелым крестом, а в Орле и вовсе будет предан забвению.

Пауза. Тишина.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Да, таланты в Орле никогда не ценились. И твой, Анна, тоже.

Анна Кузьмина стоит молча. Затем уходит медленно.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ну вот и забыла, милая, зачем сюда и приходила.

Сцена третья.

Снова утро. Там же, в беседке. Подворье будят звуки трубы.

ТРИШКА-ТРУБАЧ (*расталкивая спящего*). Вставайте, граф, вас ждут великие дела! Сейчас эта примадонна снова заявится. Просить за всех, за себя.

На этот раз граф поднимается резко, одевается быстро.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Все б хорошо – сирень, птахи, небо широкое. Одна беда – икону некуда приспособить, Георгия Победоносца.

Входит Анна Кузьмина. Она в легком прозрачном платье.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*подозрительно*). Чего это ты так вырядилась? Бабочка, что ль, стрекоза из давнишнего, забытого богом спектакля?

АННА КУЗЬМИНА. Да, из спектакля, ваше сиятельство.

Лето красное пропела,
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.

Я и вчера приходила, и сейчас пришла, чтобы сказать... от себя, от всей труппы...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Знаю, знаю. В таком костюме – как от зимы спастись будем, что будем есть, у нас дети.

Входит Тришка-трубач. Стоит, прислушиваясь к разговору.

АННА КУЗЬМИНА. Вы всегда, граф, были такой грубый, бесчувственный, думали лишь о себе, своей славе.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*вставляя*). Слава – это пустота и интриги, заметила?

АННА КУЗЬМИНА. Губернатора после спектакля вы пригласили в дом свой – в роскошь необыкновенную. В передней, помню, висела громадная, сажени в три, картина – изображение Базарджикского боя. В самом центре – вы сами изволили быть, на белом коне, со шпагой обнаженной. Потом в ресторанной комнате потчевали губернатора с женой. А в четыре часа пополудни диковинные часы вам сыграли марш «Слався, слався, храбрый росс!» И нас, актеров, по военному образцу – под барабан, с валторной – препроводили в нашу столовую. Каждому дали паек. И есть мы должны были стоя.

ТРИШКА-ТРУБАЧ (*перебивая ее*). Дабы наедались досыта, а не до бесчувствия... Все за прошлое укоряешь графа, в минувшем застряла. Ты на графа сейчас погляди. Ведь другой же, совсем другой человек!

АННА КУЗЬМИНА. Отпустите нас, граф, отпустите назад в Орел.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Милая моя, дорогая! Ты же лучшей всегда была у меня, тебе первые роли давали. Не было тебе равной после Груни Краченковой

с ее гишпанскими танцами. Помнишь «Калифа Багдадского»? Я же на него более тридцати тысяч ухлопал, копейка в копейку. Что бархату накопил, шитого золотом, шелку, ковров да шалей турецких, да перьев страусовых. Как же, французская опера!.. А творения господина Коцебу? А комедия «Молодые супруги» Грибоедова, мала-мала по форме, а тоже влетела в копейку. Или пьесы Шекспира, Шиллера, Шаховского... Что вы, актеры, знали, сколько все это стоит?..

АННА КУЗЬМИНА. Отпустите, ваше сиятельство, отпустите в Орел. Найдем угол, крышу, общество по себе, пойдем по помещикам.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Как сейчас вижу, граф Каменский стоит на Болховской улице и наделяет нищих деньгами. А после самолично продавал билеты, сидел в кассе билетной, как сын. Последнюю деревню свою Звягинку пустил за долги, расплачиваясь по вексялям – из Москвы, Калуги, Орла...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ты же сердце мое, Анна – Аннушка, тебя-то как я отпущу?

АННА КУЗЬМИНА. Швырялись деньгами, прошвырялись! За рублевую вещь давали 25 рублей ассигнациями, задавали балы... семью свою огромную содержали.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Это во мне прежде говорило – генеральство! А потом я все думал, думал. Сколько ведь пьес всяких, литературы хорошей перчитал в борьбе за репертуар... Они меня и преобразили, воскресили и погубили... К Дону Кихоту пришел вот... Переворот во мне какой-то случился, перелом души и сознания. И задумался я: для чего мы живем, для какого-такого счастья? Да и что оно, счастье-то, в чем – в титулах, деньгах? Все это у меня уже было, прошло, слава Богу.

АННА КУЗЬМИНА. Гордыня вела вас, гордыня. Отец был фельдмаршалом, младший брат – полководец, а вы – вы кто, ваше сиятельство? Отца с братом, уже лежащим под белым камнем, не превзойдешь, да и итог их печален. Вот и ушли вы в театр – основали театр, чтобы первым хоть по этой линии быти...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Матушка, лобушка! Переворот мой случился после встречи с одним человеком. Он помог мне обрести соображение – для чего живет человек, во имя чего? Есть ли совесть в тебе или нет?

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ из прошлого. Румянцев Николай Петрович – сын знаменитого фельдмаршала. И канцлером был, и министром иностранных дел еще в те времена, когда младший Каменский – второй командовал Дунайской армией.

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ из будущего. Меценат и подвижник. Собирать начал старинные книги, древние документы. Целый музей создал, собрание его после переведут в Москву, дом румянцевский выкупят у Пашкова.

Пауза. Тишина.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ничего не слышали, нет?

АННА КУЗЬМИНА. Н-нет.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Я слышал!

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Что слышал, братец ты мой? Верный ты мой слуга Санчо Панса.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. А то, что Румянцев-отец, будущий фельдмаршал, в денщиках когда-то был у царя Петра. И к наследнику Алексею, заключенному в Петропавловку, вошли четверо: сам Румянцев, Чернышов, Толстой и Ушаков... и задушили его подушкой, тот кричал про отца: сыноубийца!

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Молчи, дурак, юродивый! Что ты прешь?!

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Сами же, граф, говорили, отцы получили графские титулы да фельдмаршальские звания, а расплачиваться сыновьям не в одном поколении.

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ из будущего. Самое главное – после царевича жизнь государева ни во что станет. Мало кто своей смертью помрет, а что же тогда говорить о простых смертных?

АННА КУЗЬМИНА. Ваше сиятельство, граф! И зачем вы нас такими несчастными сделали? Взяли из тьмы и дали толику света... Отпустите нас... ну хотя бы тех, у кого малые дети...

Сцена четвертая.

Там же. Граф сидит за столом, листая объемистый том Сервантеса. Отрывается от страницы, смотрит в пространство перед собой.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Что она имела в виду, сказав: «Зачем вы сделали нас такими несчастными»? Может, это вот в «Доне Кихоте»? Когда Дон Кихот вступился за пастушонка, которого кнутом избивал хозяин.. Да, это вот место... И далее Дон Кихот со своим верным слугой и оруженосцем Санчо Пансой продолжили путь. Но стоило им вернуться и снова встретить мальчишку, как тот набросился на Дона Кихота: «Зачем вы, дяденька, защитили меня? Никогда, никогда больше за меня не вступайтесь!» И показал полосы на спине от кнута хозяина, всыпавшего втрое больше, как только рыцарь ушел с глаз долой...

Я вырвал их из брэнности жизни, вложил в них душу и бросил под кнут. За что же им быть благодарными мне – за мучения? За осознание ничтожества своего в этом безбрежном, бессовестном мире – таком несвободном пространстве? Я хочу сделать его свободнее, освободить и освободиться. От грехов своих собственных и грехов наших отцов... Петр Первый был величайшим грешником, сделав грешниками других. До него, после него были «бунты» - крестьянские, дворянские, всякие. Но лишь у Петра была настоящая революция, он хотел изменить в русском народе главное... что именно, как оно называется?

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ из будущего. Менталитет.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Вот именно, менталитет. Опять эти галлоцинии: слуховые, зрительные, даже смысловые. Это у нас, Каменских, родовое, от батюшки... Царь Петр хотел прорубить «окно в Европу», изменить само отношение к существу. Сбрил бороды, одел Русь в камзолы, ввел курение табака, а это все знаки мира другого, не нашего. Но все это зиждется на христианстве. Только у них – на западном, на католичестве, у нас же – на восточном, на православии. Христос там у них – человек, возвышенный до обожествления, но - человек. И люди к нему идут в сумерках ввысь, как по ступенькам, и очищаясь,

и снова срываясь и падая. И дух сумеречен, литература трагична, а бытие прагматично, ибо они стремятся устроить судьбу на земле.

У нас же Христос – идеал, и идеал этот недостижим, не под силу нам, грешным, и мы бьемся в кровь над вопросами, нас мучает совесть, в нас это главное – биться и мучиться, и потому мы были и будем всегда бедны, неустроенны, всегда будем жить на подавание. Бедны всегда, и нам это нравится; бедных легче вести, но далеко ли их уведешь?.. У царя Петра не нашлось продолжателя его дела. Вот почему он был так беспощаден...

Но, странное дело, этот Дон Кихот из Ламанчи тоже мучается вопросами, совестью, он «русский» какой-то, самый «русский» из всех на Западе, не только в гишпанской литературе. Вот и тянет меня к нему. Хочу поставить его на сцене и – не могу. Нам, русским, всегда чего-нибудь не хватает: тогда были деньги, возможности, но не было чего?..

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ из прошлого. Понимания необходимости.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Понимания. Теперь же нет просто-напросто средств... Сражения проигрывают генералы, выигрывают же солдаты. Я выиграю это сражение! Я создам из романа Сервантеса пьесу, сам поставлю ее. А средства найдутся. Пойду в Москву, отыщу Румянцева Николая Петровича. Мы делаем для России великое, общее дело. Мы объявим подписку, добудем деньги... Петербург – ум, строгий немец, чиновник, Москва – матушка, это душа, сердце России...

Главное – сохранить костяк. В Орле мы никому не нужны. Ну что это – актеры ходят по городу босиком, сам директор в лохмотьях, а ведь граф, генерал, - и на кассе. «Вам куда? На галерку? На целковый четыре билета. В партер? Два с полтиной – один билет...» И общество смотрело на сие с отменным равнодушием: власти, помещики, сам губернатор. Пользовались, а понимать не желали, что театр содержать одному не под силу, даже графу. Нужны что? (*к залу*)...

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ из будущего. Дотации, ваше сиятельство. Государственные и общественные.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Вот именно. Разорясь на театре, душу хоть сохранил, веры не потерял. Была бы кость, а мясо-то нарастет...

Верно, мой друг Санчо Панса?

Из-за сирени вылезает Тришка-трубач со всклокоченной головой.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Слушаю, ваше сиятельство.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Что это ты там делал, в сирени-то?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Спал-с.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А говоришь, в будке собачьей почивать изволишь?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Пса стало жалко. Прибежал, а занято – бегают, как бездомный, скулит. Да и вас охранять тут сподручнее.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. От чего охранять-то? Чай, не действующий генерал, не в турецкой кампании.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. От народного гнева.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. От чего, от чего?!

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Про мясо вы говорили, про кости... Про мясо-то уж и не говорю – щец бы хоть похлебать...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ну вот, братец, и распорядись. Актрису Феклу Антоновну – она у нас играла повариху в спектакле – и переведи в повара. А сам хоть дров наколи ей. А насчет мяса сам поеду на днях к соседу – помещику. Чего привезти – говядины или баранины?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Баранинки, ваше сиятельство.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*смеясь*). Губа не дура. Будет вам и баранина.

Сцена пятая.

Та же беседка. Граф Каменский сидит за столом, он пишет, листая толстую книгу.

Появляется Тришка-трубач.

ТРИШКА-ТРУБАЧ (*встревожено*). Ваше сиятельство, бунт. Бунт зреет! В Орел, холеры, хотят уходить. Трагик всех подбивает.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*отрывая голову от бумаг*). Трагик, говоришь, подстрекает?

Вбегает Анна, взволнованная до крайности.

АННА КУЗЬМИНА. Ваше сиятельство! Люди собрались на площади, перед сараем! Хотят вам что-то сказать.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (решительно поднимаясь из-за стола). Это я им хочу что-то сказать, я скажу!.. Труби, юродивый! Боевой сбор, сигнал общий!

Тришка подносит к губам инструмент, звук трубы оглашает окрестность. Граф Каменский выходит на авансцену, перед ним – зрительный зал.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*обращаясь к зрителям, прямо в зал*). Все мы в некотором роде актеры, каждый в жизни играет отведенную ему роль... Я собрал вас, чтобы побеседовать, посоветоваться, поговорить. По душам, по-граждански. Хотя, вы знаете, я – боевой генерал. Вот мои шрамы – бывшие раны. Но теперешнее наше общее положение одинаково. Театральное наше, актерское дело – тонкая, хрупкая, мудрая вещь. Тут главное – душа, а душа – это свобода, свободное пространство. Как душе не навредить? Военной командой тут не поможешь, тут надо все по согласию, миром все, вместе.

ПЕРВЫЙ ГОЛОС из зала. А сек ведь розгами нас, унижал.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Я был генерал и вел с вами себя соответственно, по-солдатски. Простите меня, но ныне уже не генерала, не графа, а, как и вы все, тоже актера, сотоварища вашего в нашей общей театральной судьбе.

Граф кланяется, прикладывая правую руку к сердцу.

ВТОРОЙ ГОЛОС из зала. Мы наги и босы, мы голодны.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Мы покинули наш родной Орел с болью. Правда, сам этот город никогда не ценил таланты, они в нем только рождались, чтобы уехать и обрести имя где-то. А уж после Орел присваивал их имена. Так было, так будет. Чиновники всегда играли в Орле первые роли. Все остальное – для них.

Я спас театр от окончательной гибели. Я вывел вас из ямы сюда, на новое место, ближе к Москве, она – душа и сердце России. Она, матушка, не даст

нам пропасть. Мы начнем новую жизнь. Смотрите, какая кругом красота! Мы построим тут новый театр- зеленый зал, своего рода Версаль. Французский король Людовик, не помню - какой, охотился в окрестностях Парижа. Ему понравилась поляна, высокое место – своего рода «зеленый зал», и он построил прекрасный дворец – дворец искусств... Актеры! Дорогие мои, родные! У нас будет на новом месте новый, свой прекрасный театр!

ПЕРВЫЙ ГОЛОС из зала. Зима уже на носу, а сарай в щелях весь, ветер гуляет.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Я и пьесу пишу, сам пишу для первого спектакля – из романа гишпанского автора Сервантеса. Про Рыцаря Печального Образа, про Дона Кихота. Этот рыцарь, оказывается, очень похож на нас, русских. Не сидится ему в родовом имении, не хочет он доживать в покое свой век. А, как и мы, мучаясь главными вопросами, идет освобождать таких, как все мы, весь видимый человеческий мир.

ВТОРОЙ ГОЛОС из зала. А у нас дети, дети голодны.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Я послал к помещику Брыкину, к вечеру будет баранина. Кого выберем поваром? Давайте актрису Феклу Антонову? Она уже имела роль в спектакле по Крылову «Мастерица варить кашу».

Граф делает глубокий вздох, продолжая.

Нам этот «Дон Кихот» сделает погоду, даст кассу. Прослышав про спектакль, зрители потянутся сюда со всех мест – сначала из окрестных сел и городов, потом из Москвы. Чтоб только посмотреть на талант непревзойденной актрисы Анны Кузьминой, сестер Кабазиных, наших прекрасных Трагиков – отца и сына, старого и молодого, Пахома Козлова, всех вас - дорогие мои, верные служители Мельпомены.

ПЕРВЫЙ ГОЛОС из зала. А дрова кто будет Фекле колоть? Кто печь топить будет? Фекла печь топить не умеет.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Печь топить придется нам научиться.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Я буду колоть! Родом мы из брянских лесов, к этому делу способны.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Да, я богач – бедняк, разорен на театре. Но я поеду в Москву, отыщу Румянцева Николая Петровича, мы обратимся с заемными письмами к лучшим людям Москвы, всей России.

ВТОРОЙ ГОЛОС из зала. Ваше сиятельство, дайте нам вольную, отпустите домой в Орел. Разберемся по обществу, по помещикам, найдем крышу.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*словно на стенку наткнувшись*). В Орел, снова в Орел? По разным местам, по помещикам – снова в рабство, под плети? Вы же люди, вы – актеры! И вам нравится быть во мраке и притесненье? Вам нравятся ваши цепи? Вы не хотите строить Версаль свой, новую жизнь, свободное пространство театра? О люди, люди – порождение крокодилов! Тогда я отпускаю вас, дарю вам вольную – последним моим, всем ста двадцати... Идите от меня, уходите... Нет, погодите, сначала тем, у кого дети: Фомушкиным, Копытовым, Ермишкиным... Ну, ну, и тебя, Фекла Антонова... и некому будет варить нам баранину.

Сцена шестая.

Та же беседка. Граф сидит над рукописью, подперев голову кулаками.

Входит Анна Кузьмина.

АННА КУЗЬМИНА. Они уходят, ваше сиятельство.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*не поднимая головы*). Пусть уходят.

АННА КУЗЬМИНА. Напутствие дали бы, проводили.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Вышлю вольную почтой.

Анна Кузьминична уходит.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Чего еще?

АННА КУЗЬМИНА (*возвращаясь*). Да как же в дорогу-то... без еды и без денег.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Скажи Тришке, пусть отдаст им последнее. И с Богом.

Актриса уходит. Граф снова остается один.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*отрываясь от рукописи*). Вот так и проходит жизнь. Да я, по правде сказать, и зажился. Братец мой Николай Михайлович моложе был и то уж ушел. Много всякого ходило о его скорой гибели. Отравлен? Но кем? На нем тогда сходились интересы сразу трех империй: Франции, Турции, даже России... Прошло время, и думается ныне несколько по-иному: а может, он сам... того... молод же был, горяч, трагичен... от неразделенной любви... Однако не на деньги ли Анны Орловой он, братец мой, имел направление мыслей? После взятия Шумлы он ведь скупал у турок оружие, потратил на пользу Отечеству личные свои миллионы... Правда, что те его миллионы перед деньгами Анны – деньгами графа Алексея Орлова – Чесменского! Чего стоил Хреновской завод с орловскими рысками. И само имя графа... Однако и оно объято тайной и кровью.

А свет не презрел ли Анну за раннюю гибель Николая? И вот она так и осталась в девках, в покаянии, едва не стала монашкой. И матушка наша Анна Павловна после смерти младшего сына просилась к императрице. Но ко двору ее не пустили. Мол, было жестокое обращение, бунт в деревне, убит фельдмаршал. А думается ныне мне – не за то. При муже должна была состоять моя матушка – в деревне, а не в Москве. Тогда бы фельдмаршал, батюшка мой, так бы не одичал.

Входит Анна Кузьминична со свертком. Стоит перед графом молча, тот не замечает ее.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ты что, свет души моей, голубушка моя, ненаглядная Аннушка, что ты?

АННА КУЗЬМИНА. Одни ушли в Орел, другие тоже собираются.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Другие?

АННА КУЗЬМИНА. Да Трагики – отец и сын, старший и молодой. А также Таня Краснова, Матвей Кравченко...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А ты?

Актриса стоит в нерешительности, делает усилие над собой, кладет перед графом сверток.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Что это?

АННА КУЗЬМИНА. Рубашка вам, выстирала и погладила, теперь белоснежная, чистая.

Граф подходит к Анне, кладет руку ей на плечо, притягивает к себе.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Спасибо, родная. ты одна у меня теперь и осталась.

ТРИШКА-ТРУБАЧ *(вылезая из сирени)*. А я?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Наш пострел всюду поспел. Иди дрова коли, готовь-ка, братец, обед.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Я-то пошел, но кто без меня, ваше сиятельство, по утрам поднимать будет вас сакраментальной фразой «Вставайте, граф, вас ждут великие дела?»

ГРАФ КАМЕНСКИЙ *(вздыхая)*. Мы, русские, не такие уж юродивые. Коли надо, тоже топора на свою ногу не бросим... Надеюсь, ты, Аннушка, не такая, как те *(кивнув за сирень, во двор)*.

Отпустив голову, она молча уходит. Граф провожает ее длительным взглядом.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Тепло идет от нее, свет лучистый. К скольким в спальни входил, сколькими владел, а этой боюсь. Обжегся, видно, на Груне. Особо ее в себе берегу все эти долгие годы. Бывало, сам не свой при ней, не то делаю... В конце концов, все эти спектакли, весь этот театр, да все, что случилось со мной, весь этот переворот – от нее, если себе не солгать, сказать откровенно. Все перед ней хотелось себя показать – не стар еще, дух еще есть. А свобода – какая она у графов да генералов? Нет, ее – этой свободы! Это только так кажется, что ты – генерал, ты – граф, ты волен в своих поступках. А вот и не волен, не свободен, может, даже боле, чем они. Ты жертва – рода, времени, государя-императора, себя самого.

А актер, как птица. Где найдет зернышко, там и склюет. «Возлюби ближнего, как самого себя». Чего лукавить-то? Сам себя каждый любит без по-

нуждения... И эти в Орел уходят. О, люди, люди! Отродие наше! О, женщины! Они словно тени: ты – к ним, они – от тебя...

Фельдмаршал-батюшка обожал называть войну театром «военных действий». Я теперь обожаю просто театр, где тоже интриги, тоже игра в жизнь и смерть, только другими средствами. Румянцев Николай Петрович высказался однажды: нам, русским, в сознании всегда не хватало – чего?..

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ из будущего. Мирных приоритетов, граф.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Вот именно, мирных.

Сцена седьмая.

Там же, в беседке. Граф сидит за тем же столом.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Пальба, фейерверк какой-нибудь, двигаться строем, делать все по команде – это медом нас не корми, только давай. А как речь о театре, книге толковой или о коммерции, о свободе ли человека, его высоком предназначении – скулы сводит, зевота, нам это неинтересно. Сверху донизу так, потому что мысль общественная у нас в самом зародыше. А как гражданский чин – генерал, особо военный, все к нему, весь бомонд липнет, весь общественный интерес. Но, посмотрите, как воевать (вот Отечественная была), так пока до срединных губерний не докатились, пока мужик дубину свою не поднял, все бы пятились... Сам генерал, знаю, что говорю...

Слишком много театра в войне, слишком мало в жизни театра. Все у нас слишком всерьез, без игры, по команде. И на что денег у нас (вы заметили?) всегда не хватает, так не на войну, не на сборища всякие, а на хорошую книгу, театр. Это – у нас, а то – у них там, на Западе. И после Петра мы все «прорубаем» в Европу «окно», никак не прорубим. Автор написал «Дона Кихота» в тюрьме ведь, а где мы слышали, чтобы он испытывал с ее изданием трудности? Это мы вечно делим себя, свои средства между приоритетами – Тришкин кафтан...

ТРИШКА-ТРУБАЧ (*возникая из-за сирени*). Ваше сиятельство, про какой это вы Тришкин кафтан? Кафтан пожаловать мне хотите?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Этот кафтан, Тришка, из того же разряда, что и гишпанские сапоги. Локотки протер – со спины взял, на спину поставил – с фалд отрежешь... Ты бы мне, Тришка, поесть что-нибудь поискал. Что ж ты думаешь, генералы святым духом питаются?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Я-то дров наколол, печь истопил, да варить баранину некому. Актриса Фекла, ваше сиятельство, тоже ушедши. Вместо с Трагиком, в его труппе, тоже в Орел.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Как в Орел?! Я же вольную ей не давал.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. А она, говорит, и так обойдусь. К помещику какому-нибудь приспособлюсь. Пока год-другой будут искать, возвращать, дай Бог, граф наш под забором где-нибудь и загнется...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*наливаясь кровью*). Так и сказала?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Еще и добавила. Или с колокольни, говорит, как Шумлу, барина нашего сбросят. Шумлив больно. В дебри ведет – не выберешься. Самое умное в профессии актера – это, говорят, вовремя смыться.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. С удовольствием больно предсказываешь, подлец!

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Так Фекла баранинкой меня угостила. Остальное с собой унесли.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ну, а мне, господину твоему, не осталось ли чего?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Тришкин кафтан. Я съем – вам не достанется. Вы бы съели – мне бы, Тришке, не досталось, Тришке всегда чего-нибудь не доставалось.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ну и что, как мне быть?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Да я кусок спер у них для вас, граф, вот в карман себе положил.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*оживаясь*). Вот хорошо!

ТРИШКА-ТРУБАЧ. А они отняли у меня.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*разочарованно*). Отняли!

ТРИШКА-ТРУБАЧ. А я в другой карман, у меня еще кусок был.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*пугаясь*). Ну и что?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Да цел, цел тот кусок. Я Анне его отдал, чтоб сварила.

Появляется Анна Кузьмина с подносом. На подносе – баранина, в красном помидорах и огурцах.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Аннушка, голубушка! Вот сюда ставь, вот сюда!..

Тришка, марш за вод... за ключевой водой!

Тришка хватает серебряный сосуд и убегает. Граф усаживает актрису напротив, режет мясо, наделяет ее и себя.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*нетерпеливо*). Ну-с. Где же Тришка – наш покорный слуга – с водой своей ключевой?

ТРИШКА-ТРУБАЧ (*вбегая*). Да вот же я, вот!

И бухает серебряный сосуд на стол, тоже садится за стол.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*морщась*). Вот тебе, Тришка, кусочек. Иди и ешь себе там, за сиренью... возле собачьей будки...

Тришка-трубач уходит покорно.

АННА КУЗЬМИНА (*вспыхнув*). Вы, граф, неисправим! Вы прогнали его, а он ведь тоже артист!

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*успокаивая ее*). Он слуга мне, он мой Санчо Панса. А ты – Дульсиня Тобосская! Несравненная моя Дульсиня Тобосская! Эта роль, несравненная, вам весьма подойдет. Вы – графиня моя, вы скрашиваете мое существование, не зная того, уже много лет.

Граф кладет ей руку на кисть.

АННА КУЗЬМИНА. Не надо, граф.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*придвигаясь*). Нет, надо, надо! Я бы мог закрыть театр вовремя, плюнуть на все и остаться владельцем хотя бы нескольких деревень.

АННА КУЗЬМИНА. Вы – игрок, граф.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Но я не бросил театра, я перевез его сюда, под Москву, в надежде, что допишу эту пьесу. И мы поставим все же ее – эту пьесу про Дульсинею. И вы сыграете ее, эту роль, - несравненную мою Дульсинею.

Граф притягивает Анну к себе, Анна замирает у него на плече.

Сцена восьмая.

Там же, в беседке. Актриса Анна Кузьмина держит в руках толстую книгу, с которой работает граф.

АННА КУЗЬМИНА (*задумчиво*). Граф пошел провожать еще одну группу. И эти уходят домой, на Орловщину. Где он у них – этот дом? Театр рассыпается на глазах, скоро от него ничего не останется.

ТРИШКА-ТРУБАЧ (*высовываясь из сирени*). Одни щепки останутся от него.

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ из будущего. Один Щепкин – актер великий такой, один Щепкин... проездом в Орел из Курска на Москву...

АННА КУЗЬМИНА. В Москву, в Москву! Только там обретают признание, через признание - к свободе.

Листает «Дона Кихота».

Ну-ка, ну-ка, что тут у нас о Дульсинее Тобосской? В самом деле, как бы я выглядела в этой роли – молодой крестьянки, в которую влюблен до безумия этот печальный рыцарь... Тогда кто же он, граф наш, действительно, Дон Кихот? А слуга его Тришка-трубач – действительно, Санчо Панса? Дон Кихот в генеральском обличи, с плеткой в руках, с искаженным от злобы лицом, перед нами – актерами. Я тогда была еще девочка, и первые впечатления о графе как о звере алчущем. Неужто человек может так измениться после внутреннего переворота, даже не верится... И все же в нем что-то есть. В них, Каменских, есть что-то печальное до трагичности, какой-то шарм одиночества. Отталкивая от себя, они привлекают чем-то, заставляют страдать вместе с собой.

Вот и братец его Николай Михайлович. Давно, кажется, пора забыть его романтическую любовь к Анне Орловой, этот его безумный порыв, какой, воз-

можно, лишил его жизни. Но стоит же перед глазами и он как первый Рыцарь Печального Образа, за которым вот и второй...

Не верю Сергею Михайловичу, и все же тянет к нему, обливает всю изнутри меня как мурашками, едва он взглянет искоса. И в то же время с детства плеть на стене перед глазами. Он пробудил во мне женщину, но стоило мне, бывало, взглянуть на мужчину, как он слетал коршуном... Богач и бедняк, кнут и пряник, Тришкин кафтан. Кажется, Москва рядом, но как локоток не укусишь, далее, чем от Орла.

Появляется граф. Садится к столу, смотрит прямо перед собой, в пустое пространство.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*вздыхая*). Проводил, наконец. Они домой возвращаются жить, а по мне завьили, как по мертвому. Что тебе Базаржик! Любую фортецию легче взять, чем одолеть такое.

Срывает ветку сирени, дарит ее актрисе.

АННА КУЗЬМИНА. Не находите ли вы, граф, странным, даже двусмысленным мое положение? Я у вас крепостная, а вы дарите мне цветы.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ты же актриса. А я не просто граф, тоже вроде актер – Рыцарь Печального Образа.

АННА КУЗЬМИНА (*дрогнувшим голосом*). Как это печально.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Чем я больше для них что-то делаю, тем больше, кажется, они меня ненавидят. В прошлом, когда плетка висела над ними, вряд ли они меня так ненавидели. А сейчас... я даю вольную старому Трагику, а он мне в лицо плюет. Все до мелочей усчитал, все свои обиды, все мои промахи. Все, оказывается, человек таил у самого сердца и выплеснул в такой момент, когда мне тяжело.

АННА КУЗЬМИНА. Бедный, бедный Робин, куда тебя занесло?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Робин, какой Робин?

АННА КУЗЬМИНА. Из спектакля нашего.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. При чем тут Робинзон? Речь идет о Доне Кихоте.

АННА КУЗЬМИНА. Вы опростились, граф. Вы, действительно, так изменились.

Граф берет руку Анны, целует ее. Начинает целовать каждый палец в отдельности. Потом чуть выше кисти, все выше, выше, добираясь, наконец, до губ.

АННА КУЗЬМИНА (задыхаясь). Не надо... не надо...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Несравненная... моя Дульсинея... Мы нашли, наконец, друг друга... Все мои прежние женщины были пред тобою ничто... Мы умрем в объятиях... в глуши... в шалаше... как Тристан и Изольда...

АННА КУЗЬМИНА. Мы умрем... как Тристан и Изольда...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Сорок тысяч братьев так любить не могут...

АННА КУЗЬМИНА. Сорок тысяч... не могут...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. И сцена будет забыта, забудем, оставим ее, зачем она нам, зачем?

АННА КУЗЬМИНА (*отстранясь*). Зачем? Зачем, говорите, сцена? Да она – вся жизнь моя, вся любовь. В Москву, в Москву, граф! В настоящий, столичный театр!

Сцена девятая.

Там же, в беседке. На широкой лавке, укрывшись одним одеялом, спят двое.

ТРИШКА-ТРУБАЧ (*расталкивая бесцеремонно*). Вставайте, граф, вас ждут великие дела!

Поднимается всклоченная голова – это актриса Анна Кузьмина. Голова ныряет обратно под одеяло.

Тришка-трубач подносит к губам инструмент. Звуки трубы оглашают окрестность.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Боевой сбор... подъем... сигнал общий!!

Граф живо вскакивает с той же лавки.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*шутливо Тришке*). Господин фельдмаршал! Генерал от инфантерии граф Каменский Первый готов к театру военных действий!

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Да уж одну фортецию, батюшка, точно, за ночь-то усоборовал. Это даже не то, что братец ваш, царство ему небесное, Сергей Михайлович, тридцать взял, да ведь за всю кампанию.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Не лепи, юродивый. За кампанию, говорят, и жид удавился.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Это у ксендзов так. А по-нашему, не жид, а еврей. У нас, нации все соразмерны.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Как это «соразмерны»? Одним миром, что ли, мазаны?

Тришка уходит. Одевшись, за ним уходит и граф. Анна остается одна.

АННА КУЗЬМИНА (*расчесывая тяжелую, пушистую косу*). Ну вот и еще один день тут, в глухомани. Но все, как и было. Никаких перемен. А вчера полетели белые мухи, скоро зима. Конечно, не о таком герое мечталось – сед, изворотлив и стар. Помню, когда в Орел вступали драгуны, с надеждой глядели мы тогда на молодцов. Когда расквартировался Павлоградский гусарский полк, с ума сводили голубые мундиры, доломаны с золотыми и серебряными бранденбурами. Однако граф приказал строго: в зал не смотреть! А аплодисменты разрешал только себе да губернатору. И, когда город покидали эти драгуны, гусары, так и не сжав руки твоей в сладком порыве, помнишь, как ты плакалась актеру Пахому Козлову?.. Этот всегда был при тебе...

И всегда над всеми нависала фигура полноватого, лысеющего человека в светло-васильковом фраке, в белом жилете, перехваченном алой лентой, - это все он был, наш граф, его сиятельство Каменский Сергей Михайлович...

- Кузьмину, Кузьмину! – кричали в партере.

А ты сидела в гримерной и трепетала.

А как вел себя граф на репетициях: дармоеды! – и плеткой.

И ты не сыграла главной роли. Подруги ли, поощряющей друга на подвиг, самой ли героини? И вот у тебя власть над ним – некогда недоступным. Годы остепенили его, однако не только его, но и тебя. И образ твой главный не сыгран, нетленен перед тобой. И он по себе героя нашел – Дона Кихота, твоя же героиня – при Доне Кихоте, о ней ли – такой героине – мечталось?

Входит граф. Заметив Анну, умеряет гнев.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Все ушли, все покинули. Все сто двадцать, остались лишь мы с тобой, Аннушка... да еще этот юридивый...

АННА КУЗЬМИНА. Как ушли? Все до единого?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А ведь как начинал! Прибыл в город полным генералом. Построил напротив собора дом себе деревянный, при доме церковь с певчими, живописный театр...

АННА КУЗЬМИНА. Но шли годы – ветшал театр, отваливалась штука-турка, гнили деревянные колонны, подмостки, а мы, актеры, старели... Ваше сиятельство, подпишите вольную ветеранам сцены, достойно служившим Мельпомене, отдавшим ей все...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ушли! Бросили! Запорю!! Уничтожу!!

АННА КУЗЬМИНА. Ваше сиятельство и бумага уже составлена...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*затихая*). И кого бросили. Ветерана сцены, сотоварища своего.

АННА КУЗЬМИНА. Ваше сиятельство, благодетель вы наш...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А сколько нами спектаклей поставлено. Сколько пережито за каждый. Денег, крови сколько потрачено.

АННА КУЗЬМИНА. Ваше сиятельство, благодете...

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (*кладя бумагу на стол*). Эх, люди-и-и!..

И подписывает бумагу, резко уходит. Из сиреней вылезают двое – это актеры. На лице их вопрос: ну что?

АННА КУЗЬМИНА. Вот она, вольная-то! На всех (*оборачиваясь в сторону, куда удалился граф*). В Москву собрался! Умрет где-нибудь по забором.

Все трое уходят. Озираясь, из сирени выбирается Тришка-трубач.

Смотрит вслед им. Появляется граф.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ну и что тут творишь, все юродствуешь?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Эх, ваше сиятельство, ваше сиятельство! Кто юродствует?.. Ушла в Орел ваша Аннушка вместе с актерами – Матвеем Кравченко и Пахомом Козловым. А напоследок еще и сказала, околеете вы, граф, где-нибудь под забором.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ой, врешь, братец, врешь.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Не я бью – судьба!

Сцена десятая.

Там же, в беседке. Те же двое – граф Каменский и Тришка-трубач.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (Тришке). Хочу вот закончить пьеску про Дона Кихота, немного осталось.

И граф продолжает писать. Тришка-трубач отходит в сторону.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Кому она теперь нужна-то, пьеска-то ваша?

И Тришка начинает утешать графа, чем только может. То курицей закудахтает тихонечко, телком замычит, то соловьем запленькает, как ребенок заплачет, или подшибленной собакой завоет, заворкует по-голубиному. Граф вслушивается в Тришкин концерт.

Пауза. Тишина.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (неожиданно). Знаешь, Тришка, что в армии полагается за дезертирство?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Что, ваше сиятельство?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Пуля.

Копается в плетеном бауле, наконец, достает сверток, кладет на стол.

Вот последнее. Семейная реликвия. Чаша, блюдо и четыре лампы, на коих увековечено имя отца. Кому бы это продать, дорогой мой Санчо Панса? Соседу, что ли, помещику Брыкину?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Что вы, ваше сиятельство. У него и денег-то нет таких. Мелкопоместен, нищеврод-с.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А как же быть?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Пойдем в Москву, понесем крест до самой первопрестольной. Добро такое не даст пропасть под забором. Там, в Москве, и продадим. Москва – город богатый.

Тришка выходит. Появляется, держа что-то за спиной.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Что там у тебя?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Ничего-с.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Как это ничего. А сверток?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Ах, сверток? Какой сверток?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Ты юродивого тут не корчи. Спектакль окончен, театр развалился.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Это вот что, ваше сиятельство. Рубаха чистая, безукоризненной белизны. Для вас лично.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (в порыве, обнимая Тришку). Вот молодец! Нет, какой ты у меня молодец! Что нужно человеку для счастья – малую толику. Всего-то рубаха чистая, белоснежно чистая, с чистым воротником.

Граф бросает взгляд на бумагу, в которую завернута была рубаха.

Собственно, та же бумага, та же... Ах, плут! Ах ты, разбойник! Это Анна выстирала мне рубаху! Аннушка ее мне оставила!

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Наш граф всегда ходить должен чисто. На то вы и графья, благодетели наши.

Пауза. Граф одевает белую рубаху. Пытается поглядеться в зеркало, но зеркала нет.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Чай, далеко ушли-то уже, а? И Аннушка с ними.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Чай, далеко.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Чтоб вернуть.

ТРИШКА-ТРУБАЧ. А зачем?

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. А в глаза ей глянуть. Как это она смогла уйти без моего последнего слова?

ТРИШКА-ТРУБАЧ. Сейчас мы ее позовем, нашу голубушку, надежду нашу.

Тришка прикладывает к губам инструмент, и сильный, высокий, красивый звук трубы овладевает пространством.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (в большом волнении, шепотом). Полковая труба! Боевой сбор... подъем... сигнал общий!

Пауза. Возникают, приближаются голоса. Во двор входит Анна-актриса. Останавливается перед Каменским.

АННА КУЗЬМИНА. Звали нас, граф?

Граф смотрит на нее изумленно, туда за нее – на дорогу, где все остальные, – прямо в зрительный зал. Слеза катится у него по щеке. Широко и размашисто граф крестит их – сразу всех там, на дороге.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Дай Бог смысла, удачи вам, дорогие! Тебе, Аннушка, вам, мои сотоварищи, в вашем не таком уж и безнадежном деле в Орле! А мы с Тришкой уж как-нибудь тут доживем.

Пауза. Утро, та же беседка. Летят белые мухи – снег. Кто-то спит на широкой лавке.

Появляется Тришка-трубач.

ТРИШКА-ТРУБАЧ (над спящим, в самое ухо). Вставайте, граф, нас с вами ждут великие дела!

Тришка прикладывает к губам инструмент, и звуки трубы летят, тревожа, одушевляют окрестности.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ (приподнимаясь с лавки, хриловато). Боевой сбор... подъем... сигнал общий!

Сутулясь слегка, граф выходит на авансцену. И говорит прямо в зрительный зал, набирая голосу, под конец уже восхищенно.

Видите, и мы собрались в дорогу. В Москву! Без нее у нас никуда. Долог путь наш, мы знаем, невообразимо труден. Мы вступаем в эру Водолея вместе со всей Россией-матушкой, меняя военные приоритеты, наконец-то, на мирные, а это не так-то просто. Может быть, и погибнем с тобой мы, Тришка, где-нибудь по дороге. Но в сознании живо наше дело, наш театр не будет забыт. Не правду сказал ты, юродивый, что от нас останутся одни щепки. Что зря мы жили и мучились. От нас остается самое главное – души наши, вы, люди! Вы расскажете вашим детям, потомкам нашим про нас: как, служа театру, меняя жизнь, они менялись и сами, они были первыми!

14 мая 1997 года,

г.Орел.

МИСТИКА СЛОВ

Госдуме России посвящается за
ее подвижнический труды
в области русского языка

Вопросы.

«Л.М.Золотареву.

Уважаемый Леонард Михайлович!

Сотрудники Тургеневской Энциклопедии, готовящейся к изданию, убедительно просят Вас ответить на вопросы:

1. Имя Тургенева, мир Тургенева...

Что это значит для Вас?

2. Что Вы думаете о проблеме «И.С.Тургенев и современная литература?»

3. Оказал ли влияние на Вас, Ваше творчество Тургенев?

Спасибо».

Ответы. Сотрудникам Тургеневской Энциклопедии.

Первое. Слишком привыкли мы все употреблять «край тургеневский», «город Тургенева»! Порой забываем, какие подвиги совершаем. Слышу намерни, а давайте-ка мы университету, возведшему наш Орел в статус университетских городов, присвоим славное имя Тургенева. Уж и забыли, что присваивали ранее пединституту, из которого и преобразовался наш классический университет; еще раньше присваивали имя это облдрамтеатру, улице, школе какой-то.

Что ни говори, земля Орловская славна именами, прямо-таки «бермудский треугольник» - магнетический комплекс, невероятны таинственные силы земли, которые ярче всего выразились в речи народной, в русском языке. Работая в областных газетах, уже будучи писателем, Орловщину нашу обошел, обегал, объехал всю вдоль и поперек. Больше других вели меня имена Толстого и Тургенева. Мест, связанных с ними, у нас тут достаточно. Даже людей живьем успел застать, какие сами лично или их родичи знавали писателей. Скажем, встречался я с дедами из залегощенских Кочетов, что участвовали в крестьянской свадьбе, разыгранной Толстым. Или знал бригадиршу из хотынецкого Льгова – племянницу известного тургеневского Сучка из одноименного рассказа.

И ярка же тут у нас народная речь! Таланты в самородной стихии – просто жуть! Вот они, те невероятные силы земли в речи народной как отголоски образности еще древней, языческой, дохристианской. Дольше других сохранял наш край дух и настрой вятический, праотцовский. И вот на такой базе – метафорической, первоосновной, идущей из таинственных биоэнергетических недр, и вознеся наш русский язык. А уж на ниве народной и вымахнула классическая литература, родились писатели-классики.

Только все дело-то в чем? Тут все они получали толчок, природно-словесный, энергетический заряд, а писателями становились где-то уже на стороне. Тут у нас всегда, во все времена, как говорится, хватало мракобесия.

Ну и что особо сказать о Тургеневе? Что означает для меня его мир? Тургенев пешком ходил, бывало, с собакой, ружьишком, а я – с пером журналистским по его следам. И что понял? А много чего. Тонкого настрой он, Тургенев, был человек. Дух его от земли в небо веялся. От Калиныча в нем что-то было, однако достоинства большего. Поет, бывало, он внутри себя (я так понимаю), когда пишет. Вот и вырывается из него это «Утро туманное» - до сих пор знаковый романс, гимн русских интеллигентов. Вот и сейчас как запоешь его в какой-нибудь российской культурной среде, так все за тобой – любой подтянет, ей богу.

Вот главное качество, как мне кажется, у Тургенева: учил он и учит жить певчески, поэтически, а не хищнически. И это ощущение очень важно для современности. Большой человек, классик, а рабом тебя не делает, не закрепощает, как иные сегодняшние пытаются – ровно на голову меньшие. И почему липнет к Тургеневу всякая всячина? Ведь ни голоса, ни слуха у иного, ни царя в голове, а только «блямба» на ухо, вроде подушки на сон грядущий, чтобы прикрыться чем-то хорошеньким, утвержденным в культуре. Тем же Тургеневым, Буниным, Фетом, Пушкиным... Слава богу, не знают, бедные, чего вытворяют с ними потомки...

Второе. Да, Тургенев очень современен. Еще со школы он знаком нам больше как «чистый» реалист, автор «Записок охотника». И гораздо меньше знают его, как автора еще и фантастических, т.н. «таинственных» повестей («Призраки», «Собака», «Сон», «Клара Милич (После смерти)», «Странная история»), переведенных и не переведенных на французский язык. Так вот, в этих своих фантастических произведениях И.С.Тургенев заглядывает прямо сюда к нам через век 20-й – в век 21-й. Реализм в иных вещах настолько романтизирован, приближен к ирреальному миру, грань прямо-таки исчезает. И такая открывается перспектива в преобразении изображения, в постижении мира реального и ирреального, инобытийного через фантастику и другие романтически усиленные

средства, которые Тургенев клал в палитру всей своей творческой жизни, особенно в поздний период.

И третье. О влиянии. Не знаю. Влиял ли он на меня? Стихийно, наверно. А скорее всего косвенно - через народ, в котором и я живу и работаю. Две линии в русской литературе, как и в себе самом, вижу и ощущаю: Пушкин - Тургенев - Бунин... протопоп Аввакум - Лесков - Платонов...

В тургеневской прозе мне ближе всего музыкальность, сложный ритмический рисунок. Не боясь повториться, скажу, мне так кажется, вот он писал свою прозу и внутренне подпевал себе. Так и я - пишу, пашу и сам себе, подпевая, грешу - прозой ли, стихом ли мне - все равно. Самые сложные ритмы хорошо улавливаются под внутреннюю музыку русского слова, в океане судьбы - среди любимых лиц, звона птиц, колошения травы, колотящей тебя, когда идешь с лугов, по ушам, по груди, по коленкам. Красиво выражать красоту - вот чему еще учит Тургенев! А не красоты, боже избавь. Чувству меры. Господи, кругом фальши-то сколько, компьютерные разработки. А Тургенев - это мелодия, гибкость русского слова, гармония разума и песня живой, красивой души.

Вспомнишь Тургенева - не забудешь Россию, Родину никогда! Вспомнишь и лица, давно позабытые.

* * *

О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы

Русская поэзия и русская культура.

Тургеневъ и Толстой - враги. Это вражда стихійная, безсознательная и глубокая. Конечно, оба писателя могли стать выше случайныхъ обстоятельствъ, благодаря которымъ вражда выяснилась. Но вместе съ темъ оба чувствовали, что они враги не по своей воле, а по своей природе. Оба въ своемъ различіи столь близкіе и дружественные нашему сердцу, они стояли непримиримые другъ противъ друга, какъ великіе представители двухъ первоначальныхъ вечно борющихся человеческихъ типовъ. Изъ писемъ Толстого къ Фету видно, что ссора едва не кончилась дуэлью. Толстой, что можно заключить изъ техъ же писемъ, часто отзывался о произведеніяхъ Тургенева съ глубокой неприязнью. Тургеневъ объ этомъ зналъ.

И вотъ передъ самой смертью онъ пишетъ следующее письмо:

«Буживаль, 27 или 28 іюня 1883 г.

Милый и дорогой Левъ Николаевичъ, долго вамъ не писалъ, ибо былъ и есть, говоря прямо, на смертномъ одре. Выздороветь я не могу, и думать объ этомъ нечего. Пишу же я вамъ, собственно, чтобы сказать вамъ, какъ я былъ радъ быть вашимъ современникомъ и чтобы выразить вамъ мою последнюю искреннюю просьбу.

Другъ мой, вернитесь къ литературной деятельности! Ведь этотъ даръ вамъ оттуда, откуда все другое. Ахъ, какъ я былъ бы счастливъ, если бъ могъ подумать, что просьба моя такъ на васъ подействуетъ! Я же человекъ конченый... Ни ходить, ни есть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это!

Друг мой, великій писатель русской земли, внимайте моей просьбе! Дайте мне знать, если вы получите эту бумажку, и позвольте еще разъ обнять васъ, вашу жену, всехъ вашихъ... Не могу больше... Усталъ!»

Таковы последнія слова Тургенева. На краю гроба онъ понялъ, что сердцу его старинный врагъ - ближе всехъ друзей, что даже на земле, быть можетъ, онъ его единственный другъ. Онъ завещаетъ своему врагу, своему брату «великому писателю русской земли» то, что для него было самага дорогого въ жизни, - будущность русской литературы.

Темъ пророческимъ взглядомъ, который бываетъ у людей передъ смертью, онъ предвидитъ грядущее бедствіе, падение русской литературы. А для Тургенева это было однимъ изъ величайшихъ бедствій, которыя могутъ посетить русскую землю.

Онъ былъ правъ: языкъ-воплощеніе народнаго духа; вотъ почему падение русскаго языка и литературы есть въ то же время паденіе русскаго духа. Это воистину самое тяжкое бедствіе, какое можетъ поразить великую страну. Я употребляю слово *бедствіе* вовсе не для метафоры, а вполне искренне и точно. Въ самомъ деле, отъ перваго до последняго, отъ малаго до великаго, - для всехъ насъ паденіе русскаго сознанія, русской литературы, можетъ быть, и менее заметное, но нисколько не менее действительное и страшное бедствіе, чемъ война, болѣзни и голодь.

Я хорошо знаю, что тема эта составляетъ еще съ незапамятныхъ временъ излюбленное общее место рецензентовъ, не притупляющееся оружіе всехъ литературныхъ лагерей, всехъ обиженныхъ самолюбій. Во времена Пушкина критики такъ же красноречиво оплакивали безнадежное паденіе русской литературы, какъ во времена Тургенева, Достоевскаго и Толстого. Старики любятъ употреблять это оружіе противъ молодыхъ. Отживающіе искренне убеждены, что во времена ихъ молодости и небо было яснее, и земля плодороднее, и девушки красивее, и писатели талантливее. Но характерная черта

такихъ недобросовѣстныхъ и неосновательныхъ жалобъ на паденіе литературы - личная нота, торжествующая насмѣшка и *злорадство*.

Мне могутъ сделать и другое возраженіе: «только что кончилась великая эпоха Достоевскаго, Гончарова, Толстого, Тургенева, даже не кончилась, потому что послѣднія произведенія Толстого относятся къ послѣднимъ днямъ современной литературы. Собственно, и о причинахъ паденія нечего говорить, ибо они сами по себе слишкомъ ясны. Наступаетъ вѣкъ литературныхъ эпигоновъ. А талантовъ нѣтъ, потому что ни одна историческая эпоха, какъ бы она ни была плодотворна, ни одинъ народъ не можетъ производить геніевъ непрерывно. Но явись въ наши дни новая сила, равная прежнимъ, и не было бы речи ни о какомъ литературномъ упадке».

Прежде всего, я долженъ разграничить литературу отъ поэзіи. Я заранее готовъ согласиться, что въ сущности это вопросъ иногда сливающихся оттенковъ и почти неуловимыхъ степеней, но для моей задачи они имеютъ большое значеніе. Поэзія - сила первобытная и вечная, *стихійная*, произвольный и непосредственный даръ Божій. Люди надъ нею почти не властны, какъ надъ безцельными и прекрасными явленіями природы, надъ восходомъ и закатомъ свѣтилъ, надъ затишьемъ и бурями океана. Поэтическія откровенія доступны и ребенку, и дикарю, и Гёте, и лодочнику, напевающему октавы Тассо, и Гомеру. Поэтъ можетъ быть великимъ въ полномъ одиночестве. Сила вдохновенія не должна зависеть отъ того, внимаетъ ли певцу человечество или двое, трое, или даже никто.

Литература зиждется на стихійныхъ силахъ поэзіи такъ же, какъ міровая культура - на первобытныхъ силахъ природы. Песни блаженнаго слепого старика, который бродилъ по побережьямъ Іоніи, среди воинственныхъ племенъ Эллады, конечно, не могли быть литературной силой.

Но вотъ черезъ несколько столетій въ Афинахъ, въ эпоху Перикла, въ среде великихъ греческихъ писателей и философовъ Гомеръ пріобрѣтаетъ совершенно

новое, не только поэтическое, но и литературное значеніе. Гомеръ становится родоначальникомъ целой школы художниковъ и писателей. Едва ли не каждая строчка греческой литературы отмечена неизгладимой печатью его генія. Вы до сихъ поръ чувствуете духъ Гомера въ какой-нибудь полустертой надписи на могильномъ мраморе, какъ и въ діалогахъ Платона, и въ шуткахъ Аристофана, и въ походномъ дневнике Ксенофонта, и въ нежныхъ, какъ мраморъ Парфенона, подобныхъ самымъ чистымъ христіанскимъ гимнамъ, лирическихъ хорахъ Софокла. Духъ Гомера - ненарушимая литературная связь между всеми отдельными поэтическими явленіями Греціи, какъ бы они ни были различны по своимъ индивидуальнымъ чертамъ. Много вековъ спустя, уже въ окаменелой Византіи, въ мрачный полумонашескій векъ Феодосія Великаго, среди глубокаго литературнаго упадка все еще веетъ живучее, ничемъ неистребимое благоуханіе древнихъ іоническихъ рапсодій въ любовной идилліи Лонгуса «Дафнисъ и Хлоя». Великая литература до послѣдняго вздоха осталась верной своему родоначальнику. Въ поэтической прозе Лонгуса слышатся иногда какъ будто послѣдніе отзвуки древняго гекзаметра Одиссеи, какъ отдаленный гулъ іоническихъ волнъ.

Въ сущности литература та же поэзія, но только разсматриваемая не съ точки зренія индивидуальнаго творчества отдельныхъ художниковъ, а какъ сила движущая цѣлыя поколенія, цѣлыя народы по известному культурному пути, какъ преемственность поэтическихъ явленій, передаваемыхъ изъ века въ векъ и объединенныхъ великимъ историческимъ началомъ.

Всякое литературное теченіе такъ же порождается поэзіей, какъ известная школа живописи, известный стиль - архитектурой.

Подобные таланты, какъ, напр., Гирландайо или Вероккіо - художники, подготовившіе расцветъ Флорентійской живописи, могли возникнуть и въ другой странѣ, и въ другую эпоху. Но нигде въ міре они не имели бы того поразительнаго значенія, какъ именно на этомъ маленькомъ клочке земли, у подошвы Санъ-

Миньято, на берегахъ мутно-зеленаго Арно. Здесь, и только здесь, у Гирландайо, могъ явиться такой ученикъ, какъ Буонаротти, у Вероккио - Леонардо да-Винчи. Нужна была именно эта атмосфера флорентинскихъ мастерскихъ, воздухъ, насыщенный запахомъ красокъ и мраморной пыли, для того, чтобы распустились редкіе, дотоле невиданные цветы человеческого генія. Какъ будто, въ самомъ деле, свободный, мрачный и пламенный духъ неукротимаго народа долго томился въ своей немоте, бродилъ, искалъ воплощенія и не могъ найти. Онъ едва-едва брезжить, какъ мысль сквозь тяжелый полусонъ, какъ бледная полоска въ утреннихъ тучахъ, - въ задумчивыхъ, большихъ глазахъ еще иконописныхъ, полувизантийскихъ мадоннъ Чимабуэ, онъ проясняется въ мощномъ реализмѣ Джіотто, сіяеть уже яркимъ светомъ у Гирландайо, у Вероккио, на время отклоняется въ религиозной живописи Фра Анжелико, чтобы вдругъ, наконецъ, какъ молнія изъ тучи, вырваться съ ослепительнымъ блескомъ и все озарить въ титаническомъ Микель-Анжело и загадочномъ Леонардо да-Винчи. Какое торжество для народа! Отныне флорентинскій духъ нашелъ себе полное выраженіе, неистребимую форму. Вокругъ него могутъ происходить всевозможные перевороты, все можетъ рушиться: Флоренція Возрожденія сама себя нашла, она есть, она - безсмертна, какъ Афины Перикла, какъ Римъ Августа. Я узнаю мощный резецъ Донателло въ отчеканенныхъ, съ ихъ металлическимъ звукомъ, терцинахъ Аллигieri. На всемъ печать мрачнаго, свободного и неукротимаго духа флорентинскаго. Онъ чувствуется въ самыхъ ничтожныхъ подробностяхъ архитектуры, - вотъ въ этихъ несравненно прекрасныхъ чугунныхъ грифонахъ, которые вбиты въ камень на уличныхъ перекресткахъ по угламъ палаццо, чтобы поддерживать факелы ночью. Такъ въ двестишii греческой эпиграммы я узнаю духъ Гомера, въ ничтожномъ обломке мрамора, наполовину скрытомъ мохомъ и землею, - стиль іонической колонны.

На всехъ созданіяхъ истинно-великихъ культуръ, какъ на монетахъ, отчеканенъ ликъ одного властелина. Этотъ властелинъ - геній народа.

В наши дни нечто подобное, хотя в меньших размерах, повторяется в преемственности литературных школ Франции. В эпоху романтизма, в атмосфере всеобщего экстаза, в ожесточенных спорах, в оригинальных кружках Латинского квартала - был какой-то трепет жизни, какое-то творческое дуновение, несомненно плодотворное для всей последующей культурной жизни Франции. Впоследствии реакция против романтической лжи довела литературу до нелепых крайностей грубого, жестокого и теперь, в свою очередь, мертвешающего натурализма. И вот мы уже присутствуем при первых неясных усилиях народного гения найти новые творческие пути, новые сочетания жизненной правды с величайшим идеализмом. Теперь на берегах Сены тот же воздух, какой был за пятьсот лет на берегах Арно. Стихийные разрозненные явления поэзии вот уже три вка превратились здесь в стройную, могучую систему, как некогда в Греции, как живопись во Флоренции, благодаря преемственности целых литературных поколений, объединенных всемирно-историческим началом.

Мы видим повсюду и во все века - в современном Париже, как во Флоренции XV века и в Афинах Перикла, и в Веймарском кружке Гёте, и в Англии в эпоху Елизаветы, мы видим, что нужна известная атмосфера для того, чтобы глубочайшие стороны гения могли вполне проявиться. Между писателями с различными, иногда противоположными темпераментами устанавливаются, как между противоположными полюсами, особая умственный течения, особый воздух, насыщенный творческими веяниями, и только в этой грозовой, благодатной атмосфере гения вспыхивает та внезапная искра, та всеозаряющая молния народного сознания, которой люди ждуть и не могут иногда дожидаться в продолжение целых веков. Литература - своего рода церковь. Гений народа говорит верующим в него: «Где двое или трое собрались во имя мое, там я среди них». Человек только среди подобных себе становится воистину человеком. Помните наивный символический рассказ из «Деяний Апостолов»:

«... Все они были *единодушно вместе*. И внезапно сделался шумъ съ неба, какъ бы отъ несущегося сильнаго ветра, и наполнилъ весь домъ, где они находились.

И явились имъ разделяющіеся языки, какъ бы огненные, и почили по одному на каждомъ изъ нихъ» (гл. II, 1-3).

Несомненно, что въ Россіи были истинно-великія поэтическія явленія. Но вотъ вопросъ: была ли въ Россіи истинно-великая литература, достойная стать наряду съ другими всемірными литературами?

Иногда у самого Пушкина вырываются жалобы на одиночество. Въ письмахъ онъ признается, что русскій поэтъ ровно ничего не знаетъ о судьбе своихъ произведеній: онъ работаетъ въ пустыне. Великій писатель доходитъ до такого отчаянія, что готовъ проклясть землю, въ которой родился: *чортъ догадалъ меня родиться въ Россіи съ душою и съ талантомъ!*» (1836 г. 18 мая, изъ Москвы въ Петербургъ жене). Онъ былъ такъ же одинокъ въ цыганскомъ таборе, въ глубине бессарабскихъ степей, какъ и въ ледяныхъ кружкахъ великосветскаго Петербурга, какъ и въ литературной атмосфере Греча и Булгарина. Такое же одиночество - судьба Гоголя. Всю жизнь сатирикъ боролся за право смеяться. Изнуряющее, губительное чувство *напрасной любви* къ родине было у Гоголя еще сильнее, чѣмъ у Пушкина. Оно нарушило навеки его внутреннее равновесіе, довело до безумія. Лермонтовъ - уже вполне стихійное явленіе. Этотъ сильный человекъ, въ которомъ было столько напоминающаго истинныхъ героевъ, избранниковъ судьбы, стыдился названія русскаго литератора, какъ чего-то унизительнаго и карикатурнаго. Онъ вспыхнулъ и погасъ неожиданнымъ таинственнымъ метеоромъ, прилетевшимъ изъ неведомой первобытной глубины народнаго духа и почти мгновенно въ ней потонувшимъ.

Во второмъ поколеніи русскихъ писателей чувство безпомощнаго одиночества не только не уменьшается, а скорее возрастаетъ. Творецъ Обломова всю жизнь оставался какимъ-то литературнымъ отшельникомъ, нелюдимымъ и

недоступнымъ. Достоевскій, проносящий пламенную речь о всечеловеческой примиряющей терпимости русскаго народа на пушкинскихъ празднествахъ, пишетъ на одного изъ величайшихъ русскихъ поэтовъ и самыхъ законныхъ наследниковъ Пушкина, вдохновляемый ненавистью къ западникамъ, карикатуру Кармазинова въ *«Бесахъ»*. Некрасовъ, Щедринъ и весь собранный ими кружокъ питаетъ непримиримую и - заметьте - опять-таки не личную, а без-корыстную гражданскую ненависть къ «жестокому таланту», къ Достоевскому. Тургеневъ, по собственному признанію, чувствуетъ инстинктивное, даже фізіологическое отвращеніе къ поэзіи Некрасова. О печальной и столь характерной для русской литературы вражде Толстого и Тургенева я говорилъ уже въ начале статьи.

Можетъ-быть, разъ въ сорокъ летъ, сходятся два, три русскихъ писателя, но не предъ лицомъ всего народа, а где-то въ уголку, въ тайне, во мраке, на одно мгновеніе, чтобы потомъ разойтись навеки. Такъ сошлись Пушкинъ и Гоголь. Мимолетная случайная встреча въ пустыне! Потомъ былъ кружокъ Белинскаго. Тамъ впервые начали понимать Пушкина, тамъ приветствовали Тургенева, Гончарова и Достоевскаго. Но одно враждебное дуновеніе, - и все распадается, и остается только полузабытая легенда. Неть, никогда еще, въ продолженіе целаго столетія, русскіе писатели не *«пробывали единодушно вместе»*. Священный огонь народнаго сознанія, тотъ разделяющійся пламенный языкъ, о которомъ сказано въ *«Деяніяхъ»*, ищетъ избранниковъ, даже на одно мгновеніе вспыхиваетъ, но тотчасъ же потухаетъ. Русская жизнь не бережетъ его. Все эти эфемерные кружки были слишкомъ непрочны, чтобы въ нихъ произошло то великое историческое чудо, которое можно назвать сошествіемъ народнаго духа на литературу. Повидимому, русскій писатель примирился со своею участью: до сихъ поръ онъ живетъ и умираетъ въ полномъ одиночестве.

Я понимаю связь между Некрасовымъ и Щедринымъ. Но какая связь между Майковымъ и Некрасовымъ? Критика объ этомъ безмолвствуетъ или же уверяетъ съ нетерпимостью, что связи никакой неть и быть не можетъ, что

Некрасовъ и Майковъ взаимно другъ друга отрицають. Бокъ-о-бокъ, въ одномъ городе, среди техъ же внешнихъ условій, съ почти одинаковымъ кругомъ читателей - каждая литературная группа живетъ особою жизнью, какъ будто на отдельномъ острове. Есть островъ гражданскій. Некрасова и «Отечественныхъ Записокъ». Отъ него отделенъ непроходимыми безднами, яростными литературными пучинами поэтической островъ независимыхъ эстетиковъ - Майкова, Фета, Полонскаго. Между островами - изъ рода въ родъ - вражда убійственная, доходящая до кровомщенія. Горе несчастному поэту-мечтателю, если онъ попадетъ на побережье гражданского острова! У нашихъ критиковъ царствуютъ нравы настоящихъ людоедовъ. Русскіе рецензенты шестидесятыхъ годовъ, какъ дикари-островитяне, о которыхъ разсказываютъ путешественники, пожирали ни въ чемъ въ сущности неповиннаго Фета или Полонскаго на страницахъ «Отечественныхъ Записокъ». Но не такой же ли кровавой мезью отплатили впоследствии гражданскимъ поэтамъ и безпечные обитатели поэтического острова? Между Некрасовымъ и Майковымъ такъ же, какъ между западникомъ Тургеневымъ и народнымъ мистикомъ Достоевскимъ, между Тургеневымъ и Толстымъ, не было той живой, терпимой и всепримиряющей среды, того культурнаго воздуха, где противоположные оригинальные темпераменты, соприкасаясь, усиливаютъ другъ друга и возбуждаютъ къ деятельности.

Такъ называемые русскіе кружки - еще хуже русскаго одиночества: второе горше перваго. Тургеневъ недаромъ ненавидель ихъ. Для примера стоитъ указать на славянофильство. Это - настоящій московскій приходъ; не живое, свободное взаимодействіе искреннихъ и талантливыхъ людей, а какой-то литературный уголь, где, какъ во всехъ подобныхъ углахъ, тесно, душно и темно.

Соединеніе оригинальныхъ и глубокихъ талантовъ въ Россіи за послѣдніе полвека делаетъ еще более поразительнымъ отсутствіе русской литературы, достойной великой русской поэзіи. До сихъ поръ, съ чисто національной

славянської іронією, російські письменники мають право сказати один одному: поезія наша велика і могуття, але літературної преемственности, але вільного взаємодія в ній немає. Ось чому завтра ж у нас може з'явитися новий романтист, рівний Тургеневу, новий поет, рівний Лермонтову, і написати геніальне произведеніє, - все-таки великої, маючої всемирного значення, російської літератури він не створить. І тоді ж, після його смерті, наступить такої ж упадок, таке ж варварське і непонятне одичання, яке ми тепер переживаємо. Далі йти некуда. Напрасно близьорукі рецензенти так горько плачуть про відсутність талантів. Во всякому випадку це явленіє - стихійне і тимчасове. Повидимому, стоило б тільки почекати і з першим талантом література відродилася б. Але горе в тому, що кризис, переживаний нами, невимірно глибше і болючіше. Він зводиться до питання: бути або не бути в Росії великої літератури, т.є. втіленню великого народної свідомості.

Будущий історик російської культури, минула багато, що тепер турбує і пленаєть уми, зупиниться з немалым здивуванням перед багатозначним образом одного з царів поезії, увінчаного всемирною славою, Л. Толстого, в селянській одязі йдущого за сохой, як він зображений на відомій картині Рєпіна. Що б там ні говорили про щеслав'я, як б ні сміялись і ні сперили, фігура ця возвишається в XIX столітті і невольно привертає увагу. Мені здається, що в повстанні російського поета проти того, перед чим кращі люди Європи, - олімпієць Гете так же, як демонічний Байрон, - поклонялись з трепетом і благоговієм, багато іскрення, до шкоди, може-бути, *слишком много* іскрення. Толстой виявив в різкій нагоді те, що і раніше сквозило в житті і произведеніях наших письменників. Це їх сила, оригінальність і, разом з тим, слабкість.

В Пушкіні, почерпнувши, бути-можливо, найсмеліше з своїх натхнень в дикому цыганському таборі, в Гоголі з його містическим

бредомъ, въ презрѣннн Лермонтова къ людямъ, къ современной цивилизаціи, въ его всепоглощающей буддийской любви къ природе, въ болезненно-гордой мечте Достоевскаго о роли *Мессіа*, назначенной Богомъ русскому смиренному народу, грядущему исправить все, что сделала Европа, - во всехъ этихъ писателяхъ то же стихійное начало, какъ у Толстого: *бегство отъ культуры*.

Теперь сравните съ Толстымъ, идущемъ въ лаптяхъ за сохой, образъ представителя всемірно-исторической культуры - Гёте. Въ Веймарскомъ доме, похожемъ на дворець или музей, среди сокровищъ искусства и науки - божественный старецъ, - тотъ, предъ кемъ создатель Манфреда склонялся, какъ ученикъ, какъ «ленный вассаль»! Разве Гёте не былъ удрученъ тою же самою міровою скорбью, которая въ тридцать летъ сожгла титана Байрона, довела его до отчаянія и самоубійства развратомъ? И все же Гёте среди такой скорби умель жить и радоваться жизни! Какимъ юношескимъ восторгомъ вспыхивалъ въ 80 летъ орлиный взглядъ его, когда онъ слышалъ о новомъ открытіи, подтверждавшемъ теорію цветовъ или біологическую эволюцію. Не было такого культурнаго явленія во всехъ векахъ у всехъ народовъ, съ которымъ не пришелъ бы въ соприкосновеніе его всеобъемлющій умъ, на которое не ответило бы его многозвучное сердце.

И заметьте, что *стихійной* творческой силы у Гёте, во всякомъ случае, не меньше, чемъ у стихійныхъ поэтовъ Россіи. Этотъ олимпіецъ самъ часто говорилъ о томъ темномъ, ночномъ, недоступномъ разуму, «*демоническомъ*», какъ онъ любилъ выражаться (отъ слова *δαίμων* - божество), съ чемъ онъ боролся и что управляло всей его жизнью. Представителя культуры, разумнаго Гёте, пишущаго тихіе лукреціевы гексаметры о подборе животныхъ и растений, вы не узнаете, читая проклятія Фауста. Ничего подобнаго по *стихійной* силе нетъ у самого разрушителя Байрона. Наука приблизила Гете къ природе, еще более обнажила передъ нимъ ея божественную тайну.

Была ему звездная книга ясна,

И съ нимъ говорила морская волна.

Онъ не боялся, что наука и культура отдалятъ его отъ природы, отъ земли, отъ родины, онъ зналъ, что высшая степень культуры, вместе съ темъ, высшая степень народности.

Гёте - лучший типъ истинно-великаго не только поэта, но и *литератора*. Толстой, великій поэтъ, никогда не былъ литераторомъ. Въ своихъ автобіографическихъ признаніяхъ Толстой неоднократно высказываетъ, повидимому, искреннее и темъ более плачевное презрѣніе къ собственнымъ созданіямъ. Это презрѣніе невольно пробуждаетъ горькое раздуміе о судьбѣ русской литературы. Если ужъ одинъ изъ величайшихъ нашихъ поэтовъ такъ мало признаетъ культурное значеніе поэзіи, чего же ждать отъ другихъ? Нетъ, Гёте не презиралъ того, что создалъ. Такое отношеніе, какъ у Толстого, къ собственнымъ твореніямъ - показалось бы ему святотатствомъ. Вотъ бездна, отделяющая поэзію отъ литературы. Въ сущности это та же самая бездна, которая отдѣляетъ стихійное отъ человеческого. Сколько бы еще у насъ ни было гениальныхъ писателей, но, пока у Россіи не будетъ своей литературы, у нея не будетъ и своего Гёте, представителя народнаго духа. Стихійный богатырь, герой древне-русскихъ былинъ не подыметъ маленькой «переметной сумочки», въ которой заключена тяжесть міра, бремя земли.

Слезаетъ Святогоръ съ добра коня,

Ухватилъ онъ сумочку обема руками,

Поднялъ сумочку повыше коленъ:

И по колено Святогоръ въ землю утрясъ,

А по белу лицу не слезы, а кровь течеть...

Тяжесть міра не можетъ поднять *одинъ* народъ, какъ бы онъ ни былъ силенъ. Древній богатырь все глубже и глубже будетъ уходить въ землю, удрученный стихійной силой, если, наконецъ, не признаетъ, что есть и другая высшая сила, кроме той, въ которую онъ до сихъ поръ верилъ.

(Передано через меня сыну моему Славецким Владимиром Ивановичем, с которым они вместе учились когда-то на Высших Литературных курсах в Москве . Вскоре Славецкого не стало, царство небесное, светлая ему память и благодарность за эту статью).

* * *

Вот вам одна из тайн нашей
профессии - не показать все.

Ингмар Бергман.

Заметим, как сказал Д.С.Мережковский в своей статье «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»:

«Язык - воплощение народного духа; вот почему падение русского языка и литературы есть в то же время падение русского духа. Это воистину самое тяжкое бедствие, какое может поразить великую страну. Я употребляю искренне и точно. В самом деле, от первого до последнего, от малого до великого - для всех нас падение русского сознания, русской литературы, может быть, и менее заметное, но ни сколько не менее действительное и страшное бедствие, чем война, болезни и голод».

Разделяя таковые мысли, взглянем и мы на наш родной язык и родную литературу нашу сегодня, масштабно исторически, с большой озабоченностью. Начнем хотя бы с такого жизненного примера. Железная дорога от Москвы до Крыма, кажется, не так давно кипела пассажирами, гремела грузоперевозками, и - тишина. На участке Орел-Курск даже закрывать стали станции. Под самым Орлом выделялась станция Стишь. Проезжаешь, бывало, мимо - залпобуешься: поэзия в самом названии, собирательное имя, так и кажется, что происходит от слова

«стихи». И все-то тут ярко, ухожено: садики, огородики, розы, яблоки под окнами - большая любовь к земле, к самому стоянию слова этого «Стишь», к нам, проезжающим... А сейчас ветер бьет дверь, розы пропали...

И так далее по железной дороге, а там, на юге, - города Запорожье, Днепропетровск. Русские школы закрывают, русский язык в вузах к иностранным причислили. Один друг мой «русскоязычный» теперь возит своего сынишку-первоклассника в русскую школу через весь огромный полис. А ведь 80, а то и все 90 процентов населения говорят на русском. О таком Мережковский и подзреть-то не мог. И куда это мы, если глубже задуматься, и откуда? А туда, откуда когда-то пришли сюда наши общие предки.

Да, скифы мы

С раскосыми и жадными очами.

А.Блок.

«Да, скифы мы» - индоиранского, арийско-праславянского происхождения. Ну и где же тот наш общий праязык, праславянско-скифская речь, где сами скифы? Под натиском очередной арийской волны - жестоких сарматов нырнули под «крышу» других народов, племен и растворились в эхе веков. Точно так же, как и древнейшие коренные пранароды Египта - копты, в Америке - майи, ацтеки вместе с их забытыми языками. Или такой исторический факт: клинопись - письменность шумеров из Двуречья на глиняных дощечках - имеем, а прочитывать, войти в смысл жизни вавилонского царя Хаммурапи не можем. Также обстоит и с этрусками - коренными предками Древнего Рима. Письменность есть, а воспроизвести в чтении не имеем возможности. «Мертвые» языки.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Конец шестой цивилизации

Сегодня всему наступает пора,

Что бредом казалось вчера.

Из анналов.

Наполеон сказал: «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую». Исходя из этого, скажем так: «Кто не хочет отстаивать свой язык, будет говорить на чужом». Вот что может постичь нас. Невнимательны мы к своему языку, к собственной речи, а следовательно, и к литературе, к пространствам, которые мы заселяем и именуем Родиной, Русью, Россией. Сколько «крестовых» походов выдержали мы с Запада, явных и зашифрованных то под наполеоновское нашествие, то под первую и вторую мировые войны? Сколько выдружили полчищ с Востока? Не крепче ли нам стоит задуматься об этой самой оси «Восток - Запад», как и ныне о натиске с Юга? Уж не хватит ли рисковать собой на гуманитарно-генетическом, сокраментально-эстетическом, сокровенно-этическом уровне? В самом деле, на нашем недоосвоенном евразийском пространстве в течение жизни одного поколения могут ведь заговорить и на другом языке. Чего стоит современная внешняя культурная, языковая экспансия, растущая прямо-таки на глазах. Да и внутренняя экспансия тоже, язык - «суржик», суррогаты культуры во всех проявлениях. А еще ведь космические, континентальные катаклизмы ждут Землю. Однако все нам, землянам, как плохому танцору, то Сербия, то Ирак мешают, то советы, то евреи, то арабский халифат. Хотя в недрах накоплена глобальная, прямо-таки судьбоносная информация о судьбе человечества.

Да, совсем свежий факт. В начале 2003-го Президент подписал указ о награждении лучших учителей года. Среди них, по-моему, нет учителя русского языка и литературы.

Итак, начнем с экскурсии в далекое, давно минувшее прошлое. «Главное утверждение древнеарийскоиранского этико-астрологического учения «Авеста»

(6 век до н.э.) - изменение человеком самого себя, внутренней программы, самосовершенствование. Авестийская астрология, тесно связанная с морально-религиозным учением Заратустры, основывается на наблюдениях, длившихся более 26 тысяч лет. Ее главный принцип - целостность мироздания. То, что происходит в сходных элементах, частицах Вселенной, то произойдет при похожих обстоятельствах и в других элементах неразделимого мироздания. Действует принцип голографии - часть воспроизводит целое» (Богданчиков).

Звездное небо моделирует действие небесных законов, проявляющихся в движении планет. Перемещение Солнца, расположение небесных светил действуют на процессы, события, происходящие на Земле - в природе, обществе, человеке. Законам Космоса подчиняется все, и главный из них - закон целостности, гармонии. Иными словами, красоты, осознаваемой людьми, прежде всего, в языке, в своей речи. Отсюда углубление смысла известного выражения Достоевского о том, что «мир спасет красота». Исходя из закона гармонии, мир периодически обновляется, в нем происходят качественные сдвиги, в конце концов, смена цивилизаций. И все это повторяется всякий раз (уже пять цивилизаций существовало) на более высоком уровне, настраиваясь на соответствие изменяющимся космическим сферам, согласно мирозданческим законам, —какую же конкретику находим мы в астрологической литературе?

Так, «великий кризис XXI века - время страшных потрясений для всего человечества - связан с объективными космическими циклами. Выделяется несколько периодов в гороскопе земли. Один из них продолжительностью 8 млн. лет - период развития Земли, связанный с движением Солнечной системы в галактике, завершается в 2008 году. Он знаменует начало переходного периода, в течение которого произойдет заметное изменение земной оси, поднятие и опускание земной поверхности, резкие перемены в климате, флоре, фауне. Возможно, появятся новые виды людей».

«Этот период продлится 25920 лет - «великий год», делящийся на 12

«великих» (космических) месяцев (один месяц - 2160 лет)».

«Сейчас заканчивается космическая эпоха Рыб, то есть земная ось завершает свое перемещение в зодиакальном созвездии Рыб. Человечество находится на пересечении двух грандиозных периодов. Обновление мира начинается в 2003 году, когда вступает в свои права эпоха Водолея, во время которой будет определен новый подход к развитию цивилизации.

2003-2008 годы - период, когда хронические ритмы многих людей начнут изменяться. Произойдет сбой биоритмов человека, растений, животных, что вызовет генетические мутации в человеке и живой природе, начнется новый эволюционный процесс».

Что можно сказать на это, как оценить ситуацию да еще в соответствии с изначальной мыслью о языке?

Человечеству многократно делались предупреждения о заповедно-запретных, тупиковых путях развития еще в глубокой древности («Авеста», «Халдейский оракул» - 3-4 век до н.э.). Зороастрийцы утверждали, что связь человека с природой священна. Загрязнение окружающей среды (то есть четырех стихий - Воды, Воздуха, Земли и Огня) есть покушение на божественный дух, что ведет человека к дисгармонии, болезням, поражающим дух и тело, отражаясь, в свою очередь, на природных явлениях, приводящих к стихийным бедствиям.

Нострадамус в 1555 году в своих катренах предрекал: 1944 - «будет выпущен невиданный огонь, несущий смерть. Утром летящее судно выпустит два шара и сожжет два восточных города, превратив их в пыль. На руинах останутся тени людей» (Хиросима и Ногасаки, ошибка всего на год).

Согласно закону Кармы, в силу философской концепции «переселения душ», то, как складывается жизнь человека, зависит от жизни его в предыдущих воплощениях. Хорошая или плохая судьба - следствие дел, совершенных в предыдущих жизнях, то есть твоей жизни в прежних твоих «двойниках» (Кстати своего «двойника» я, например, вычислил, найдя его в Питере Брейгеле Старшем

- бельгийском художнике Средневековья).

Закон Кармы гласит: то, как человек живет, тип его жизни, какие дети у него, зависит от его предыдущей жизни, от бытования в «двойниках». Как человек умрет, какой у него тип смерти (своей смертью, от чужой ли руки, в результате несчастного случая), - все это отражается в следующей жизни. Заметим, не в детях твоих, а в общем потомстве человечества - в «двойниках».

Так вот, человечество, зная о предстоящих потрясениях, искало Мессию – своего Спасителя. Первым из них был авестийский Заратустра, затем - Иисус Христос (Иешуа). Неслучайно до 30 лет Иисус учился в Персии (у последователей Заратустры, «Авесты») и в Индии у йогов и целителей («Веды»), как видим, у индоираноарийских народов. Возвратившись из ассирийских краев в Палестину, по сути за свои проповеди обращения к принципам гармонии природы и человека, согласно «Авесте», не всегда совпадающим с заповедями библейских пророков в «Ветхом Завете», а тем более с законоустановлениями Древнего Рима, он и был распят на Кресте.

Судьба России в зре Водолея

Так что же ожидает нас, людей, отчего сменяются цивилизации? Как это отражается, в конце концов, на речи человеческой, на языке? Человечество уже прошло, как говорится, огни и воды. К примеру, через «всемирный потоп», через Ноев Ковчег. Пять тысяч лет назад, волны Океана, хлынув в образовавшиеся проливы, создали Черное море. Церковь за грехи наши тяжкие давно уж вещает «Армагедон», когда все, дескать, сгорит в геенне огненной. Действительно, нас ждут испытания. Уж не «геенной» ли именуется то, что ждет то же самое Черное море, как я нашел в одном из прогнозов уже в 2010 году? Ранее я и сам догадывался, что возможен, однако, не «огнь» на поверхности вод, а взрыв. Подобно тому, что произошло не так давно в одной центральноафриканской

стране, кажется, в Руанде, с озером, где французские ученые «спускали» в атмосферу сероводород, накапливающийся на дне. За недостаточностью средств французы прекратили это занятие, и произошел гигантский выброс газов, разметавший окрестности и отравивший все живое на многие километры. А что же тогда Черное море с его размерами и объемом? Еще в школе, изучая географию, мы знали, что сероводород отделяется от черноморской поверхности слоем в каких-то 200 метров. Но это было давно, а сейчас? Кажется, уже меньше ста метров.

Судьба Черного моря по аналогии подвигла меня к открытию и судьбы Атлантиды. Где только не искали Марракотову бездну. И в Средиземном море, и в Атлантическом океане. А Атлантида оказалась где-то севернее Южной Америки, там, где примерно Венесуэла, Амазония, именно в тех местах. Там пытливые люди определяют ныне следы древнейшей цивилизации - каналы, поля, обрабатываемые пространства, которые способны были когда-то прокормить 50-60 млн людей. Я бы сказал, цивилизация эта простиралась еще дальше на север, северо-запад, где обитали майи, ацтеки, инки. И цивилизация эта носила невыразимо высокий уровень: космические аэродромы, культ Солнца и золота, страна пирамид, для которой цепь пирамид в Египте и Индии была периферийной, - и вот в оные времена неожиданный взрыв. Все кончилось, захирело до колумбовых времен. Когда появление конкистадоров на конях как очевидная память о прошлом уже вызывало шок у индейцев, они падали ниц перед всадниками, как перед божеством.

Да, некогда там произошел взрыв, разметавший Атлантиду на куски. Вон сколько всяких островков и архипелагов - в этой Вест-Индии, в Карибском море. И что же дает основание думать о повторении? Начнем с Бермудского треугольника, с исчезновением в нем воздушных судов и кораблей. Отчего они исчезают? Уповаем на магнетические силы земли, таинственные циклы и т.д. Однако сам я обратил внимание и обращаю внимание всех на то, что где-то у

Флориды, на дне морском, выделяется все тот же пресловутый газ - сероводород. В силу специфических условий он замерзает и опять-таки создает «бомбу». Это установлено учеными. Вот такая «бомба», рванув в свое время тут, и создала атмосферу смены цивилизаций. Америку «забыли» на многие времена.

И вот американцы ныне все про Ирак толкуют, про ядерное, химическое оружие у кого-то и где-то, а у самих «сказка Шехерезады», такая «кляква» зреет под носом.

А еще «черная дыра» (сильно разрежен озон) над Антарктидой. Почему именно над Антарктидой? Тоже существует связь с историей континента. Что был континент теплым, то факт (уголь находят в недрах). А вот почему холодным стал? На земле насчитывают несколько таких «затонувших» материков (Атлантида, Пандора, Лемурия, Антарктида и Арктида). Арктида, оказывается, тоже была когда-то теплой. Это был большой остров с богатой растительностью («Земля Санникова» по И.Ефремову). Что подтверждается наличием каменного угля у Воркуты, нефтью на севере Западной Сибири - явные признаки жизни обетованной.

На Севере этом, на Белом, «счастливым» острове, как в раю, жили некогда наши пращуры - арии, это все наши праславянские, прагерманские корни. Ну не те, конечно, которых, «примазавшись» к ним, Гитлер попытался дискредитировать, а те же самые, но существовали они сами по себе, без идеологии. Жили-жили народы эти «нордические», и вот что-то случилось. Думаю: «Ось земли покривилась, что ли? Полюса поменялись? Однако, очевидно, там холодно сделалось». И потекли арийцы вниз по Уралу, на юг. «Двумя кольцами» обосновались они у подножия Камня (Урала) - восточноевропейского и западносибирского.

На Запад после пойдут отсюда арийцы эти в Северное Причерноморье и на Восток - к Чукотскому, существовавшему, очевидно, тогда, перешейку. А пока по инерции тремя потоками двинули они далее на юг - на Гималаи, через персидско-

афганское нагорье в Индию. И осели там. И сплотились с коренным народом - дравидами. Однако облика, языка своего пришельцы не потеряли (Смотрите, как держатся за язык свой даже без письменности те же цыгане - выходцы из Индии, оказавшиеся тогда ниже всяких каст, «неприкасаемые»). «Веды» создали наши пращуры, «Махабхарату» - величайшие памятники письменности индоарийской культуры, в которых и зафиксировали свои идеи о «рае» где-то на Севере, где они некогда были на Белом, «счастливом» острове, этом потерянном «рае», откуда когда-то пришли сюда.

И двинулись они из Индии на Север обратным путем.

И вот в этом ареале - в Туранской низменности, у подножия Камня (Урала), «кольцами» в Восточной Европе и Западной Сибири, на месте отхлынувшего некогда моря, и создали эти самые арии на тысячелетия «базу», откуда и совершали набеги, походы, осуществляя влияние. Отсюда первый Крест (с Севера на Юг, Восток и Запад), человекобог Заратустра - первый Мессия, Спаситель человека и человечества.

Тут и была некогда Скифия, отсюда наши пращуры-скифы двигались по степи вслед уходящему Солнцу, в Ирий-«рай» скифо-праславянский где-то в устье Днестра, где души смертных обретают бессмертье. Прекрасная легенда все о том же Белом, счастливом острове - потерянном «рае» прежде где-то на Севере; однако теперь уж, со сменой вектора на Запад, этот чудо-миф стал основой новой Веры, Христианской Религии. Какая демократическая идея! Ибо у язычников, даже у античных героев Олимп предназначен были для избранных, лишь для богов. Так скифо-арийцы по пастбищам своим, по степным ковылям и брели по 12 километров в сутки, волна за волной, к своему далекому «раю» - Ирию. Вот и переходили они плавно в Северное Причерноморье, а затем и распространялись дальше на Север, в лесную часть, делались оседлыми, земледельцами. Это и были сколоты-скифы, скифы-праславяне, индоираноарийского происхождения, наши непосредственные изначальники-пращуры.

Однако вернемся к нашим, как говорится, баранам.

Кстати, текущий 2003 год - год Барана (Овена) по гороскопу. Действительно, каждый регион Земли, согласно астрогографии, связан со своим созвездием Зодиака: Китай - Козерог, Восточная Европа и Западная Сибирь - Водолей, Австралия - Стрелец, Центральная Европа (особенно Германия) - Овен, Северная Европа - Телец, Северная Америка - Близнецы, Индия - Дева, Великобритания и Япония - Весы, Южная Америка - Лев, Палестина и Аравия - Рыбы, Средний Восток, Средняя Азия и Юго-Восточная - Скорпион, Африка - Рак.

Как утверждают астрологи, скопления звезд на небе оказывают влияние на определенные точки Земли, делая их энергетическими, информационно насыщенными. Таких мест на Земле не так уж и много. Это «благие», притягательные места, где в свое время зарождалась и укреплялась жизнь, куда всегда тянет людей, все живое. На территории России - это Камчатка, Сахалин, Крым, Байкал, Ладога, междуречье Волги и Дона, Пермь, территория Курской и Воронежской магнитных аномалий.

По гороскопу каждая местность, страна, народ имеют свою судьбу. Согласно той же астрогографии, по космической сетке, если представить человечество все тем же единым живым организмом, то Индия, Тибет с их индийским этносом выполняют функции сердца Земли. Западная Европа (Запад - Великобритания) и Япония (Восток) - это правое и левое легкие для человечества. Индия - это еще и руки, Африка - ноги, Камчатка несет функцию мужского полового органа, а Средиземное и Черное море - женского (именно тут рождаются этносы, государства и культуры).

Горы Кордильеры (Анды - в Южной Америке), протянувшееся с севера на юг на 18 тыс. км, являются центром взаимосвязи земной и космической энергий, причем Огненная Земля - центр космического огня, спинной мозг, совпадающий с солнечным сплетением в позвоночнике человека - гигантский космодром

в пустыне Наска, место палеоконтакта, давшего человечеству базовый объем информации. Именно через эту огромную стартовую площадку Земля, возможно, взаимодействует с иными планетами как Солнечной системы (предположительно, жизнь существовала на Венере, на планете Фазтон, взрыв которого разнес его на куски), так и с телами других внесолнечных звездных систем, в других галактиках, целых скоплениях галактик. Известно, пять нервных центров на «позвоночнике» Земли; проецируясь на земную поверхность, они совпадают с местами, где много тысяч лет возникли и существовали древнейшие цивилизации.

А вот что можно сказать о России. Акцентирую, в соответствии с той же астрогеографией, что Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины выполняют функции головного мозга Земли. Перегородка между ними, как между двумя полушариями, - это Уральские горы (г.Хайрати, Камень), где и находится этот самый мозг, Разум Земли. Наша индоевропейская цивилизация во многом несет отпечаток древних ариев, живших некогда на теплом северном острове «белой», счастливой жизнью. Однако, акцентируем и этот факт, случился гигантский очередной земной катаклизм (возможно, то же хотя бы столкновение, смещение полюсов), и Арктида, где жили древние арии, стала опускаться на дно Северного Ледовитого океана (сейчас ее пересекают хребты Ломоносова и Менделеева). Еще раз повторим мысленно древний путь ариев. Согласно «Авесте» и собранию индийских мифов индоевропейских народов (прежде всего, предгерманских и праславянских), по Уральским горам наши пращуры спустились на юг, расселились двумя «кольцами» по территории южнее Урала - в Восточной Европе и Западной Сибири. Затем, подчеркнем еще далее раз это, тремя потоками они прошли далее на юг - до Тибета, Гималаев и Алтая. Спустившись с Гималаев, древние арии наложились на местные племена тибетцев, дравидов. Затем через Иран - Персию (Иран - страна ариев), Афганистан наши пращуры со своей извечной мечтой о «потерянном» рае двинулись обратно на Север. Кстати, у всех на памяти недавнее варварское уничтожение гигантских арийских скульптурных

изображений в одной из горных афганских провинций. Эти скальные скульптуры подтверждают факт пребывания тут древних ариев, создавших некогда эти циклогические сооружения. Так вот, югом из Индии по континенту волны шли и шли – на Запад. В частности, одна такая «ветвь», самая низшая, «изгой», не вошедшие даже ни в какую касту, т.н. «неприкасаемые», цыгане) через Ближний Восток, Север Африки, через Пиренеи испанские проникла в Западную Европу, затем цыгане прошли сквозь Восточную Европу и Азию, замкнув кольцо где-то в регионе Алтая.

Другой мощный поток древних ариев, также не сливаясь ни с кем из местных племен и народов, однако, оказав по пути сильное влияние на население, двинулся, как уже было сказано, обратно на Север - через Афганское плоскогорье, в Туранскую низменность. По следам и возникало все это: халдейская астральная мистика, таинственные государства, например, Мидия и Гиркана с их черной магией, ментальной стихией...

Надолго осев южнее Урала, арии и создали тут свою Скифию. Где, вероятнее всего, ощутили явление перед собой абстрактного этого Космического Креста (Север и Юг, Восток и Запад). Отсюда они и свершали свои походы, гнали одну за другой свои арийские волны на Запад - через всю Европу, до Атлантики. И далее, одной из своих «модификаций» - в виде викингов, через север океана в Америку; на Восток - через Чукотский перешеек, существовавший издавна, через Аляску в Северную Америку и там южнее, вплоть до центральной, до инков, ацтеков и майи.

Итак, вот Крест по земле с идеей первого Спасителя мира - Заратустрой! Вот главная спасительно-нравственная идея арийцев, создавшая одухотворенно - мистический миф, начало Веры! Миф о рае, зафиксированный затем и в «Велесовой книге». Легенда о том, что, двигаясь вслед за Солнцем по степи, со своим скотом, скифы, идущие на Запад, увлечены идеей о «рае» где-то в Ирии, в устье Днестра и Дуная, «рае» для всех, делающем бессмертным каждого смертного, а не

только царей. Эту идею народы принесли, очевидно, еще из Арктиды своей, с Белого острова. Это та самая идея потерянного «рая», гармонии и красоты. К своему Белому, «счастливому» острову где-то на Севере арии постоянно мечтали вернуться.

А мы говорим Греческая Вера у нас, из Византии. Да, греческая, из Византии. Но корни ее, получается, скифско- праславянские, прагерманские. Сам Иисус недаром совершал путешествие в восточные страны, ассирийские, индоиранские недра нашего пранарода. И это ныне все более проясняется, становится более очевидным.

О Мессии, Спасителе мира. О возвращение человека и человечества к природным истокам, к жизни в русле космических законов, к гармонии. Первый Спаситель, как уже было сказано, был Заратустра, затем две тысячи лет назад явился Иисус Христос. И вот в XIX-XX веках стали искать нового Мессию. На эту роль, на мой взгляд, явно или скрыто, кто только не претендовал, от Наполеона до Гитлера. Последствия, как говорится, налицо.

И следующее. Некоторые астрологи не прочь предположить, что изначально на Земле существовали четыре, так сказать, расы. Причем первые люди (голубая раса) вышла из Антарктиды. Попутно я хотел бы спросить: а откуда взялись в Арктиде наши прапредки, те же древние арии (ни на кого не похожи - светловолосые, синеглазые)? Может, они, эти первые люди, изначально бытовали на обоих полюсах, некогда теплых, а может, они являются «осколками» предыдущих цивилизаций? Или все-таки были привнесены из космоса? Напомним, что планета наша претерпела немало катастроф. В частности, напомним еще раз о «загонувших» континентах (Пацифида была в Тихом океане, Лемурия - в Индийском океане, на Мадагаскаре напоминаем об этом служат зверьки такие пушистые - лемуры, живущие на деревьях). Теплый, ровный климат был тогда на полюсах, сами магнетические полюса способствовали расцвету жизни, поскольку Земля вращалась как бы лежа на боку. Земля способна произвести очередную смену полюсов в последующую космическую эру, эпоху Водолея, когда полюса могут вернуться, допустим, в прежнее положение. Железное ядро внутри

Земли, смещая центр тяжести, перетекает за 500 тыс. лет, а, по подсчетам ученых, прошло уже 750 тыс. лет. При смене полюсов происходят колебания Земли, опускание и подъем ее поверхности. И если сейчас Западная Европа, в связи с ее близостью к Гольфстриму, весьма притягательна, то в перспективе можно ожидать притягательности мест, расположенных под Водолеем, то есть там, где издавна существует Разум Земли, место по уму избранное в свое время для Скифии ариями - нашими далекими предками.

Вот что пишут об этом ученые: «Центром цивилизации станет Россия, которой древние астрологи уделяли большое внимание. Она была упомянута еще в «Авесте», как страна Хайра. Греки называли ее страной гипербореев или киммерийцев, европейцы - Скифией, Тартарией, Московией.

Территория Восточной Европы и Западной Сибири связана с созвездием Водолея, символ которого - разделение света и тьмы, отделение грубого от тонкого, истинного от ложного. Начавшись в 2003 году, эра Водолея продлится 2160 лет. Нас ждут перемены в мышлении, решительные действия. Уран управляет этим созвездием, а его символ - молния, удар которой невозможно ни предсказать, ни куда-то направить. Водолей заявляет об устремлениях, прежде всего, в духовной сфере, материальный интерес для него вторичен».

По утверждению современных астрологов, именно на территории России возникнет новый этнос, возродятся «допотопные», «доисторические» культура, традиции. Начало эры Водолея счастливо совпадает с началом космического цикла, который продлится 8 млн. лет. Можно сказать, Россия - страна, которая по Тургеневу «верит и имеет право верить в свое будущее». Представляется, как это скажется на языке? Какие праистоки у нас, каковы традиции, - просто невысказано.

Таким образом, не случайно именно на территории Южного Урала, где 27 веков назад родился пророк Заратустра, возникло учение о духовном начале в человеке, повлиявшие затем на рождение Христа, его учение. В «Авесте» впервые были определены законы нравственности как законы Космоса, космической

гармонии. И наш предок - индоираноарийский пранарод-является генетическим носителем этого учения - нашего духовного, языкового наследия. И что же это значит - «наследие» в языке? Смотрите, какой неожиданный поворот, какую глубоко космическую, скрытую от внешнего зрения закономерность в связях русского и арабского языков обнаруживает ученый, переводчик с восточных языков Н.Н.Вашкевич. Его работа «Познание истины - путь к спасению» была опубликована в 2000г. в Москве, в приложении к газете «Знания - народу».

«Пронумерованные» цивилизации

«Слово должно иметь смысл», - высказывается исследователь. Однако никакая лингвистика не ответит на вопрос, почему вода называется «водой». Если взять за основу известное библейское выражение «вначале было слово», в котором «слово» как лингвистическую единицу мы не понимаем, то вряд ли достаточно глубоко и основательно понимаем и само выражение, составленное из словесных единиц. Обратимся же к слову, к его таинственным, не всегда и вполне изученным сферам.

Исследователь заявляет, что «почти любое непроизводное (немотивированное) слово русского языка, прочитанное по-арабски, сразу же проясняет свой мотив, то есть причину своего бытия, почему люди так, а не иначе именуют данную вещь».

Примеры слов; по-арабски «сорока» - по-русски «воровка», «бык» - «рогатый», «волк» - «злой», «акула» - «прожорливая», «охмяк» - «пшеничнику», «голубь» - «вестнику», «хамелеон» - «защищающийся цветом» и т.д.

Вот примеры идиом (непереводимых выражений), написанных по-арабски. Словосочетание «вот где собака зарыта» составлено из двух арабских слов: «собака» - предшествовать + «зарят» - предлог, повод, причина.

Сочетание «собак вешать» включает арабское слово «вишайт» (оговор, клевета) и отражает арабскую пословицу со смыслом: будучи виноватым, первым пожаловаться. «Собака» тут опять таки выражает идею предшествования.

А вот научные термины (права, медицины) и их переводы.

«Атом» - не неделимый, а сокрытый.

«Медицина» - не смешение, а лечение, профилактика.

«Инсульт» - не прыжок, а изменение.

«Философия» - не любомудрие, а анализ, различение.

«Диалектика» - не спор, а анализ сложного.

«Кандидат» - не белый, а претендующий на замещение.

«Прокурор» - не заботливый, а отличающий ложь от истины.

«Наречие» - не нареченное, а обстоятельственное слово.

И, наоборот, если арабские слова читать по-русски, «Коран» - «чтиво», по-русски «нарок» - по Далю - означает «завет».

В таком случае Новый завет, Ветхий завет и Коран называются одинаково, по предназначению. Арабское слово «ваду» обозначает «воду для омовения».

Итак, неясные русские слова проясняются через арабские, а арабские - через русские. Закономерность, почти не имеющая исключений».

И у Вашкевича Н.Н. следуют выводы. Вместо туманных объяснений происхождения тех или иных слов, заполняющих этимологические словари, при сличительном переводе дается краткая, ясная, неоспоримая этимология.

«Соты» (пчелиные) в словаре Фасмера занимают в своем объяснении многие страницы, при этом следует длинное перечисление работ, в итоге краткий вывод - происхождение слова неясно. «Соты» - по-арабски «ушестеренные», действительно, имеют шесть граней в форме. Все четко, просто и ясно.

«Человеку» - по этимологии исследователя, с арабского «целепологающий».

«Сенат» не цент, не сантим, по-арабски «суннат» - «закон».

Вывод. Беда человечества - в непонимании смысла слов, зачем следует и

непонимание речи, всей собственной жизни. Осмысление мотива слов дает прояснение смысла их, управление ими, а через них лучшее и управление собой, своими поступками, всей жизнью (например, «дума» - по-арабски «куклы»).

От слов перейдем к этносу. Люди порой не догадываются, в какой зависимости они находятся от принадлежности к той или иной культуре. А они, эти культуры, как бы «пронумерованы», словно элементы в таблице Менделеева. Так, в лингвоэтнические таблицы помещены семь этнических культур, известных под названием «цивилизации».

Двойки. Белое и черное. Начнем с древних египтян. Их сознание делило мир надвое: своя страна и мир в целом, мир этот и мир тот, т.е. мир явлений и мир сокрытый, а сокрытый мир состоял из Семи (мир сокрытого духа), единица измерения – «этимон», и мир Химии (мир сокрытой материи, «атом» - сокрытый, темный; «бог Атум» - вечерняя ипостась Солнца).

В арабская языке «тува» - «удвоенный», «скрытый». Налицо все та же идея двойственности, бинарности. «Тиба» - столица Верхнего Египта (прочитанное наоборот - вторая буква древних алфавитов («бета» в греческом). Маска Ибиса и маска Обезьяны - вместе по-арабски это «обладатель сокрытый знаний». Пирамиды и сфинкс тоже отражают двойственный мир - мертвых и живых.

Тройка. Желтое. Это третий - среди цветов солнечного спектра. В индуизме боги группируются тройками (3, 33, 333) Третья буква алфавита «гимель» («Гималаи») - теленок от верблюдицы. Арабское слово «телята» - три и русское «телята». Самый крупный в мире «теленки» - Гималаи, отсюда почитание индусами коровы. «Спина» - по-арабски «карва». Любая индийская буква в общем-то нацелена на изображение коровы.

Четверка, квадрат, зеленое. Ритуал - обход каабы, сооружение кубической формы. Араб четырежды созерцает квадрат. Лат. «квадрат» - араб. «кудрат» («зелень»). Зеленый - четвертый цвет. В исламе - четыре главных имама, четыре

суннитских толка, в четыре пальца - высота могилы, четыре дозволенные жены, четвергостишие – рубайямат. Ромб, румб, румба (четырёхдольный танец). Люди делятся на четыре типа.

Пятерка голубой. «Галаб» - по-арабски «рабы». «Евнух», «черный» (ебонитовое дерево). «Лев» - «царство зверей», «афрус» - «гривастая голова», отсюда «Ливия».

Шестерка синь. Китай. Синь-порох. Символ «инбань» - 69. Шестикнижие, шесть видов искусств (для чиновников). «Синий» – по-арабски «секс», арабские «ситт» - «шесть», «женщина». Нигде нет большого количества знаков письменности. Идея размножения – главная, доминанта.

Семерка фиалка. По-арабски «фалак» - «небесный свод». В Междуречье занимались «небом». Русское «семь» - по-арабски «высь», «небо». Вавилон дал миру понятие зодиака, астрономию, астрологию. От «семерки» – шумерская цивилизация, клинопись шумеров – стилизованные семерки. У индусов тройки – коровы, у шумеров семерки – клинья, гвозди. Хаммурапи – забывая «гвозди», писал свои законы на глине. Тигр и Ефрат (лев), «саба» - по-арабски «семерка».

Единица красное. По-древнерусски «русус» - «красный», «урсус» - «медведь». Цвет «русскости» – «красный».

Могут возразить, что во времена Древнего Египта Руси еще не было, как и не было русского языка. Чтобы что-то понять, следует принять допущение, что русский и арабский языки не только языки этносов, но и системные языки, на которых работает подсознание любого человека, какому бы этносу он не принадлежал. Через русско-арабские созвучия раскрываются таинства мира, связанные со словом. К таинствам этим относятся ритуалы, обряды мира, даже механизмы болезней и исцеления, объясняемые не химией, а симией.

Добывая знания, обостряем функцию мозга. Ибо спящее сознание ведет к дисфункции, вырождению в организм. Спасение же есть обретение смысла самой жизни.

В славянских преданиях бог любви носил имя «Лель». По-арабски - это «ночь». Это о земной любви. «Но есть любовь небесная, божественная, когда познается истина, смысл слов, всего сущего, всей собственной жизни. Каждое понятое слово – шаг к спасению. Из всего сказанного, как пишет исследователь Н.Н.Вашкевич, совокупный человеческий мозг, как и индивидуальный, то спит, то бодрствует» Вот предлагаемые им признаки сомнамбулизма:

Люди не понимают, что делают.

Люди не понимают, что говорят.

Люди не имеют интереса к смыслу сказанного.

Однако человек должен работать в нужном режиме, иначе наступает дисфункция, отмирание органов, гибель организма. Во время сна сужается поле сознания. То, что должно осознаться, уходит в подсознание. В поле сознания слова связываются по законам логики и здравого смысла. В подсознании слова сочетаются механически, по сходству звучания. Влиять на то, что происходит во сне, человек не в состоянии. Однако знать обо всем этом он должен. Вот метаморфозы некоторых словесных клише, выражений.

«Гром не грянет». Вместе с любовью к быстрой езде (от арабского «сураа – «скорость») в русском характере удивительно уживается медлительность, инерционность, тяжесть на подъем. Существует пословица: «гром не грянет, мужик не перекрестится». И такая пословица существует: «русский мужик долго запрягает, зато быстро ездит». «Русю», прочитанное наоборот, дает арабское слово в переводе «инерция», «нерадивость». Слово «сорок» в обратном прочтении совпадает по словом «красть». Сорока является как бы маленькой моделью Руси.

В мире существуют два алфавита, в котором на первом месте Аз, а на последнем – Я. Это арабский и русский алфавиты. И эти буквы, первая и последняя, символизируют «два гуся» или «гуся и лебедя». Славяне называют себя АЗ, русские – Я; от Аза до Яза. Называя себя так, каждый из нас как бы

способствует тому, что в сознании проносится образ гуся, спасшего Рим. Чтобы мы не забывали своего предназначения.

В Нагорной проповеди Христа есть выражение «блаженны кроткие – им будет дарована земля». Согласные КРТ в слове «кроткие», если прочитать по-арабски (т.е. наоборот), получим значение «пахари».

Слова «добро», «хорошо» («хейр», отсюда «Хайра» - страна гипербореев) и «зло» («шарр») в арабском языке являются служебными словами для выражения оценки предшествующего имени. Так, с «Хайрой» утро доброе – хорошее, правильное; со словом «шарр» - злое, плохое, неправильное. «Дирайя» - познание, а не «дерево», «не древо познания». Познание бывает хорошее, истинное или плохое, неистинное, без всяких там «деревьев».

Так, взаимодействие языков (в частности, арабского и русского) способствуют познанию Истины, смысла языка, самого себя в пределах Вселенной, единичного в сфере космических законов целого, вселенской гармонии и красоты.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Романтика романа

Вот куда пришлось совершить экскурс, в какое минувшее, чтобы прочувствовать мистику слов, их семантику, историко-содержательную наполненность и возможности. Приближимся же к основной нашей цели, к рассмотрению романа как жанра, как единицы художественного творчества, тем более романа в стихах, публикуемого в этой же книге. Интересные мысли, на мой взгляд, имеются у М.М.Бахтина в его статье «Из предыстории романного слова». Восхождение романа как ведущего европейского жанра относят ко второй половине XIX века. Исследователь, выделяя этот жанр, подчеркивает в нем специфические требования к языку, к возможностям, которые он открывает. В

условиях романа слово живет особой жизнью. И это происходит в эпоху технического прогресса, возросшей международной конкуренции, даже мировых войн XX века, когда на карту было поставлено само существование наций. Язык стал играть существенную роль в национальном спасении, выживании, возрождении. Писатели нашли возможность продвижения лингвистики, прежде всего, в сфере романного слова, с середины XIX века эволюция его продолжается уже на наших глазах. Возросли требования к писателю - романисту, усилилась необходимость подъема духовности, самосознания общества в современной интеграции и конкуренции.

Что же предъявляет Время к писателю, к его романному слову как инструменту обновления и одухотворения в ситуации перехода в другое тысячелетие?

«В условиях романа слово живет совсем особой жизнью, которую нельзя понять с точки зрения стилистических жанров в узком смысле» (М.М.Бахтин).

По мнению исследователя, отличия романа от других жанров, в том числе и поэтических, настолько существенны, что всякие попытки перенести на роман понятия и нормы поэтической образности обречены на неудачу. Поэтическая образность имеет для романа второстепенное значение, приобретая особые, не прямые функции. Вот пример, взятый из «Евгения Онегина» Пушкина, характеризующий поэзию Ленского:

Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна.
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна.

Поэтические образы, не имеющие прямого поэтического значения, не следует понимать непосредственно как поэзию самого Пушкина. Это песнь Ленского, пародируемая автором, образ «чужого» языка как романский образ, как средство изображения. Его-то и строит Пушкин как романист, находясь вне

пределов языка молодого поэта Ленского, акцентируя свою пародийно-ироническую отстраненность.

Позиция автора, поэта-художника и поэзия героя, поэта под прицелом автора, их постоянный диалог, тонкое взаимодействие опосредованного романного слова и прямого поэтического языка - вот что ведет внутренне действие, направляет сюжет, определяет поступки. Вспомним, что говорил Пушкин о самом этом жанре: дескать, просто роман и роман в стихах – «дьявольская разница». В этом возможное предчувствие диалогической таинственности, мистической глубины взаимоотношений, улавливаемых в каждое время, каждым индивидуумом по-разному, в различных положениях и состояниях.

Однако хотелось бы сказать не только об этом. Скорее, в развитие мысли, еще и о том, что «Евгений Онегин», стоящий особняком, это, пожалуй, единственный в литературе двух последних веков - роман в стихах. Правда, литература знает еще и «Фауста» Гете, «Дона Жуана», «Чайльда Гарольда» Байрона. Произведения серьезные, объемные, однако байроновские вещи признаются скорее «романтизированными поэмами». А вот «Евгений Онегин» - это роман. Со всеми признаками романного слова. Хотя некоторые из исследователей непрочь заметить, что как роман «Онегин» Пушкина начинается с третьей главы, когда возникает к тому же еще и действие вместо показа извне, именно действие непосредственное, изнутри, от самих героев. Возможно, тоже еще один из самых главных признаков романа. Вот и я почувствовал это, когда работал над переводом «Одиссеи» Гомера, а затем и над своим продолжением ее «Белой Скифией».

По теории перевода, прежде переведенное произведение возможно использовать в качестве подстрочника, чтобы дать оригиналу новую жизнь. Таким «подстрочником» для меня явился перевод В.А.Жуковского из первой половины XIX века, утяжеленный гекзаметром, несколько устарелый, мало исполь-

зуемый, что дало Белинскому возможность отнести его к «детству» человечества. И вот, создавая свой перевод «Одиссеи», делая его восприятие более современным, ритмизуя текст по-новому, проникая в его поистине космические глубины, я удостоверился, что Гомер еще тогда, в свое время, написал самый настоящий роман. Именно роман в стихах. Позже то же самое сделал в Средневековье только Шекспир, его трагедии, как мне думается, тоже не что иное, как трагические романы в стихах («Гамлет», «Король Лир», «Отелло»). И, наконец, вот он - этот ближе всех стоящий к нам Пушкин с его «Евгением Онегиным».

«Образ чужого языка - мировоззрения, одновременно изображенного и изображающего, чрезвычайно типичен для романа; к этому именно типу относятся величайшие романские образы (в прозе, например, «Дон-Кихота»)» (Бахтин М.М.). Таким образом, исследователь находит в пушкинском романе несколько внутренне диалогизированных образов - «чужих» языков (Онегина, Татьяна). Сам автор может представлять в романе уже почти без собственного прямого языка. А весь язык романа, являющийся системой диалогически взаимоосвещающихся языков, уже нельзя рассматривать как один и единый язык. «Разные языковые и стилистические формы принадлежат к разным системам языка романа, - заключает М.М.Бахтин. - Единого языка и стиля в романе нет... Это система пересекающихся плоскостей. В «Онегине» почти ни одно слово не является прямым пушкинским словом в том безоговорочном смысле, как, например, в его лирике или поэмах».

Пушкинский роман был назван Белинским «энциклопедией русской жизни». С точки зрения языка, «русская жизнь» слышима тут во всех ее голосах, языках и стилях эпохи. Литературный язык «Онегина» разноречив, представлен в своем становлении и обновлении. Автор романа борется с «литературщиной», салонностью отмирающих стилей, пытается продвинуться за счет элементов

народной речи, отобранных и пропущенных через сито авторского восприятия, вкуса.

Действительно, являясь самокритикой литературного языка эпохи, «Евгений Онегин» стилистически типичен как всякий подлинный роман. Диалогизированная система «языков», стилей, конкретных и неотделимых от языка сознаний принципиально отличают его от всех прямых жанров – от эпической поэмы, лирики, строгой драмы. Переходы и переключения голосов создают романное целое, сложные диалогические взаимоотношения. Однако только действие, возникающее, как представляют некоторые исследователи, именно с третьей главы, делают «Евгения Онегина» подлинным, действенным романом, переводя языковые возможности в реальное полотно жизни, осуществляя замысел автора живописать действительность во всей ее полноте истинной глубины.

Роман сравнительно поздний жанр, в отличие от всех других жанров, более ранних, где действует прямое авторское слово. «Между тем не прямое слово, то есть изображенное чужое слово, чужой язык в интонационных кавычках обладает глубокой древностью, мы встречаем его уже на весьма ранних ступенях словесной культуры. Более того, задолго до появления романа мы находим богатый мир разнообразных форм, передающих, передразнивающих, изображающих под разными углами зрения чужое слово, чужую речь, чужой язык, в том числе и языки прямых жанров. Эти разнообразные формы и подготавливали роман задолго до его появления» (М.М.Бахтин).

При переводе «Одиссеи» я конкретно прочувствовал истину вышеуказанного в отношении Гомера и, пойдя далее, усилил действенность его по сути романного слова, акцентируя переход к реальной жизни, внимание к поступкам и проявлениям, вытекающим из внутренней побуждений, мотивированности гомеровских героев. С таким запасом «прочности» я подошел к своей «Белой Скифии», выйдя затем, как говорится, на «оперативный простор» -

к моему роману в стихах о современности «Арсению Чигриневу» (первая книга «Библейское имя Мария»).

И что я почувствовал за магией слов, так это возросший интерес к работе, небывалый подъем. Чем труднее, тем интереснее, при гигантской концентрации воли. Не вполне согласен с градацией творчески одаренных личностей в передаче Гордона по НТВ, где его собеседник подразделяет гениев на четыре категории: государи, военачальники – с сильной волей; философы, поэты – с ослабленной волей. В Болдинскую осень Пушкин написал всего за день своего «Каменного гостя». Мой опыт: за сутки я перевел «Слово о полку Игореве» (30 стр.). Достоевский написал своего «Игрока» за месяц (111 стр.), «Хозяюку» в 58 стр. – за полтора дня. Мой опыт: «Одиссею» я перевел за 2,5 месяца, продолжение ее «Белую Скифию» написал за 14 дней (работая в деревне – в поселке Сняевский, один жил в хибаре своей, а вокруг лес и поле, сад и огород вокруг, ближайший сосед в сотне метров, однако есть «прочности» запас; продуктов, городских и выращенных мной, и весь этот сентябрь за окном в прекрасную яблочную осень; птицы вокруг и трепетанье листа; и писал я с перерывом – 15 песен за 9 дней + еще 9 песен за 6 дней, а между ними поездка на три дня в Орел для разрядки и в баню). Но это вчерне все, а так еще шлифуй да шлифуй...

Однако такая концентрация воли не прихоть, она необходима для романтизации, напряжении романа. Субстанция достигает невероятного, грани порой стираются, возникают слуховые, зрительные, смысловые галлюцинации; сознание, как в топке паровоза, в огне рождает сюжеты, лексику, эпизоды извлекает из памяти, века, эпохи, живых людей. И так каждые сутки, главное, все две недели; Леонард, только подбрасывай «топливо»!

Счастлив, когда получается норма. А когда все готово, так и вовсе предела не было радости: «Я! Это!! Сделал!!! Неистовый Леонард.»

Поэзия против поэзии

Это наш национальный гений то ли в Болдинскую осень, когда вокруг по Руси бушевала холера, то ли в другой период творческого экстаза воскликнул о себе так до предела искренне: «Ай да Пушкин! Ай да молодец!» Более того, мог и высказать, обнажась:

«Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь».

Такая обнаженная искренность имеет глубочайшие корни, прежде всего, в восточной поэзии:

«Ты совершен, Баки,
В тонком искусстве газелей».

Или в таких адресных строках поэтов «серебряного века»:

«Ты гений, Игорь Северянин».

Однако я о другом – не о славе, нет, гений и слава – часто вещи несопоставимые; я не столько о борьбе с самим собой, с материальностью строки, сколько о борьбе противоположностей в самой поэзии, о поэзии против поэзии, в результате чего рождается и эфемерность слова, духовность и бронза строки, ее литье, гармония мыслей и чувств, скоординированных с конкретикой мотиваций и поступков. Вот что пишет об этом, раскрывая внутренний мир, саму судьбу поэта, современный французский исследователь-философ, писатель, искусствовед Жорж Батай в своей работе «Литература и Зло», изданной Московским университетом в 1944 году, в главе «Поэзия всегда в некотором смысле противоположна поэзии»:

«Вне всякого сомнения, в основе судьбы поэта лежит некая уверенность в единичности, в избранности, без которой затея свести мир к себе или затеряться в мире не имела бы смысла. Сартр видит тут изъян Бодлера, результат уединения, следовавшего за вторым замужеством его матери. О «чувстве одиночества с

самого детства», об ощущении «вечно одинокой судьбы» поэт действительно писал. Но, наверно, точно так же он раскрыл себя и в противопоставлении другим, говоря: «Совсем еще ребенком я ощутил в себе два противоречивых чувства: ужас жизни и восторг жизни». Невозможно было преувеличить здесь значение уверенности в незаменимой единичности, составляющей основу не только поэтического гения (Блейк считал эту уверенность общим для всех людей моментом, благодаря чему они похожи)».

«Сомнительно, однако, чтобы эта обманчивая ценность единичности не была обязательно присуща нашему сознанию существования: индивид находит ее либо в принадлежности к городу, к семье или даже к паре (по Сартру, так было у Бодлера – ребенка, связанного с телом и сердцем своей матери), либо в собственном «я». По-видимому, в наше время этот последний случай наиболее точно соответствует ситуации поэтического призвания, заставляющего обратиться к форме словесного творчества, где поэма является возмещением индивида. Таким образом, мы имели бы право сказать, что поэт есть часть, принимающая себя за целое, индивид, ведущий себя как коллектив».

«Более разумно – и более корректно – попытаться уловить результаты ощущения единичности».

«Хотеть невозможного, значит, стремится воплотить желаемое и одновременно мечтать, чтобы оно оказалось химерой».

«Правда, поэзия, продолжающая жить, всегда противоположна поэзии, ибо, имея целью обреченное на гибель, она превращает его в вечное. И неважно, если игра поэта, основная задача которой – присоединять к субъекту объект стихотворения, непременно присоединяет этот объект к поэту, разочарованному, униженному неудачей и неудовлетворенному. Объект – несократимый, непокорный мир, воплощенный в гибридных созданиях поэзии и искаженный стихотворением, не затронут жизнью поэта».

«И Сартр помогает нам убедиться, что конец Бодлера, предшествующий славе, которая одна могла превратить его в камень, соответствовал бы его желанию: «Бодлер хотел невозможного до конца»».

Попробуем осмыслить эти извлечение из текста Батая, прояснить для себя, что за этим стоит. На мой взгляд, поэт как творческая личность, будучи явлением единичным, голографически выражает собой космическое целое эпохи, цивилизации, сущего своего времени, соответствуя вселенским законам. И поэзия его в этом неколебима, творчество его настолько жизнестойко и вечно, насколько способно схватить это летучее, ускользающее поэтическое мгновение и, выразив его, зафиксировать в свободных, однако овеществленных словах. Каждый в мире неповторим – и субъект (сам поэт), и объект его направленного слова (читатель, общество, человечество), каждый в какой-то степени гениален, то есть боговдохновенен, подключаясь к высшим силам, выражающим космические законы гармонии и красоты. Все вне этого лживо и обречено. Так понимает Батай Бодлера, Сартра в этой их оппозиции Добро и Зло, так воспринимаю и я их преображенную творчеством жизнь в фиксированных мгновеньем словах.

Поэзия противоположна поэзия в том смысле, что в ней существуют два изначала, две, так сказать, ипостаси, два противотока, как и в самой жизни. Один из них возносит слово в Небо, к Богам, подпадая под воздействие мирозданческих законов восприятия и отражения. Другой противоток держит его за узды на Земле, в мире людей, в жизни земной, материальной, сочетая каждого из людей, как и все человечество, с материально-духотворным обликом мира, а не только сострадав внутри себя каждому индивидууму в отдельности, отторгая и уводя его все далее от изначально звериного облика «гомо». В этой борьбе и единстве материального и духовного, на мой взгляд, и ждут поэта новые поиски, потрясения, разочарования и успехи. И этот путь к высшей гармонии через законы мира не имеет предела.

Так что же мы имеем, с точки зрения высказанных признаков романа в стихах, тут в «Арсении Чигриневе» в смысле жанровом (в первой книге «Библейское имя Мария»)? Конкретнее, с точки зрения романного слова и действия? Если в «Онегине» отстраненность автора, то есть Пушкина, от молодого поэта Ленского, вполне возможно, вызывается разницей в возрасте. Если Пушкин как автор- носитель главных идей – способен переложить свои уже более зрелые мысли и чувства еще и на других героев, скажем, на того же Евгения Онегина. То у меня в «Арсении Чигриневе» как главный герой драматический актер одного из московских театров примерно ровесник мне, даже чуть старше. Таким образом, добиться отстраненности, следовательно, заменить прямую авторскую речь непрямой труднее, хотя любой поэт, как и автор романа, в какой-то мере тоже артист, идентифицированный с героем. Однако автор добивается разграничения, неслитности с речью героя – актера Арсения, что, по Бахтину, является признаком романного слова. Вот сцена из 91-го года под Москвой, на кольцевой, куда попадает с самого начала Арсений.

Вот сидят в кружке «гаишники», закусывают, сидючи при дороге.

И – все же – черт ли дернул за язык –

Он выдал замечанье тем, что ели:

- Да что бы ели все мы, в самом деле!

Когда б не тот рубиновый «старик»!

И пожалел. Но было уже поздно.

- Ну ты, «рубин»! Ты не на той платформе! –

Сжалашниковым надвигался грозно

Вразвалку парень в камуфляжной форме.

И сразу в бой. Удар в лицо, как «профи».

- Ни за кого я! – крикнул он. – Кацо!

Артист я, нас нельзя в лицо!..

Но били в фас его и в профиль,

В его всемирно знаменитый,
 В его свободный, всем открытый,
 В его нос римский, как отлитый.

* * *

Ногами, палками, прикладом.
 В печенку, в почку, в пах, под дых!
 Как будто был он личным «гадом»,
 Врагом у каждого из них.
 Как будто противостоянье,
 Как будто он не достоянье,
 Все вытирали грязь о «тряпку»!
 И били, били, что любили, -
 В лицо его, в его улыбку...
 Как дико мы, выходит, жили!
 Когда, как бесы, в род свой, в зыбку -
 Да по зубам, да по зубам -
 По знаменитым жемчугам!

Сцена намеренно представлена именно эта: действие динамично, стремительно, позиции до предела прояснены, оппозиция героя с ее стилистикой и лексикой («гадом», «хряпкой») не совмещена с авторской позицией. Вот Арсений, его восприятие:

И били, били, что любили, -
 В лицо его, в его улыбку...

И вдруг прямое авторское слово:

Как дико мы, выходит, жили!

И так по всему роману. Язык каждого из героев, входя в диалогизированную систему языков, провоцирует романное слово с его непрямым, порой паро-

дируемым смыслом, которое, выражая героя, романтизирует стиль, драматизирует ситуацию.

И это делает автора особенно эмоциональным, обостряет мыслительный аппарат, повышает романтический настрой, осознание того, что пишется именно роман в стихах, что после Пушкина вряд ли когда-либо было в литературе. Все это я свершал, как говорится, в той же моей лаборатории - в поселке Синяевском. С утраца по росе настроение великолепно, люблю косить («размахнись, рука!»). А потом, когда солнце сгонит росу, берусь за перо и пишу именно с напряжением, но и не без удовольствия («попашет папаша - попишет стихи»). А из самого подспудно все не выходит Пушкин, герой его романтический Ленский, прототипом которого был все тот же не менее романтический друг Пушкина Кюхельбекер (кстати, неистовый «Кюхля» послужил прообразом еще и Чацкого у Грибоедова).

За окном - сад, лес шумит, яблоки, созревая, лезут в окно, качаются ветки, раздражают обоняние. Ария Ленского то внутри где-то, во глубине меня, то я пою ее уже в голос («Куда, куда вы удалились»). А на стене висит карта Байкала, привезенная мной когда-то с БАМа. И обостряется - еще из трех времен - прошлое. Вот мы с Юрой Семеновым из Харькова находимся в Усть-Баргузине. Он водитель «Уаза» начальника Тоннельного отряда №10, а я командирован сюда одним из московских журналов. «Эй, баргузин! Пошевеливай вал». «Баргузин» - это ветер с верховий одноименной реки. А там где-то, в 50 километрах, - райцентр, городок Баргузин. И где-то в тех местах могила его, Кюхельбекера, «Кюхли» - прототипа Ленского, каким себя я воображал с молодости и арии которого пою до сих пор. Да уж куда далее «удалили» этого пушкинского «Кюхлю» - «героя», выходит, и моего романа! И вот происходит такой диалог с Юрой Семеновым.

«Я говорю:

- Давай съездим в Баргузин, на могилу к Кюхельбекеру - поэту, декабристу.

- Да ты что! Перебьешься.
- Вон, видишь, подходит парóm через Баргузин. Ну я пошел на парóm, на тот берег. А ты тут сиди, жди баржу свою самоходную на Север Байкала. А я пошел в золотую тайгу.
- Ты что! Пятьдесят километров? Пешком?
- А что? Так к поэту же из плеяды, как к самому Пушкину. Сам же говорил, надо не сколько прожить, а как прожить, вот что, канальство, заманчиво!
- Ну, черт с тобой, ладно, поехали».

И вот мы на краю Баргузина. А дорога далее идет в золотую тайгу, золото в ней испокон добывали. Кладбище жметя к краю дороги. И красота кругом, красотища. Сиреневы пятна чабреца по придорожью. Белоснежны острые шапки гор по всему горизонту. И много еврейских могил с шестигранной звездой Давида по обелискам. А в углу тот самый памятник – исторический камень. Сажусь на чабрецы и пишу.

Таежный парад

В скалистых дебрях Забайкалья,
 У самых вод Баргузина,
 На тихом кладбище случайном
 Могилка тихая одна.

Всего строка тут: «Кюхельбекер».

И лицейст был. И поэт.

Всего-то штрих о человеке,

Не исчезает горний след.

Идут колонны КРАЗов. Краска

Горит на фоне снежных скал.

Спешат бойцы на свой участок –
 На перевал, за перевал.

В строю колонны. Строй на марше -
 Парадом будущих побед.
 И принимает нас не маршал,
 А ссыльный, декабрист. Поэт».

Вот как тогда все просверкнуло. И уже после узналось, что это был вроде бы даже не сам «Кюхля» - друг Пушкина, однако тоже ведь Кюхельбекер. И тоже поэт. А все равно через брата связанный с Пушкиным, «Евгением Онегиным», Ленским. И это тоже падает на энергетику моего романа в стихах, делая душу возвышеннее, благороднее.

В самом деле, если краткость просто сестра таланта, то стихи, придавая лапидарность строке, даже невесомость, при наличии малых слов, выражают больше смыслов, а значит, при наличии желания и умения, могут быть уже не двоюродной, а родною сестрой таланта. Вот пример краткости доктрины.

Проснулась Груша: где она?
 Какие сны судьбу пророчат?
 Все Мидия, все Гиркана –
 В персидских тайнах дни и ночи.
 В золотых орнаментах Луна
 До волхвства низведена.

* * *

Так что с Россней происходит?
 Россия будет или нет?
 Наоборот! А Кремль навроде
 Один на весь волхонский свет.
 Она одна в пустой квартире,

А муж в деревне или как?
 Все судит всех, а сам-то – так,
 Горчица горькая в имбире.
 От революций не умнеем,
 Восток ли, Запад – где мы, кто?
 Свой суп всегда сварить сумеем,
 Хлебать который лет нам сто...
 Вот только как оно, не знаю,
 Проснуться к первому трамваю!

Обширна картина, перед глазами целый мир, евразийская история, внутреннее состязание одной из героинь выражено не слитно, всего на странице. Сколько надо было бы прозы, чтобы исполнить такую картину? Строка, наборность текста, а за всем тем – простор для мыслей, догадок и озарений, для продолжения собственного «я» в чужой стихии авторской речи.

Творческая триада

В чем же еще, может быть, состоит эта самая «дьявольская разница» между романом в прозе, обычными поэтическими жанрами и романом в стихах? Роман в стихах, на мой взгляд, - это ведь не проза, переложенная на стихи. И не стихи, облаченные в форму прозаического романа. А если не то и не другое, так что же? И для чего он нужен, такого рода роман? Вряд ли возможно дать на это исчерпывающий ответ, маловат опыт всех в этом «экзотическом» направлении. Однако, кроме вышеуказанных, попробуем выделить и еще другие особенности этого жанра.

О преимуществе романа в стихах перед романом в прозе было заявлено в самом начале «Арсения Чигринева» (первая книга):

«Где прозы надо два-три килограмма,

Тут я двумя словами совершу».

Однако, подобно Катилине о Карфагене, который должен быть «уничтожен», повторим и мы уже поднавязшее на зубах: что же все-таки еще и еще существенно отличает роман в стихах от романа в прозе? Обопремся на собственный опыт. С детства, еще с четвертого - пятого класса, я пишу стихи, а песни, вернее, мелодии, поются во мне сами тоже рано, с класса седьмого. Проза пошла позже, где-то в первые студенческие годы. И вот теперь все происходит в такой последовательности. Берусь за прозу - за книгу рассказов или роман. Но прежде во мне возникает вольтова дуга, брызжут мелодии. Затем, схлынув, сжегши мой адреналин, музыка преобразуется в поэтические образы, «сыплются» стихи. Но и они когда-нибудь «высыпаются», и тогда через какое-то время, я сижу уже без напряжения, постепенно возникает желание прозы. Не всегда такой механизм срабатывает, но бывает. Не с того ли роман в стихах «прорезался», да еще положенный на музыку моей души, но эти мои музыкально-поэтические ассоциации все же воздействуют, романное слово усиливается, вызвончается, уводит в иное, упруго обогащая, и я то по грудь в снегах, то по пояс в вешних водах или в клекотанье осенних берез...

Главный герой у меня артист, однако не рапсод, поющий с чужого голоса, а аэд - сочинитель собственных песен. Как и сам Гомер, его Демидок или Флемий из «Одиссеи». Вот и тянет Арсения Чигринова к песне на поэтическом празднике ли, в электричке ли или сельском автобусе, на Васильевском спуске в Москве у Кремлевской стены. Роман в прозе, очевидно, имел бы для этого куда меньше возможностей. Резче была бы фраза, грань, авторская речь была бы больше отделена от речи героя, его души, выражаемой в песне. Слитно и в то же время отстраненно. Музыкальность - одно из важнейших свойств стиха вообще и романного слова, в частности. Смотрите, как предстает творческая триада в такой сцене: музыка - слово - исполнение.

Москва 91-го года. Все кипит, низвергаются авторитеты. А в квартире

Чигриневых - он и она, встреча после разлуки. Вальс «При свечах».

Спасите, женщины, Россию!

Когда не могут мужики.

* * *

Григорий, где ты? Дорогой Григорий!

Взял автомат и канул за порог.

И в душу Груше вдруг проникло горе,

Такое горе! Чуть не сшибло с ног.

«Калашниковы» сами не стреляют,

Огонь прицельный сами не ведут.

Чего ж ты, Русь! Куда тебя ведут –

Мою Россию с края и до края?

* * *

Она ступила за порог.

Давно стояла тут, бледна.

И кто б все это слышать мог,

Так это ты, моя жена!

- Что ты слышал, арию Трембиты?

- Да из Планкет... эта, эта...

«Мирно качайтесь, каче-е-ели-и...»

- Ваши карты биты.

- А ваша песня спета, спеттга-а-а...

«Мирно качайтесь, каче-е-ели-и...» -

Подтягивала и она,

Его законная жена.

И танцевали, пили, пели.

Артисты мы – смеемся, плачем,
 Ни к черту нервы, не иначе.

* * *

Включил ей танго «При свечах»,
 Задержнул шелковые шторы.
 И заскользили. На плечах
 Рука. Фигура. Томность. Взоры.
 Как удивительны мягки
 Все тайны перевоплощенья.
 Она не помнит той руки
 С Христова, что ли, дня рожденья,
 И он не слышал этот голос
 Лет, может, десять, может, сто.
 Ей пересчитывает волос –
 Их у Трембиты тьма, - а что?
 - А че? – Ни че, я так. – И я. –
 И танго в танго у мустанга.
 И тают свечи, и змея
 От них по шторе, вопия
 Органным голосом. Качает
 Их штору... музыка кончает...

Переходы от слов к музыке - туда и обратно - эфемерны, невыразимы, исчезающи.

Так и сама судьба главного героя Арсения Чигринова, не выдержав испытания Москвой, театром, где он был некогда обласкан, став даже народным артистом, под влиянием своей мятушейся натуры, всех этих народных электричек, поющих под гитару бардов, гремящих площадей Москвы, массовых

поэтических праздников – отправляется зализывать раны в недра лодские, к земле, в родные пенаты, где он свой, где ему рады. И что сбило его «спанталыку», так эти слова из песни Василия, услышанной в электричке:

- Дача моя, дача,
Ты, моя удача.
Солнце закатилось в топотах коня.
Оттремела молодость, старость обознача.
Только и осталась ты, дача у меня.

Первое. «Червоная свеча»

Пост скрипту.

И вот *post scriptum*, как нечто вытекающее из этого романа в стихах, конкретнее даже из самой романной сцены «при свечах», эта моя новая песня об Орле. Она тоже возникает из небытия как бы при «свечах», так и названная мной, спетая и записанная на магнитофонную ленту, - «Червоная свеча». Песня о городе, где я живу, конкретнее – о прекрасной, любимой мной точке на главной площади, чуть ближе к курантам, откуда, подобно Невскому в Питере, две улицы – две «волховы», кудесницы, разлатой буквой «V» («в» - «виктория») открывают вид (одним лучом) по бывшей Болховской на златоглавый храм Смоленской Божьей Матери. А другим лучом – левее на мэрию и далее через памятник Бунину уходя туда, ложась на золоченое острие Кафедрального Собора.

И вот он, текст этой песни, положенный на музыку моей души. От мистики духа – к конкретике бытия. Как у Михаила Булгакова в «Мастере и Маргарите» - от гофманского фантастического мира к реальному коту Воланду, Берлиозу на Патриаршьих прудах, где у Берлиоза «соскочила голова», оттого что Аннушка перед тем разлила на трамвайных рельсах это проклятое масло. А песня эта

звучала в душе и помогала в романе Арсению и Марии.

«Червоня свеча»

(Песня об Орле)

От главной площади Орла –
 Две улицы, как два луча,
 Две волховы, сквозь город прорезаясь.

И золотые купола –
 Червона золота свеча
 Горит в сердцах, по двум лучам передвигаясь.

Одним лучом – с холма туда,
 Вниз по бульвару, кабакам,
 В храм на Песковской, в златоглавость упираюсь.

Я чту старинные года,
 Красиво тут, красиво там,
 Как по весне, как в тишине тревожит завязь.

Другим лучом с холма на холм,
 На кафедральный шпиль, собор,
 На острие его ложусь и замираю.
 Здесь бой курантов и «Бристоль»,
 Как изумителен обзор!

У края моря тут стою и пропадаю.

На двух лучах вальс «При свечах»,
 Как все в Орле на двух ключах.
 Со временем никак не успокоюсь.
 Роман давно бы мой зачах,
 Но на устах, но на плечах
 Все эта нескончаемая повесть.

Роман я с городом кручу,
 А на устах... молчу, молчу...
 Не до столиц нам с лоском их и блеском.
 Несу червоную свечу
 И не столичности хочу,
 А все-таки как где-нибудь на Невском.

От главной площади Орла
 Две улицы, как два луча,
 Две волховы, две волховы, две волховы...
 (июнь – 2002г.).

Второе. «Орден Андрея Первозванного»

На канале «Культура» в Москве есть такая передача «Блеф-клуб». Это когда рассказывают истории, в которые можно верить или поверить нельзя. Когда правда не отличается от придуманного, фантастического, а я бы сказал, порой даже мистического, то есть внешне совершенно немотивированного.

Так вот, сижу я дома, и вдруг звонок из областного Союза журналистов. «В Москву надо ехать, - говорят, - в ЦДЖ России, приглашают по поводу 300-летия Российской печати. Банкет будет, концерт». – «Ну, - думаю, - чего не съездить на казенный-то счет? Заодно друзей, родственников проведаю». Дело в том, что, тряхнув стариной, я написал и 12 января с.г. опубликовал в газете «Просторы России» очерк о друзьях-товарищах, о нас – поколении шестидесятников из молодежной газеты. А поскольку очерк прошел под рубрикой «300-летия», то это выглядит, думается, как поощрение.

Как и положено, совещанье прошло неназойливо, награды вручают. Присутствуют журналисты высшего класса, элита страны (Василий Песков, Спартак Беглов, Хохлов, Архангельский, Кондрашов и т.д.). При вручении

называют награду то «высшим журналистским знаком», то даже «орденом журналистским». И меня вызывают. Получаю. Compliment загибаю Василию Пескову за его книгу «Шаги по росе». Мне ее, помнится, Иван Закаблук (вместе тогда работали в молодежной газете) на день рождения подарил. А потом концерт, в ресторан повели. Сидим. Элита московская за столом рядом. Тосты у них там пошли, заслужили они, кроме них, вроде нет уже никого. Всегда так - что писатели, что журналисты. Как в Москву выберутся, так провинциалы для них уже не существуют. «И сейчас, - думаю, - стерли в обществе не грань между столицей и провинцией, а скорее деревню, если не провинцию, то это уж точно». Вижу, моховой дед у нас сидит за столом – с Золотой Звездой, стало быть, Герой соцтруда. Оказывается, Борис Ефимович Ефимов – художник типа Кукрыниксов, только те втроем работали (Куприянов, Крылов, Соколов), а этот в одиночку. Вот тут и начинается как бы в рассказе рассказ, назовем его

«Геронтология».

«- Сколько лет вам?» - спрашиваю я художника-сатирика, сидящего напротив меня.

- Сто три, - говорит Ефимов.

И улыбается, на лице ни единой морщинки. Самостоятельно, вижу, ходит всюду, не то, что поэт Саша Красный из времен Маяковского; помню, в Переделкино был до того дряхл, что с рукой уж по стенке передвигался. А этот в президиум из конца зала протопал за «орденом» и тут сидит, еще и юморит.

- Вот, - говорю, - за него и тост. За долгожителя! Не только на таком архиважном участке, но и вообще за долгожителя вся Русь.

А он раздухарился, кричит:

- В трех веках живу! В девятнадцатом - в самом конце родился, через двадцатый пролетел, а сейчас уже в двадцать первом.

И как истинный джентльмен тут же, без передышки, провозглашает:

- За единственную женщину у нас тут, за нашим столом!

Это он имеет в виду Тарабрину Зою Федотовну, нашу орловчанку, что сидит рядом со мной.

Оживились все за нашим столом, оптимистами сделались. А за соседним притихли, смотрят ностальгически, чего это у нас тут творится? А у нас тоже компания ничего себе: двое из Ярославля, один из Смоленска, один из «Комсомолки» (Володи Муссалитина друг, мы с Володией тоже в орловской молодежной газете вместе сотрудничали), еще двое москвичей и этот вот дед - сатирик, с Золотой Звездой.

- Бидструпа знаете? – говорю.

- Знаю, знаю! – кричит дед через стол. – Бидstrup – мой друг.

- А Курляндскую знаете? – говорю. – Галину Борисовну, профессора, тургеневеда из Орла? Тоже долгожитель. Недавно 90 лет отмечали. Работает в университете. Очерк о ней написал, вот за очерк с вами тут и сажу.

- Сколько ей? Так она еще молодая, - смеется дед.

- Вот она то же самое, - говорю, - сказала и мне. Все относительно, по теории Эйнштейна. И, согласно этому, - смеюсь я, - вам тоже возможный привет, молодой человек. Такая же диспозиция.

- От кого же? – настороживается Ефимов.

- От француженки одной, старейшей жительницы планеты, - говорю. – Жанна Кальман из Арля, ей 122 года. В Орле у меня на столе лежит книга Гавриила Николаевича Симонова, на французском. Требуется перевода... А сам автор – русский из Бордо, во втором поколении, из рода Константина Симонова, тоже писатель, доктор наук и председатель французского общества «Друзья Бунина». Куда, кстати, занесен в списки и я, ваш покорный слуга...

- Да, почтенны годы у старушки, - улыбается наш долгожитель.

- А у меня и у самого мать, так ей тоже за девяносто, - говорю я. – В Малоархангельске, городок такой на Орловщине, живет. Прихожу я как-то к мэру Коклевской Надежде Васильевне. Про мать сказал, про ее возраст, а мэрия в

ответ: у нас в городе бабушка есть, еще одна, так ей сто пять. Но, правда, приезжая. Откуда-то из СНГ.

- Н-да, - говорю, - долгожители - уникальные люди. Жили в таких же условиях, как и все, а живут и живут. Почему? Жизнь естественна, независима от колебаний... А то еще, кажется, английский хирург Джон Грей жил еще в средние века, делал вскрытия, изучал анатомию. Так вот, лет в сто десять - сто двадцать его сбила насмерть карета. Вскрыли, а у него еще хрящи на конечностях, не окостенели. А недавно на одном застолье в Орле тост был провозглашен в честь пятидесятилетней женщины, чтобы жить ей два раза по сто.

- Ну и что?

- Наука такая есть, - говорю. - Геронтология, называется. О загробной жизни. Сейчас в зародыше, правда. А вот еще в древнем Китае была в расцвете. В манускриптах записано: иные императоры и мандарины жили по двести лет. А по библии Мафусаил - тот вообще прожил 980 лет, огого!

Так вот, дали мне Знак журналистский - звезда для самозащиты, на орден Победы похожа. Однако без бриллиантов. «Брильянты, мне там императоры от литературы, - шучу, - в Орле после подсыплют». И вот тут же, 10 февраля с.г., по вечерней телепрограмме, гляжу, сообщают, Россия награждает иранского президента Хомейни орденом Андрея Первозванного. Как в воду глядел я, сказав про брильянты. Такая же, примерно, Звезда для меня - на Георгия похожа, а для маршалов на Орден Победы, с 37-ю брильянтами на борту. «Ничего себе, - думаю, - Ельцин взял, Солженицын отказался, а Хомейни?.. За что хоть ему-то?» - задумался я этак, и выкатывается у меня из памяти следующее: «После «Горя от ума» Грибоедова послом направили в Тегеран. И там его в 1829 году разъяренные толпы убили. Персидский шах, откупаясь, направил в Петербург сына своего принца Хосрева Мирзу с огромным таким, знаменитым алмазом желтоватого цвета, найденным в Индии и названным «Великим Моголом». Однако при огранке алмаз рассыпался на две части: «Гора света» и «Море света». Первый

из них украшает британскую корону, а вот второй, захваченный персидским шахом Надиром и переименованный в «Шаха», и был отправлен в Петербург. Вместе с «Орловым» этот «Шах» до сих пор хранится у нас в Алмазном фонде».

Так вот, правда это или неправда, - насчет Знака журналистского – Георгия, ордена Победы, но без алмазов только, как это насчет Андрея Первозванного с 37-ю брильянтами для Хомейни? Посыпали алмазами знак-то всего через каких-либо пять дней. Ей богу, не верится. А ведь правда, святой истинный крест. Сообщили тут же в информационной программе вечером. Прямо какой-то «Блеф-клуб». Вот сижу и думаю: «Фантастика это или мистика? И кто я теперь, кавалер или не кавалер, шевалье какой-нибудь – «шваль» то есть в нашей большой картежной игре?»

Третье. Великие годы «Авесты».

И еще возникает освежение мысли от другой телепередачи «Потаенные годы Иисуса». После того, как вернулся я из Москвы. Разговор состоялся там, в стенах литинститута, с одним профессором, доктором наук. С кем в прошлый раз беседовал, когда я «гимн» в Москву привозил, а он еще дал толчок моим мыслям и действиям, назвав знаковое слово «Одиссей». И тут какое-то мистическое совпадение. Профессор мне и говорит:

- Ну и как вы там у себя живете? Как относишься к своему литературному руководителю?

- Да не так, как вы, - говорю. – Поместили его тут в своей «академии изящной словестности», а надо было на «литературный чердак».

- И что имеется в виду?

- А то, что Иисус в тридцать лет вернулся в свои Палестины. Однако проповеди его не подошли ни царю иудейскому, ни самому Риму...

- Нет таких подтверждений, что Иисус был на Востоке, - говорит профессор.

- А ведь был он там, был, - говорю я. - Сам раскопал, читал в статье одного ученого богослова, из журнал «Наука и религия». И еще попались мне материалы социологического факультета Московского госуниверситета...

К тому же, после разговора с ученым, приезжаю я из Москвы в Орел к себе, и тут 12 февраля сего, 2003 года по Первому каналу передают эти самые «Потаенные годы Иисуса». Оказывается, Иисус пробыл на Востоке целых семнадцать лет. Не только у ассирийцев-мистиков, у индусских йогов, но и, главное, на Тибете, у буддистских монахов, ранних христиан. И этому есть подтверждение. После двух исследователей (русского и англичанина), побывавших в XIX веке ранее в этом монастыре, уже в наши дни его посетил третий человек из Европы - российский журналист, наш современник. Ему удалось заснять древнейший манускрипт, в котором свидетельствуется пребывание на Тибете Иисуса (Иешуа, - в переводе «Спаситель мира»).

Действительно, в 6 веке до н.э., когда в сознании человечества устанавливалось так называемое очередное «осевое время», на Тибете функционировало сообщество ранних христиан. Сами тибетцы на вид низкорослы, скуласты, черноглазы, монголоидной расы. Не спутаешь их по внешнему виду со светловолосыми, светлоглазыми арийцами.

А дальше следует поток уже моих собственных мыслей и рассуждений, опирающихся на факты, на прозреваемое прежде, на существование архидревного арийского памятника письменности, на свою логику и интуицию.

1. Итак, все мы - с индоевропейским языком и культурой, в конце концов, дети «Авесты». Вот эффект «черного ящика»: на входе - пращуры наши, арийцы «Авесты», на выходе - мы с вами, потомки индоираноарийской цивилизации, нынешний 21-й век. А где-то там внутри «ящика», во глубине веков и даже тысячелетий, волны арийские одна за одной. Вот они катятся с Востока и слоями

накладываются то на Индию, то потом на Европу, изменяя ее прежний кельтский, друизский, дравидский, угро-финский облик, давал свои названия народом, местностям, городам и т.д.

Так вот, народ Израиля, иудеи, счевшие себя «избранным» народом, географически возлежащие не так уж далеко от мистических индоираноарийских глубин Востока, знающие о нем не понаслышке, вполне возможно, решили послать туда, скажем так, «делегацию». В ее составе и мог оказаться тринадцатилетний мальчик - будущий Мессия (Спаситель мира), который должен был привезти оттуда свежие идеи, обновляющие «устарелый» иудейский мир. Этот Иешуа и должен был стать богочеловеком (человеком в боге, богом в человеке). Со своими спутниками он пребывал там как бы с охраной. Недаром, проведя на Востоке целых семнадцать лет, окунувшись в недра буддизма, пройдя, как говорится, сквозь огни и воды, этот Иешуа в свои тридцать лет вернулся восвояси живым и невредимым. И уже тут, у себя дома, на родине, был подвергнут гонениям, даже казнен.

За что? Самое главное - «посланец» побывал у монахов на Тибете, в буддийских храмах и привез-таки оттуда «свежие» идеи. А они, те идеи у ранних христиан на Тибете, выразались, - прежде всего, в сострадании, любви к ближнему (подобно «заповеди» христианской «возлюби ближнего, аки самого себя»). И еще: за исполнение «заповеди» тут уже существовала идея «рая» для простых смертных, это уже как за «истинное» служение Богу. Еще раз отметим, внешний облик тибетцев - ранних христиан иной, чем у арийцев, зато «внутренние» идеи общи с арийскими, вполне возможно эти идеи были привнесены из соседней Индии, из Пенджаба.

2. А что же сами индоарийцы, что о них известно в «Ведах», «Махабхарате»? Рай земной, счастливая жизнь в мечтах у них постоянна, и «рай» по-прежнему там, откуда пришли они, где-то на Севере. И опять же через

ираноафганское плоскогорье следует затем их возвращение назад, к тому же Уральскому камню. Тут – по генотипу – находится Разум Земли. Итак, походы арийцев проходили сначала с Севера на Юг, а после из центра (от Разума Земли) следовали вслед за Солнцем или навстречу Солнцу - на Запад или на Восток. Тут под Камнем и обитали арийцы, и укреплялось в них осмысление самой идеи Креста - по вертикали (в Небо, к богу) и по горизонтали (по земле обетованной). Рождение этой идеи вполне возможно именно здесь, в центре Земли, – этой Скифии, где, еще раз подчеркнем, находится Разум планеты, в «смеси» индоираноарийских племен и народов. Идею Мессии, которую они принесли сюда ранее, с Севера, олицетворял Зараустра. Вот кто первый Спаситель мира, вот нам его идеи спасения, они находятся внутри человека: возлюби ближнего, за что вознесешься в небеса, где «рай» находится и для простых смертных, вот нам и первые христиане...

Но откуда сами они, эти арийцы, со своими идеями взялись на Белом, «счастливом» острове в Арктиде? То ли это «звездный» народ (с Венеры ли еще не остывшей тогда, с Фазтона ли еще не взорвавшегося и разлетевшегося потом на куски), а то ли это «осколок» от прежней земной цивилизации, имевшей более высокий уровень и находившейся ближе к природе, нежели мы?

Посмотрим только на «посадочные места» - космические «аэродромы» в регионе обитания инков-ацтеков-майя; на цепь пирамид – отсюда же через Египет до Индии; на снежного человека в регионе Тибета, на гигантов-циклопов у Гомера с «третьим глазом» во лбу, очевидно, утерянно м в процессе эволюции, - и мы поймем, как много еще в истории человечества «темных» мест, «белых» пятен, загадок таинственных, которые предстоит разгадать.

И вот вернулся Иешуа с Востока, обогащенный, если по-современному сказать, идеями «гуманизма» - спасения человека через любовь к ближнему, через обретение «рая» на небесах. И стал Иисус Христос проповедывать эти идеи, три года всего проповедовал в Палестинских землях. Такие идеи не могли, конечно,

понравиться ни царю иудейскому, ни самому Риму в лице его наместника Понтия Пилата. Свобода ведь обретается человеком - простым смертным через освобождение духа, души. Да какой же власти такое понравится? Вот и распяли Христа на его же Кресте. Но идея оставалась, она бессмертна, обретая все новых сторонников. Она ведь в массах, во глубине Христианства, всего человечества. Хотя власти и пытались ее эксплуатировать, начиная с того же Древнего Рима, который искоренял первых христиан, а затем и сам принял их веру.

В последние два-три века среди людей, действительно, усилилось ожидание новой Мессии – нового Спасителя мира. Действительно, под эту идею пытаются подсунуть всяческих «сверхчеловеков» (Наполеон, Гитлер, разного рода вожди). Но пока все это тщетно.

3. Молясь, в православии осеняют себя шепотью – тремя перстами. «Тройка» - символ индийской цивилизации, это идет из глубин арийских, авестийских, от буддизма еще (бог – отец, бог – сын, бог – дух святой). В католичестве, крестясь, кладут на себя двуперстие. «Двойка» - символ египетской цивилизации (мир этот и мир тот, живые и мертвые, земля и небо и т.д.). Однако идею «двойственности» мы находим и у античных философов. В частности, у Гераклита (в 67-м фрагменте): «Бог есть день и ночь, зима и лета, война и мир, насыщение и голод (все противоположности)» (37, т. I, с.159). Некоторые ученые склонны считать «Войну и мир» Л.Н.Толстого не как антитезу, «мир»-де воспринимается писателем, скорее, как миропорядок. Так же в свое время (после «Илиады» - Троянской войны), в своей «Одиссее» мог воспринимать мир и слепой провидец Гомер. Тем более такой акцент возможен в продолжении «Одиссеи» - в «Белой Скифии», где царь Итаки, отправясь в новое путешествие – в Земли гиперборейские, знакомится с новыми идеями, новым миропорядком. И главная из них – это, конечно, идея «рая» для простых смертных, по сути главная христианская идея, которую Одиссей встречает у скифов (пращуров наших индоираноарийского происхождения). Все это происходит в 9 веке до н.э., то есть

за три века до «осевого времени» и почти за 9 веков до «цивилизации», то есть христианизации мира, до явления Иисуса Христа.

4. Интелехии «этика» и «эстетика» - что это, как их следует понимать?

«Эстетика» - красота, гармония. «Этика» - нормы поведения, мораль (Добро и Зло, Любовь и Ненависть и т.д.). Один ученый говорит: этика – это все, в нее входит также понятие Красоты. А другой - солидаризируется с Бодлером в его «Цветах Зла» (стих.«Красота»):

Парю в лазури – лебедь молодая,
Белее снега, холоднее льда.
Я – Красота, недвижна и горда я,
Слеза и смех – я выше их всегда.

Так вот, «слеза» и «смех» - это трагедия и комедия, это то же, что и Добро – Зло, Любовь – Ненависть и т.д., то есть «этика». А «эстетика» (Красота) признается Бодлером парящей над ней, всем, что есть, даже над «этикой». Мне бы хотелось уточнить это положение следующим образом. Эстетика (Красота как голографическое соответствие целому, законам гармонии) – это, скорее, «передаточный механизм» между человеком и моралью, как поведенческими нормами соответствия вселенским законам. Так мне думается.

Малая форма, ее притязания и возможности

В эту же книгу включена трилогия малых трагедий «Господа Каменские» (об известных орловцах - военачальниках, отце – фельдмаршале Михаиле Федотовиче и его сыновьях: Николае Михайловиче – командующем Дунайской армией и старшем Сергее Михайловиче – основателе Орловского театра). И сделано это не для того, чтобы «разбавить» драматургической «прозой» предыдущую большую форму в стихах - роман. Для идентичности можно было бы включить сюда историко-драматическую трилогию тоже в стихах о Крещении

Руси (кстати, только одна из них опубликована - о Княгине Ольге, «Великая псковитянка»). Однако все они, эти драмы в стихах, полноформатные. А мне хотелось бы неназойливо, как-то исподволь, подчеркнуть полноценность и объема, и самого жанра романа в стихах, показав рядом малую форму.

Поскольку малые драмы составляет трилогию, как бы единосюжетны, семейная история российских военачальников графов Каменских выглядит более многогранно, в развитии, смотрится с разных точек.

Писатели в прежние времена (скажем, Герцен в «Сороке-воровке», Лесков в «Тупейном художнике») успели создать, особенно из Каменского - отца, отрицательную традицию. История младшего из графов Каменских, пожалуй, самого талантливого и трагичного, потрясла меня. Что ж, возможна версия, что накануне Наполеоновского вторжения в Россию именно его, Николая Михайловича, прочили в главнокомандующие всей Российской армией, но французы упредили. Младший Каменский был отравлен в Бухаресте, на его место был прислан Кутузов.

И, что интересно, когда владеешь тайными внутренними пружинами сюжета, история внешняя, семейная фабула кажется менее поверхностной, факты обретают стереофоничность, даже замысловатость какую-то, хамелеоновскую окраску. Рущук – турецкая крепость в Болгарии, где в разные времена сражались все три Каменские. А ведь это еще и древнейшая столица русичей. Это туда из Киева хотел вернуть столицу Древней Руси еще князь Святослав, в то время как мать его – княгиня Ольга отстаивала Русь тут, на крепостном валу Киева («Великая псковитянка»). И это умирающего Николая Михайловича Каменского, везут сюда, к устью Днестра, где-то в регионе Одессы, чтобы именно тут предать его тело земле. В этих местах где-то погребли прежде утонувшего в Рымнике сына Суворова Аркадия Александровича, а также Потемкина. Именно тут у наших пращуров-праславян, индоираноарийского происхождения был Ирий – рай

земной, где душа обретала бессмертие. Именно тут героев, а не только царей Боги брали к себе на небеса.

Малые трагедии о Каменских портативны - мала сцена, немного артистов. Однако при постановке возможности увеличиваются из-за того, что это единое драматическое целое – трилогия, семейный сюжет. Может, и не без влияния Лескова («Леди Макбет Мценского уезда») трагедия о театре – об основателе его, старшем из сыновей, Сергее Михайловиче, приобретает название «Дон-Кихот Орловский». Как-то подспудно это сидело во мне и вылезло в какой-то нужный момент. И, если трагедия младшего из братьев Каменских, это трагедия о войне, из сферы боевых действий, то трагедия старшего - Сергея Михайловича, «разорившегося на театре», представляется трагедией в мире перепутанных ценностей. В общем-то это трагедия о мире, однако со своей вечно воинственной «физиогномией».

Вот как звучат заключительные слова трилогии. Итак, граф Каменский Сергей Михайлович, отдавший все что имел, родному Орлу, разорен. Он превращен тут в посмешище. Известная формула еще по «Горю от ума» Грибоедова «Карету мне, карету!» продолжена у графа формулой последней надежды на именице где-то под Москвой. И труппа, все еще надеясь на что-то, стремится туда вместе со своим некогда могущественным покровителем. Но все уже позади.

«Граф Каменский. Боевой сбор... подъем... сигнал общий!..

(И выходя на сцену, граф говорит, вдохновясь, прямо в зрительный зал).

Видите, мы собрались в дорогу. В Москву, в Москву! Без нее у нас никуда. Мы знаем, долг невообразимо и труден наш путь. Мы вступаем в эру Водолея вместе со всей Россней-матушкой, меняя военные приоритеты наконец-то на мирные. А это не так-то просто. Может быть, и погибнем мы с тобой, Тришка, где-нибудь по дороге. Но в сознании живо наше дело, наш театр не будет забыт. Не правду сказал ты, юродивый, что от нас останутся одни щепки. Что зря мы

жили и мучились. От нас останется самое главное – души наши, вы, русские люди! Вы расскажете вашим детям, потомкам про нас: как служа театру, Отечеству, меняя жизнь, они менялись и сами, они были первыми».

ГРИМАСЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ

«Отечество в опасности». Мессинская служба Земли.

Вперед в прошлое – к воссоединению с природой, к идее всеобщего «рая»!

1. Подорвав деревню, мы как народ вслед за Европой и Америкой вошли в опасную демографическую ситуацию. Может быть, это самая большая опасность за всю историю нашего существования. Еще раз предупреждаю: русский язык, народ наш, Отечество в опасности! Зачем все это, творю зачем вообще я тогда, если в обозримом будущем все это может быть невостребовано под натиском других языков и культур? Вот уже двадцать лет долдоню об этом.

Отрывок из моего романа «Берегиня» (стр. 126, 1993г.): «Тоже мне, извините, родители, - пьете беспробудно (а теперь и СПИД еще), совокупляетесь по подъездам, не думая ни о чем. И вот печальный результат пьянства вашего и «любви» - эти дети с перекошенными лицами, перекрученными конечностями, гипертрофированной головой. Вот печальный итог и вашей активности, деловые родители! Это вы отравили безумной химией земли и воды, заразили радиацией атмосферу и свалили все на шею другим, всего общества в целом, всего мирового сообщества, – воспитывайте! Вот он, ваш продукт, гримасы цивилизации, - эти дети, на которых нормальный человек не может смотреть без содрогания. Не реки северные, за годы репрессий переполненные с берегами вровень слезьми людскими, вспять поворачивать надо, а человека вокруг себя самого, вокруг этих гримас».

«Ну хорошо, - сказал Борис Галкин 16 февраля с.г. на концерте, посвященном работникам Газпрома, где сидел, но не там, Черномырдин. Вон Борис Б. сидит в Лондоне, умыкнул двадцать миллиардов из двухсот, всего вывезенных за границу. А где остальные?»

И вот стихи на ту же тему из моего поэтического сборника «Глаголы» (18.01.92г.):

Мы вымираем, Русь, мы вымираем!

Звезда – польнь, тебя за то виню.

Я каждый год имею дело с раем.

Я что ни год, то друга хороню.

Они уж там, они – мои святые.

А тут по ним чернеет скорь травы.

Все меньше тех, с кем был всю жизнь на «ты» я.

Все больше тех, с которыми на «вы».

Куда идем? За что мы натерпелись –

Потерянные дети той войны?

И снова бродят пастыри и ересь

Среди несуществующей страны.

Мы – призраки, мы – дырка на медали.

Кричи, кричи над ним, грачиный грай!

Его вот с этим холмиком сравнили,

При жизни не впустив в той самый рай.

Ударит ком о крышку гроба глухо.

Он был мой друг. Прости, святая Русь!

Себя хороним, а земля ей пухом.

Я тихо-тихо, в голос ей, молось.

Россия, Русь, спаси тебя, спаси!

Не дай иссякнуть людям на Руси!

Не дай погибнуть слову в наши дни!

«Россия, Русь, храни себя, храни»

Во имя отца и сына святого духа.

Аминь.

«Да, скифы мы с раскосыми и жадными очами» (А.Блок). А еще и «сарматы» (Л.Золотарев). И где мы в них, где они сами-то в эхе веков?

Нужна научно разработанная, буквально всеми одобренная национальная концепция спасения русского языка, народа, Отечества, а не просто патриотическое «голосование» по этому поводу в Госдуме.

2. Опасная ситуация создана для всего человечества. Повторяю, 2003-2008 годы – переходный период на Земле как планете Солнечной системы. Кончается мужская эпоха Рыб, начинается эпоха правления Великих Дам – Водолея, завершается также 8-миллионный цикл развития Земли. Человечество ждут великие катаклизмы, то есть опять же огни и воды. В частности, отдаленные – новый Потоп, подтопления некоторых территорий, в частности, Западной Европы, новые взрывы в районе бывшей Атлантиды – это Карибское море, более ближние угрозы по времени – возможная катастрофа всего Черного моря, а еще озоновые «черные дыры» над Антарктидой, о чем предупреждала еще Маргарет Тэтчер.

Великий ученый Исаак Ньютон был еще и великим мистиком, предсказателем. Известна обширная книга его предсказаний (в 4500 стр.,opus хранится в Иерусалиме, в нем «провидится» образование в XX веке государства Израиль, а в 2060 году предсказывается «армагедон» - конец света, и только после этого явление Мессии). Так вот, 2010-2060 годы – не так уж велико расстояние для истории Земли и Человечества. И еще раз повторяю, ближайшая опасность, кроме нас самих, конечно, - это взрыв Черного моря. Тем более, это лично меня касается, моего творчества. Это по нему отправлял я в Белую Скифию и возвращал оттуда по Понту Эвксинскому самого Одиссея.

С Черным морем можно «разобраться», - что-то предотвратить общими усилиями. А человечество по-прежнему тратит ресурсы на конфронтации, войны. Живем, напрягаясь, однако помаленьку, по-старенькому - то воюя, то подвоевая.

Людам Земли крайне необходима концепция спасения миропорядка, цивилизации, всего человечества. ООН пора уж себя, всех людей Земли ориентировать на мессианскую службу Земли.

3. Гордость нашей Русской земли писатели Гоголь, Лев Толстой, Достоевский наводят на размышления. Великий писатель - понятие количественное, более материальное, оно зависит от времени, от утверждения в людях, в эпохе, человечестве. Слово «великий» имеет «счастливый» оттенок. Гениальный писатель (гений, по Гофману, - боговдохновенный) - понятия качественное, духовное, зависимо от связи с божественным, с гармонией мира, красотой, со вселенскими космическими законами как частью целого. Это воистину Прометеев огонь в груди, избранничество, мученичество «посвященных» в их служении небу, спасении человека. Такие люди постепенно «обрастают» живущими на Земле. Часто опережая время, сами они живут тяжелой, порой даже несчастливой, изнурительной жизнью, всех себя отдавая людям.

Кому это надо было всегда да и сейчас что надо от нынешней демографической ситуации, когда народы, скажем, той же Европы исторически разделены, и властями, что ли, поддерживалось да и поддерживается это искусственные разделение, разность исторических этносов, эпосов: у французов - «Песнь о Роланде», у германцев - «Кольцо Нибелунгов», у нас - «Слово о полку Игореве». Что - не было, что ли, истории у нас до Киевской Руси, а у французов - до каких-либо Меровингов? А чтобы «идеологизировать» противостояние народов, искусственно поддерживать исторически сложившуюся разобщенность. Однако пришло время иных общих задач, диктуются новые правила игры, рисуются

другие перспективы - выживания, процветания. И тут, на мой взгляд следует искать корни объединения, сложения векторов, в суть глянуть надо - в тот же наш арийский, индоевропейский облик, в «пракорень», когда мы были вместе. Волны шли тогда от Уральского Камня и накрывали Европу. И те же викинги с праславянами, вполне возможно, происходят из разных «волн», но одного ведь «корня», общего направления исторического. Применяя «реконструкцию», как в романе «Саламбо» Флобера, интересно на художественном уровне рассмотреть взаимопереходы, скажем так, «арийскости» у тех же прагерманарехских и протославянских племен и народов.

Итак, да здравствуют эти «взаимопереходы», переходы в изначале германо-сумеречного, нибелунго-дионисийского и скифско-сколотского, праславяно-аполлоновского, светозарнодуховного менталитетов через художественную «реконструкцию»! Вперед в прошлое, к будущей «Кентавриаде»! К осознанию типов, характеров, обстоятельств в нашем давно минувшем, которые необходимы сегодня и завтра всему человечеству.

После одного из научных открытий (кажется, Ампера) в литературе появились лилипуты и гулливеры (Даниэль Дефо). Ныне, исходя из демографических, медицинских и других научных достижений, перспективной становится мысль о долгожительстве (повторяю, в Китае императоры и мандарины жили некогда до 200 лет, в Библии говорится о пророках, жившим до тысячи лет). И вообще интересна авестийская мысль о бессмертии души, то есть идущая от идеи «рая», видимо, из Арктиды, где и был тот самый Белый, «счастливый» остров, где люди всегда жили вечно и счастливо. Ибо душа и тело изначально были неразделимы, это затем одно было отделено от другого, создана смута в самом человеке, дисгармония, приведшая к эрам человеческих войн и метафизических катастроф.

Однако не на пустом же месте возникают всякие утопические идеи.

«Вставайте, граф (Сен-Симон), вас ждут великие дела!» Белые шаманы - колдуны науки, литературы и искусства! Как и прежде, расчищайте людям дорогу в рай! Третий Мессия, Спаситель наш – в нашей гармонии с целым, в Красоте мира в нас, в мире с миром без искусственных катастроф, наше спасение – внутри нас, оно – в нас самих».

От автора.

Список литературы

1. Батай Жорж. Литература и Зло. –Изд-во: МГУ, 1999. –165с.
2. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. –М.: Худ. лит., 1986. – С.353-392.
3. Бергман о Бергмане. В театре и кино. -Изд-во: Радуга, 1985. –523с.
4. Вашкевич Н.Н. Познание истины – путь к спасению. –М., 2000. –35с.
5. Византийская литература. –АН СССР. –Изд-во: Наука, 1974. –260с.
6. Звезды наших судеб //Под ред. Т. и А.Боданчиковых. –Орел: Орловские вести, 1992. –61с.
7. Лотман Ю.М. Анализ поэтического слова. –Л.: Просвещение, 1972. – 270с.
8. Маймин Е.А. О русском романтизме. –М.: Просвещение, 1975. –238с.
9. Парандовский Ян. Алхимия слова. –М.: Прогресс, 1972. –334с.
- 10.Петров С.М. Исторический роман в русской литературе. –М.: Учпедиз, 1961. –222с.
- 11.Сартр Жан-Поль. Слова. –М.: Фолио, 2001. –252с.
- 12.Тимофеев Л. –Слово в стихе. –М.: Сов. пис., 1982. –340с.
- 13.Философия, логика, язык. –М.: Прогресс, 1987. –330с.
- 14.Эткинд Е. Проза о стихах. –СПб: Знание, 2001. –440с.

Предисловие. Курляндская Г.Б.....	1
«Арсений Чигринев» (роман в стихах)	3
Книга первая. «Библейское имя Мария».....	4
Пролог	5
Глава первая. Москва, Москва	7
Глава вторая.....	30
Глава третья	53
Глава четвертая . Россия - Русь, провинция.....	77
Глава пятая	98
Глава шестая	122
Глава седьмая. Москва - Москва	145
Глава восьмая. Россия - Русь, провинция	168
Глава девятая. Москва - Москва	192
Глава десятая. Россия - Русь, провинция	214
Эпилог	238
Господа Каменские (трилогия малых трагедий)	240
Тайна трех империй	241
Забывтый фельдмаршал	271
Дон Кихот Орловский	296
Магия слов. От автора.....	326
Список литературы	394

Автор: Золотарев Леонард Михайлович

Редакция и корректура автора

Технический редактор:

Ветров Николай Владимирович

«Арсений Чигринев»

(роман в стихах, книга первая)

«Господа Каменские

(трилогия малых драм)